Н. И. ЦИМБАЕВ

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО

Н. И. ЦИМБАЕВ

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО

Н. И. ЦИМБАЕВ

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО

Из истории русской общественно-политической мысли XIX века

Издательство
Московского университета
1986

Цимбаев Н. И. Славянофильство (из истории русской общественно-политической мысли XIX века).— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.— 274 с.

Монография представляет собой обобщающее исследование истории славянофильского кружка, десятилетия игравшего заметную роль в общественно-идейной жизни России. Прослежены социальные предпосылки возникновения славянофильства, его идейные истоки. Историко-философские, политические и социально-экономические воззрения славянофилов рассмотрены в контексте идейной борьбы середины XIX в., в сопоставлении с иными течениями, прежде всего с западничеством. Раскрывается идейно-классовое содержание деятельности и взглядов крупнейших представителей славянофильства — А. С. Хомякова, И. В. и П. В. Киреевских, К. С. и И. С. Аксаковых, Ю. Ф. Самарина. Особое внимание уделяется исследованию места славянофилов в общественной борьбе накануне реформы 1861 г.

Для специалистов-историков, читателей, интересующихся отечественной историей.

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Московского университета

Рецензенты:
доктор исторических наук В. А. Федоров,
кандидат исторических наук А. А. Левандовский

Николай Иванович Цимбаев

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО. ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ XIX ВЕКА

Зав. редакцией *Н. М. Сидорова.* Редакторы *Г. В. Кошелева, О. Н. Агеева.* Художник *Н. В. Андриевич.* Художественный редактор *Ю. М. Добрянская.* Технический редактор *К. С. Чистякова.* Корректоры *И. А. Мушникова, Л. А. Костылева*

ИБ № 2380

Сдано в набор 03.10.85. Подписано к печати 04.03.86 Л-66167 Формат 60×90/16. Бумага тип. № 1 Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 17,0 Уч.-изд. л. 21,01 Тираж 5260 экз. Заказ 205. Цена 1 р. 80 к. Изд. № 4079

Ордена «Знак Почета» издательство Московского университета.
103009, Москва, ул. Герцена, 5/7.
Типография ордена «Знак Почета» изд-ва МГУ. 119899, Москва, Ленинские горы

Ц $\frac{0505020000-065}{077(02)-86}$ 92—86

Памяти отца,
Ивана Мефодьевича Цимбаева,
посвящаю

ПРЕДИСЛОВИЕ

Славянофильство — значительное явление русской жизни середины XIX в. Возникшее в глухие годы николаевского царствования, оно почти четыре десятилетия было живым направлением общественной мысли. Славянофилы — А. С. Хомяков, И. В. и П. В. Киреевские, А. И. Кошелев, Д. А. Валуев, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, И. С. Аксаков, Ф. В. Чижов и их единомышленники — были незаурядными участниками идейной борьбы, их деятельность оставила заметный след в русской истории.

О славянофилах написано немало. Редкое направление русской мысли вызывало столь разноречивые суждения. Взаимоисключающие оценки славянофильства были не только следствием сложности темы и различия идейно-теоретических позиций исследователей. В их основе лежало и неодинаковое толкование самих понятий «славянофил», «славянофильство». Уяснение *разных* значений слова «славянофил» в *разные* периоды его бытования служит необходимым и полезным введением в изучение славянофильства. Эволюции этого общественно-политического понятия посвящена первая глава нашей работы. Материал, собранный здесь, имеет самостоятельный интерес для изучения терминологии новой русской истории, но главное его назначение — внести терминологическую точность в дальнейшее изложение, оказать содействие в решении непростых вопросов источниковедения и историографии славянофильства.

Давнее, устойчивое внимание исследователей к славянофильству и славянофилам было прежде всего проявлением естественного интереса к истории русской мысли и русского общественного движения XIX в. Вместе с тем в литературе, посвященной славянофилам, легко уловить и иной подход к теме, стремление вывести славянофильство за пределы прошлого столетия. По нашему убеждению, плодотворное изучение славянофильства возможно при строгом историческом подходе к предмету исследования, при соблюдении хронологических и тематических ограничений. Именно поэтому среди основных проблем изучения славянофильства, рассмотренных во второй главе, особое внимание было обра-

щено на определение хронологических рамок этого направления русской мысли, на уточнение его внутренней периодизации.

Вторая часть книги (ее третья и четвертая главы) посвящена исследованию общественно-политических взглядов славянофилов. Два обстоятельства предопределили наш выбор: малая изученность данной темы в исторической литературе и убеждение, что эта сторона славянофильского учения является ключевой при определении социальной природы славянофильства, его исторического смысла. В работе предпринята попытка проследить развитие общественно-политических представлений славянофилов на протяжении почти полувека, раскрыть единство политической теории и общественной практики этих деятелей русской общественности, выявить особенности славянофильского либерализма.

Задачи работы требовали исследовательского обращения ко многим сторонам идейного наследия славянофилов, которые, понятно, не могли быть освещены с равной полнотой. Историко-философская концепция славянофилов, которая исключительно важна при изучении знаменитого спора западников и славянофилов о путях развития России, заслуживает, по нашему мнению, специального монографического исследования.

При изложении воззрений славянофилов безусловное предпочтение было отдано сочинениям, переписке и воспоминаниям участников славянофильского кружка *. Часть материалов, использованных при написании работы, впервые вводится в научный оборот.

* * *

Приношу глубокую благодарность коллективу кафедры истории СССР периода капитализма исторического факультета МГУ, много лет оказывавшему доброжелательное содействие в работе над темой.

---

* Ссылки на сочинения А. С. Хомякова, И. В. Киреевского и Ю. Ф. Самарина даются в тексте (римская цифра обозначает том, арабская — страницу) по изданиям: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Изд. 3-е. Т. I—VIII. М., 1900; Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. I—II. М., 1911; Самарин Ю. Ф. Сочинения. Т. I—XII. М., 1877—1911.

Глава первая

«СЛАВЯНОФИЛЫ» И «СЛАВЯНОФИЛЬСТВО». ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ

1

Судьба слова «славянофил» — увлекательная страница истории развития словарного состава русского литературного языка XIX в. Обращение к этимологии, редкое в исторических исследованиях, в данном случае, безусловно, необходимо. Оно вызвано неопределенностью слов «славянофил», «славянофильский», «славянофильство». В современном литературном языке эти слова имеют несколько смысловых значений, и все они служат для выражения понятий, связанных с идейной жизнью русского общества, с развитием русской мысли. Близость понятий затрудняет их строгое семантическое разграничение, но вовсе не делает его излишним. Незнание или игнорирование семантики слова приводит к его небрежному, неряшливому, подчас неграмотному употреблению, что нетерпимо при конкретно-историческом изучении истории общественной мысли.

В работах советских ученых последних лет потребность в ясном истолковании слова «славянофильство», в строгом его терминологическом определении осознана вполне. В 1969 г. В. В. Кожинов, пожалуй, впервые после долгого перерыва указал, что «термин «славянофильство» уже давно и прочно стал двойственным», но интереса к семантике слова не проявил. Е. А. Дудзинская отвергла «еще встречающуюся тенденцию расширительного толкования термина «славянофильство», когда исследователи ведут начало этого течения от XVII в., доводят его до Октябрьской революции, и некоторые — даже до современности», и объяснила ее «игнорированием принципов историзма». С. С. Дмитриев подчеркнул важность использования в научной дискуссии точной терминологии и попытался установить, какое из значений понятия «славянофильство» следует считать «подлинным, научно полноценным», «оставаясь на почве научной истории русской литературы и культуры вообще». Верное наблюдение сделал в 1972 г. Ю. З. Янковский: «Как сейчас, так и в дореволюционные годы содержание понятия «славянофильство» — кем бы и в какой бы связи ни употреблялось это слово — было чрезвычайно емким и сложным». Правда, стремление Ю. З. Янковского объяснить этим «противоречивость суждений о происхождении славянофильства»

нелогично, а его утверждение, что «в советское время термин «славянофильство» стал, наконец, употребляться в строго определенном смысле», не находит подтверждения в фактах. Более справедлив вывод К. Н. Ломунова: «В науке нет до сих пор единого мнения о самом понятии «славянофильство», о его определении» [1].

Вопросы, поставленные современными исследователями славянофильства, невозможно решить без обращения к истории появления слова «славянофил», его распространения и семантической эволюции. Внимание к судьбе слова позволит выявить его смысловые значения, уточнить хронологию их появления и границы употребления. С эволюцией слова тесно связана история славянофильства — течения русской мысли, у истоков которого стояли братья Киреевские и Хомяков. Восприятие славянофильства современниками, иные традиции его историографического изучения могут быть верно поняты с учетом эмоциональной окраски слов «славянофил», «славянофильский» в разные периоды их бытования. Наблюдения над характером употребления слова «славянофильство» в русской периодике 1870—1910-х годов дают ценный материал для суждений об отношении к славянофильству некоторых общественных течений, отдельных публицистов и литераторов, нередко упорно утверждавших свою верность идеям московских славянофилов 1840-х годов. Наконец, изучение семантической эволюции слова «славянофильство» — многозначного общественно-политического понятия — является частью более общего вопроса о становлении терминологии нового периода русской истории. И последнее: уточнение терминологии — обязательная предпосылка ясности всего дальнейшего изложения.

2

«Славянофилы» старше «славянофильства». Слово «славянофил» возникло в 1800-х годах, при начале полемики о «старом» и «новом» слоге. Впервые оно встречается в переписке известного поэта И. И. Дмитриева с петербургским литератором Д. И. Языковым. В письмах 1803—1804 гг. Дмитриев не раз упоминал книгу А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», которую он прочитал в конце 1803 г. Литературная новинка не нравилась московскому поэту. В декабре 1803 г. он сетовал Языкову: «Не грех ли вам, петербургским, нападать на наших, московских? Право, нам еще рано браниться». Узнав о подготовленном Шишковым «Прибавлении» к первой книге, Дмитриев писал 15 сентября 1804 г.: «Непременно желаю видеть продолжение ересей нашего славянофила». (Речь шла о Шишкове.) В октябре Дмитриев, получив от Языкова экземпляр «Прибавлений», выслал в Петербург «5 рублей за славянофила» [2].

«Славянофил» — тонкая шутка, незлая ирония, уместная в отношении писателя, который ратовал за церковнославянский

язык, призывал учиться «красноречивому смешению славенского величавого слова с простым российским». Это остроумное определение многознающего и трудолюбивого филолога, который, по общему, выраженному Ф. Вигелем убеждению, «вне славянской лингвистики ничего не смыслил»[3]. Славянофил — Шишков, поборник «славенского величавого слога», старомодный любитель литературных канонов, ушедших в прошлое.

Был ли Дмитриев создателем слова «славянофил» или воспользовался словом, не им сочиненным? Дмитриев ли первым назвал славянофилом Шишкова? Ответы на эти вопросы неизбежно гадательны.

Составлено слово удачно, вполне в духе времени. В дневнике юного студента С. Жихарева в апреле 1805 г. упомянут некий «записной цыганофил». Слово «славянофил» легко вошло в речевой обиход литературных кругов, оно было понятно и не требовало комментариев. До середины 1810-х годов его первое значение — шутливое прозвище Шишкова — было основным и непременно встречалось среди прочих именований адмирала-литератора: старовер, раскольник, старослов, Дед Седой, Беседы царь, балдус[4].

Есть немало оснований считать И. И. Дмитриева, остроумнейшего русского поэта, изобретателем слова «славянофил». В начале века Дмитриев был видным представителем нового направления в литературе, его имя стояло рядом с именем Н. М. Карамзина. К литературным нормам Шишкова, к рассуждениям о «старом» и «новом» слоге он отнесся несочувственно. Его племянник М. А. Дмитриев вспоминал, как дядя принес «Рассуждение...» Карамзину и предложил на него ответить. «Карамзин, пробежав книгу, бросил ее куда-то, где она и осталась». Ни Карамзин, ни Дмитриев — литераторы первого ранга — не стали оспаривать парадоксы Шишкова, война с шишковистами была начата не ими. Но они не были безучастны к ее исходу[5].

«Старая записная книжка» Вяземского сохранила свидетельство любви Дмитриева к игре слов, к каламбуру[6]. Словечко «славянофил», несомненно, принадлежит той культурной среде, тому стилю рубежа двух столетий, блестящим представителем которых был Иван Иванович Дмитриев, чей прямой портрет, по мнению Вяземского, дан в восьмой главе «Евгения Онегина»:

> ...в душистых сединах
> Старик, по-старому шутивший:
> Отменно тонко и умно,
> Что нынче несколько смешно.

В связи с распространением слова «славянофил» заслуживает внимания личность адресата Дмитриева — писателя и переводчика Д. И. Языкова (1773—1845). Упорно писавший «без еров», он был заметен в литературном мире Петербурга, играл важную роль в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств, в 1807—1811 гг. был его президентом. Литературная деятельность Языкова в 1800-е годы имела живой общественный

интерес, она отразила либеральные настроения «прекрасного начала» царствования Александра I. Языков переводил Мабли, Беккариа, чье «Рассуждение о преступлении и наказании» было издано «по высочайшему повелению» в 1803 г., в 1810—1814 гг. он издал четырехтомный перевод «О духе законов» Монтескье. Став президентом Вольного общества, он пытался осуществить подсказанную Дмитриевым идею составления и издания российской энциклопедии. Литературная и общественная позиция Шишкова была ему чужда. По-видимому, либеральные просветительские воззрения Языкова разделялись почти всеми членами Вольного общества, что служило основой для их критического отношения к Шишкову, литературному и политическому староверу[7].

Спор шишковистов и карамзинистов скоро вышел за пределы литературные и филологические и был перенесен на почву общественную. Шишков обличал не только язык, но и понятия новейших писателей, не одобрял Вольтера и Руссо, предостерегал от подражания «развратным нравам, которым новейшие философы обучили род человеческий и которых пагубные плоды, после толикого пролияния крови, и поныне еще во Франции гнездятся». В области внутренней политики сановный литератор был убежденным крепостником и противником либеральных начинаний. Его оппоненты рано поняли, что рассуждения о «корнесловии» имеют конечной целью «возвратить нас и к обычаям, и к понятиям старинным» (П. И. Макаров), и резко против этого протестовали[8].

Разбор и опровержение взглядов Шишкова, обличение его и насмешка над ним исходили из либеральной общественной среды, были делом передовых людей начала XIX в. Немаловажную роль в нападках на Шишкова играло Вольное общество. Талант и влияние его членов во многом способствовали тому, что в общественном сознании новоизобретенное, поначалу прочно привязанное к Шишкову слово «славянофил» закрепилось как бранная, малопочтенная кличка. В литературе 1805—1815 гг. все известные нам случаи употребления этого слова связаны с членами Вольного общества, которые награждали прозвищем «славянофил» своих литературных и общественных противников. Складывалась традиция эмоционального восприятия слова, когда в любом контексте оно было окрашено в черный цвет.

Шишков, по убеждению современников (Ф. Вигель), «имел славу быть первым у нас славянофилом». Очень скоро появились и другие славянофилы. Слово приобрело более широкое значение, стало ироническим обозначением целого литературного направления, группы или партии писателей, главой которых слыл Шишков[9].

В 1805 г. в петербургском «Журнале для пользы и удовольствия» была напечатана стихотворная сказка И. Аристова «Стихотворец с вывескою». Герой сказки, «славенофил, педант, в поэты записался». Когда некий Страннов «заказать стишки ему решился», славенофил запросил немыслимую плату, между ними

завязался спор, и «дракой наконец сей спор их увенчался». Шутливое повествование о славенофиле, реалии быта литературного поденщика начала XIX в. исключают возможность отнести сказку к Шишкову. Славенофил — не сановный адмирал, а один из многих его последователей, возможно А. И. Леванда, наставник Аристова, Греча, «человек основательно ученый и умный, но автор и стилист очень плохой» [10].

Два значения, установившиеся в первые годы бытования слова «славянофил» («славенофил»), легко прослеживаются и позднее. Осенью 1809 г. К. Н. Батюшков, принятый в Вольное общество в апреле 1805 г., написал «Видение на берегах Леты», где изобразил тонущих в реке забвения российских поэтов и писателей. Среди прибывших на «адский берег дикий» находятся «академии поэты российски», глава которых говорит о себе: «Я есмь зело славенофил». Это — Шишков. «Академии поэты российски» и их труды тонут, но к «славенофилу» Батюшков почтителен:

Один, один славенофил,
И то повыбившись из сил,
За всех трудов своих громаду,
За твердый ум и за дела
Вкусил бессмертия награду [11].

В 1810 г. деятельность Вольного общества после нескольких лет упадка оживилась. В марте 1811 г. его новым президентом был избран остроумный и тонкий критик Шишкова Д. В. Дашков. При нем общество «сделалось средоточием оппозиции славянофилам» (Н. И. Греч).

В марте же 1811 г. в Петербурге состоялось первое заседание учрежденного А. С. Шишковым литературного общества «Беседа любителей русского слова». Спор ревнителей «старого» и «нового» слога приобрел более организованный характер, стал живее и ожесточеннее. В среде литераторов слово «славянофил» вошло в общее употребление.

Весной 1811 г. В. Л. Пушкин в поэме «Опасный сосед» (опубликованной много позже) обратился к поэту С. А. Ширинскому-Шихматову:

Позволь, варяго-росс, угрюмый наш певец,
Славянофилов кум, взять слово в образец...

В «Журнале драматическом», издаваемом М. Н. Макаровым, опубликована была одноактная комедия Р-а-т-а «Обращенный славянофил», герой которой — неловкий подражатель Шишкова. Член Вольного общества П. А. Никольский в рецензии на книгу своего сотоварища Греча предупреждал последнего: «Подражая толпе безграмотных славянофилов, будешь так же смешон, как и..., но зачем договаривать» [12].

В 1812 г. встречается, по-видимому, впервые употребление слова «славянофил» в нейтральном, серьезном контексте для обозначения любителя славянского языка. Профессор Московского университета А. Ф. Мерзляков выступил в Обществе любителей

российской словесности с «Рассуждением о российской словесности в нынешнем ее состоянии». Литературным взглядам Шишкова Мерзляков не сочувствовал, но и озорство карамзинистов было ему чуждо. Его позиция примирительна: «Поздно уже заставлять нас писать языком славянским; осталось искусно им пользоваться. Вот особливое достоинство Ломоносова! Все славянофилы должны у него учиться высокому искусству соединять слова того и другого наречия» [13].

Примирить шишковистов и карамзинистов Мерзляков не смог. Не получило вначале распространения и предложенное им новое, широкое и серьезное употребление слова «славянофил». Споры продолжались. В марте 1813 г. К. Н. Батюшков и А. Е. Измайлов сочинили пародический гимн «Певец в беседе любителей русского слова». Пародировался В. А. Жуковский, но осмеянию были подвергнуты сотрудники шишковской «Беседы», а с ними — «Беседы царь», «славенофил». Недавняя почтительность Батюшкова к Шишкову прошла, как кажется, без следа. С. Т. Аксаков вспоминал, как он читал пародию Шишкову, а затем доставил адмиралу ее список [14].

Вершиной шутливого, «галиматейно-охинейного» и просто злого осмеяния славянофилов-шишковистов стали протоколы «Арзамаса». Буффонада господствовала в написанной Дашковым (арзамасское прозвище «Чу») формуле «Торжественного обещания» вступающих в общество, где было упомянуто «юродство славенофилов». В речах «Чу» задеты «седой славенофил» Шишков, «патриарх славенофилов» В. К. Тредьяковский (Дашков обозревал «обширное кладбище славенофилов») и пр. Ему вторили «Старушка» (С. С. Уваров), «Кассандра» (Д. Н. Блудов), «Асмодей» (П. А. Вяземский). Два года арзамасцы потешались над славянофилами, а в 1817 г. при вступлении в общество Н. И. Тургенев заявил: «Я мало знаю о сем сословии славянофилов» [15]. Политические, не литературные интересы привели в «Арзамас» Н. И. Тургенева, деятельнейшего декабриста, под влиянием которого литературная полемика отошла на второй план. Насмешки над славянофилами сами собой прекратились. Их последние отголоски — в сатирах П. А. Вяземского «К перу моему» («Любой славянофил в мой стих идет заплатой»), А. Е. Измайлова («Дядя и племянник славянофилы»).

В 1800—1810-е годы, когда возникло и получило распространение слово «славянофил», оно было непременным атрибутом литературной полемики. Вне литературных споров, вне сравнительно узкого круга литераторов Петербурга и Москвы оно было непонятно и не употреблялось. Шутливое прозвище Шишкова, обратившееся в обидную для его последователей кличку, пущено было в ход и использовалось исключительно их литературными противниками, чаще всего принадлежавшими к Вольному обществу любителей российской словесности. «Славянофил», «славенофил» — словечко, употребление которого почти безошибочно обличало в литераторе члена Вольного общества. Форма распро-

странения слова была различна: оно встречалось в устной (Мерзляков, арзамасские беседы) и в письменной речи. Попытка серьезно осмыслить происхождение слова, придать ему значение терминологического определения (Мерзляков) не получила развития. Уже для арзамасцев «славянофил» — буффонная кличка, время появления которой и изначальный смысл были им безразличны. Славянофил — литературный неудачник, чьи взгляды принадлежат прошлому.

Заметная государственная деятельность А. С. Шишкова не смягчила, а скорее усугубила насмешливое отношение к нему, к его литературной позиции и общественно-литературным взглядам. Значительный интерес представляет отклик декабриста Г. С. Батенькова на назначение Шишкова министром народного просвещения. В письме ближайшим друзьям своим А. А. и А. П. Елагиным от 24 мая 1824 г. декабрист с иронией извещал об определении в министры «великого славянофила, поборника фиты и ижицы и мощного карателя оборотного Э и беззаконного Е с двумя точьками». Удивительно тонко, перемежая понятия словесности и политики, Батеньков определял литературно-общественную позицию Шишкова: «*Быша* и *убо* всплывут наверьх, яко елей на источнике водном; имена займут принадлежащее им место на правом, а все глаголы на левом фланге периодов — и, таким образом, устроится боевой порядок против нечистой силы карамзинизмов, жуковскоизмов, пушкинизмов, гречеизмов, дмитриизмов, богдановичизмов и проч, и проч.... Итак, наконец, судьба романтической поэзии решена. Сие изчадие модных лет, сей баловень безбородых пестунов, обязан обратиться в первобытное свое небытие. Седый классицизм возмет принадлежащие ему права и из русского лексикона хлынут емигранты, принадлежащие к шайке инсургентов новой школы».

Для аракчеевских времен, когда политическая борьба (за невозможностью или трудностью других ее проявлений) разыгрывалась на литературной сцене, отзыв Батенькова характерен, обычен. В глазах передовых людей России Шишков отстаивал безнадежное дело, его филологические, литературные, общественные суждения были смешны и консервативны. Карамзин победил Шишкова, новаторы — славянофилов [16].

В исторической литературе иногда встречается стремление увидеть в Шишкове и его последователях-славянофилах прямых предшественников славянофильства. Об этом писал А. Г. Лушников (1913); о «традиционной, воспринятой от Шишкова, галлофобии семьи Аксаковых» говорит польский историк А. Валицкий (1963). Ю. З. Янковский (1981) «угадывает» в рассуждениях Шишкова «будущее славянофильство». По его мнению, «кое-какие декларации славянофилов, несомненно, могут быть связаны с идеями Шишкова» [17]. По нашему убеждению, никаких оснований для такого рода сопоставлений нет. Кроме, разумеется, внешней, посторонней существу вопроса детали: адмирал Шишков — славянофил и Константин Аксаков — славянофил. Научная плодотвор-

ность таких сопоставлений невелика. На опасность терминологической путаницы указал еще Н. Г. Чернышевский: «Мы не хотели бы для гг. Аксаковых, Киреевских, Кошелева, Самарина, Хомякова, кн. Черкасского имени, напоминающего о Шишкове». Вполне справедливо писал в 1873 г. А. Н. Пыпин: «Славянофилов нельзя серьезно сравнивать с Шишковым и его приверженцами, как это делал Белинский в разгаре полемики»[18].

Во время споров западников и славянофилов нередко вспоминали, что еще Шишков был славянофилом, но выводы, которые делались из этого вполне верного обстоятельства, почти всегда были неверны и имели полемический оттенок. Воспоминания об адмирале Шишкове в 1840—1850-х годах не учитывали исторических реалий начала века, а попытки указать на особенность его «славянофильства» кончались неудачей. Так, П. А. Вяземский в «Старой записной книжке» утверждал: «Славянофильство Шишкова было своего рода славянофильство кабинетное, литературное, а еще более голословное, корнесловное, буквальное. Он в мир исторический, гражданский и политический не заглядывал». Вяземский неправ. Прежде всего вряд ли уместно говорить о «славянофильстве» Шишкова, прикладывать понятие, возникшее не ранее 1840-х годов, к воззрениям и обстоятельствам начала века. Неверно утверждение, что Шишков «в мир исторический, гражданский и политический не заглядывал». Оно допускает предположение, что именно этим «заглядыванием в мир политический» (и только этим) славянофильство отличается от взглядов Шишкова. Между тем именно Вяземскому принадлежит взвешенное суждение о Шишкове, сделанное в форме дневниковой записи 15 апреля 1841 г., в день похорон адмирала: «Шишков был и не умный человек, и не автор с дарованием, но человек с постоянною волею, с мыслью, idée fixe... герой двух слогов, *старого* и *нового,* кричал, писал всегда об одном, словом, имел личность свою, и потому создал себе место в литературном и даже государственном нашем мире. А у нас люди эти редки, и потому Шишков у нас все-таки историческое лицо. Я помню, что во время оно мы смеялись нелепости его манифестов и ужасались их государственной неблагопристойности, но между тем большинство, народ, Россия, читали их с восторгом и умилялись, и теперь многие восхищаются их красноречием. Следовательно, они были кстати, по Сеньке шапка. Карамзина манифесты были бы с бо́льшим благоразумием, с бо́льшим искусством писаны, но имели бы они то действие на толпу, на большинство, неизвестно. А если бы и имели, то что это доказало бы? Что ум и нелепость все равно»[19].

Во время борьбы с Наполеоном манифесты Шишкова были средством обращения к русскому народу, к его национальному чувству, они сыграли определенную роль в возбуждении и поддержании патриотических настроений. Идеология шишковских манифестов проста и восходит к его знаменитому «Рассуждению о любви к отечеству». В канун войны 1812 г. Шишков говорил: «*Вера, воспитание* и *язык* суть самые сильнейшие средства к воз-

буждению и вкоренению в нас любви к отечеству». Найденные Шишковым три элемента — «вера, воспитание и язык» — подготовительная ступень уваровской триады: «православие, самодержавие и народность».

Арзамасцы Блудов, Вяземский, Уваров смеялись над простоватыми рассуждениями Шишкова в духе резонеров комедии XVIII в.: «Гораздо полезнее обществу и всему роду человеческому судия сострадательный, воин храбрый, земледелец трудолюбивый, нежели легкомысленный вертопрах или важный *метафизик,* рассуждающий о *монадах* и делающий воспитанника своего *монадою*»[20]. Они «ужасались» теоретической беспомощности Шишкова, «варяго-русские» манифесты которого были выражением официальной идеологической доктрины самодержавия. В николаевское время Д. Н. Блудов, С. С. Уваров немало сделали для разработки идеологии абсолютизма, которая могла бы стать вровень с веком. Непосредственные продолжатели Шишкова, они знали цену философии, их построения были более тонки и изощренны, но в итоге столь же неубедительны и реакционны.

Славянофилы 1840-х годов испытывали воздействие официальной идеологии, но воспринимали ее не из шишковских, а из блудовских манифестов. Связи с идеями Шишкова, даже в смысле неприятия, отталкивания, у них не было.

В 1840—1850-х годах семьи Аксаковых и Елагиных-Киреевских хранили живую память о литературных спорах начала века, в которых адмирал-славянофил играл почти комическую роль. Отнести прозвище «славянофил» к себе, к своим воззрениям И. Киреевскому, например, было психологически непросто, почти невозможно. С. Т. Аксаков, оставивший интересные воспоминания о своем общении с Шишковым, к его литературной позиции относился с насмешкой; «тогдашнее славянофильство» мемуариста не занимало. Интерес к личности Шишкова возник в славянофильском кружке поздно, под несомненным влиянием постоянных о нем напоминаний и нелестных сравнений. В 1870 г. Ю. Самарин и Н. Киселев издали в Берлине «Записки, мнения и переписку адмирала А. С. Шишкова» в двух томах. Суждение о Шишкове издатели ограничили словами, которые звучат упреком историкам: «Мало было приложено старания, чтобы выяснить личность, во всяком случае достойную более совестливой оценки». Вопрос о солидарности издателей со взглядами адмирала даже не ставился[21].

По-видимому, единственный развернутый отзыв о Шишкове сделан был А. С. Хомяковым в драматических диалогах «Разговор в подмосковной» (1856). Тульнев, персонаж, выражающий мысли автора (Хомяков — туляк), спорит о народности с западником Запутиным:

Запутин. Вы вероятно признаетесь, что немаловажным эпизодом в этой истории (споров о народности.— *Н. Ц.*) была борьба Шишкова с Карамзиным, и, кажется, тогдашний представитель европеизма был не совсем под силу представителю народности.

Тульнев. Тем более чести самому делу, что, при таком неравенстве талантов, борьба еще была возможною. Впрочем, мы не стыдимся Шишкова и его славянофильства. Как ни темны еще были его понятия, как ни тесен круг его требований, он много принес пользы и много кинул добрых семян. Правда, почти все литераторы той эпохи, все двигатели были на стороне Карамзина; но не забудьте, что Грибоедов считал себя учеником Шишкова, что Гоголь и Пушкин ценили его заслуги, что сам Карамзин отдал ему впоследствии справедливость и что самый русский по языку изо всех русских прозаиков вышел, по собственному признанию, из школы Шишкова.

Анна Федоровна. Кто же это?

Тульнев. Автор «Семейной хроники».

Запутин. Да, вы очень счастливы этим приобретением (III, 207).

В приведенном отрывке важно отметить два обстоятельства. Во-первых, собственно о Шишкове Хомяков судит достаточно строго: понятия его «темны», круг требований «тесен». Во-вторых, Хомяков излагает краткую версию развития русской литературы. Создателем этой версии он не был, и возникла она много ранее 1856 г.

3

Версия, рассказанная Хомяковым, сложилась в 1820-е годы и связана была с судьбой слова «славянофил».

В общественно-литературном обиходе 1820-х годов «славянофил» — редко ироническая кличка, но чаще обозначение принадлежности к определенному литературному направлению. Слово приобретало значение термина. «Славянофилы» стали называть себя славянофилами. Были они молоды, новые славянофилы двадцатых годов, и воспоминания времен «Беседы» и «Арзамаса» их не тревожили. Первыми о своей принадлежности к славянофилам заявили издатели альманаха «Мнемозина» В. Ф. Одоевский и В. К. Кюхельбекер. Их восприятие современного литературного процесса было оригинально. «Явная война романтиков и классиков, равно образовавшихся в школе Карамзина», интересовала их меньше, чем споры в «дружине славян», принадлежностью к которой они гордились. Спустя годы, в свеаборгской тюрьме Кюхельбекер записал в дневник (17 января 1833 г.): «Я вот уж 12 лет служу в дружине славян под знаменами Шишкова, Катенина, Грибоедова, Шихматова».

В черновых материалах «Мнемозины» среди «достопримечательных событий в области российской словесности» 1824 г. отмечено, что в марте «Кюхельбекер передается славянофилам». Сатира Кюхельбекера «Земля безглавцев» высмеивала литературные вкусы тех, кто не принадлежал к славянофилам: «С семнадцати лет у нас начинают рассказывать про свою отцветшую молодость, наши стихотворения не обременены ни мыслями, ни чувствами,

ни картинами; между тем заключают в себе какую-то неизъяснимую прелесть, непонятную ни для читателей, ни для сочинителей; но всякий не славянофил, всякий человек со вкусом восхищается ими». Наконец, наибольший интерес имеет запись «достопримечательного события»: «Германо-россы и русские французы прекращают свои междуусобия, чтоб соединиться им противу славян, равно имеющих своих классиков и романтиков! Шишков и Шихматов могут быть причислены к первым; Катенин, Г[рибоедов], Шаховской и Кюхельбекер — ко вторым»[22]. Под пером Кюхельбекера возникала история русской литературы, написанная по-новому, и в ней почетное место занимали «славяне», «славянофилы». Создавался термин.

В одно время с Кюхельбекером очерк истории русской литературы был сделан И. И. Дмитриевым. Сановник на покое, он начал в июле 1823 г. писать мемуары «Взгляд на мою жизнь». Дмитриев разделил историю русской словесности на два периода. Первый — время М. В. Ломоносова, И. П. Елагина, Д. И. Фонвизина; второй начинается с Н. М. Карамзина. Среди последователей Ломоносова и Фонвизина указаны «усерднейшие из них славянофилы». Им (И. С. Захарову, М. И. Попову, Г. Якимову, Пахомову, священнику Сидоровскому) уделена строка. Они — бесталанные неудачники. Дмитриев с сожалением отзывается о даровитом И. П. Елагине, который напрасно «обратился к славянофилам», а начало литературных споров 1820-х годов относит «лет за сорок перед сим», когда «думали возвышенный слог украшать славянчизною»[23]. С Кюхельбекером Дмитриева сближает терминологическое использование слова «славянофил».

Как устойчивое историко-литературное понятие употреблял слово Н. А. Полевой. В 1833 г., когда споры шишковистов и карамзинистов отошли в прошлое и имели, казалось, интерес исторический, Полевой в рецензии на сочинения П. А. Катенина вспомнил о славянофилах. Его суждения близки к представлениям Кюхельбекера, но более развернуты и доказательны. В истории русской литературы начала века Полевой видел борьбу «двух главных партий или школ: карамзинистов и славянофилов». Интересно понимание Полевым целей второй школы: «Славянофилы хотели все обратить к славянскому языку, к древним обычаям и навыкам и, несправедливо почитая современников своих славянами, хотели доказать, что надобно оставить иностранцев и заимствовать все силы души и слова из родного, как они полагали, источника... Антикарамзинисты хотели сделать нас опять не русскими, а славянами, хотели, чтобы мы забыли об иностранцах, и для прошедшего мертвого оставили настоящее, живое, утвержденное употреблением и дарованием».

Для нашей темы безразлично, насколько верно судил Полевой о желаниях славянофилов. Важно, что его внимание обращено было в первую очередь на их общественные, а не литературно-филологические построения, что он делал странное противопоставление: карамзинисты — современные русские, славянофилы —

археологические славяне. Характеристика ксенофобии славянофилов, их нелепой любви к прошедшему предвосхищает журнальные нападки 1840-х годов на Хомякова и И. Киреевского, хотя Полевой, безусловно, ведет речь о принципиально ином (хронологически, идейно) общественно-литературном явлении. Вполне допустимо предположение, что первоначальные сведения о некогда бывших славянофилах молодые литераторы 1830-х годов заимствовали из статьи влиятельного редактора «Московского телеграфа». Внимательным читателем и некоторое время почитателем Полевого был В. Г. Белинский.

Дальнейшая история «школы славянофилов» привела, согласно Полевому, к полному разрыву со «школой Карамзина», которая утвердилась в «лучшем обществе», в то время как «школа славянофилов осталась в другой касте нашей словесности». К ней примкнули молодые литераторы, «готовые на все прекрасное — только под славянским знаменем». Полевой называет имена: А. С. Грибоедов, А. А. Жандр, «автор Ижорского» (В. К. Кюхельбекер), П. А. Катенин. Их программа: «Прежде всего надобно быть чистым сыном своего отечества; заимствовать силу и краски у своего народа и воскрешать старинный, а если можно, то и древний быт, древний язык, древние понятия, потому что все это в нынешнем русском мире образовано слишком по-иностранному. Эти люди уже во многом убавили требования славянофилов и пристали к ним потому только, что основная мысль сих последних справедлива». Как видно, общая концепция истории русской литературы восходит к Кюхельбекеру, но показательно, что для отличия «молодых» славянофилов от «старых» Полевой использует критерии не литературные, но общественные. Одно упоминание «автора Ижорского», исключенного властями из живой литературы, говорит о многом.

Во второй статье, написанной в ответ Катенину, Полевой пояснил главную свою мысль: и славянофилы, и карамзинисты равно «достойны уважения», подчеркнул, что «хотел именно *помирить* оба противные мнения». Новейшая литература, представленная «Московским телеграфом», вобрала в себя лучшие качества партий, отошедших в прошлое. Полевой — преемник и Карамзина и Шишкова. Значение славянофилов немаловажно: «Усилия славянофилов обратить соотечественников к русской старине уже награждены успехом и, хотя не им одним принадлежит заслуга в этом случае (ибо всего более способствовал сему взгляд новой философии), однако и они имеют свою долю в благодарности преемников». Полевой вновь перечислил «достойных славянофилов» (Грибоедова, «автора Ижорского», Жандра, Шихматова) и отметил, что «школа их была довольно многочисленна». Несомненно, славянофилы в оценке Полевого производят двойственное впечатление: их ранние выступления обращены были к «мертвому прошедшему», их деятельность в 1820-е годы оживила благотворный интерес к русскому народу и русской старине.

Здесь нет необходимости подробно разбирать основательность

стремления Полевого «помирить» школы Карамзина и славянофилов. Важно, что для Полевого славянофилы — понятный и наиболее приемлемый термин, служащий для обозначения крупного общественно-литературного направления.

П. А. Катенин ответил на первую статью Полевого. Со многими оценками критика он не соглашался, но, что для нас главное, принимал деление на две партии: карамзинистов и славянофилов. Время, добавлял Катенин, «уничтожило и тех и других»[24].

К середине 1830-х годов славянофилы стали достоянием истории русской словесности, оценивать итоги их деятельности можно было различно, но они бесспорно принадлежали прошлому, их время ушло. В литературе действовали их немногие бездарные эпигоны. Одна из первых рецензий В. Г. Белинского была написана на книгу «Поединок. Сочинение славянофила Аполлинария Беркутова» (1835). Белинский с улыбкой пересказал подписчикам «Молвы» сюжет сочинения, главный герой которого корнет Любин был влюблен к крестьянку Агату. Слово «славянофил» не вызвало у него интереса, растолковывать его значение читателям не было необходимости[25].

Концепция развития русской литературы, предложенная Кюхельбекером и Полевым, не получила общего признания. Но она была известна не только Хомякову. В 1840-е годы ее разрабатывал К. С. Аксаков, который в русской литературе выделял два направления: «карамзинское» и «русское». К «карамзинскому» он относил крупнейших русских писателей и поэтов, не исключая А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. «Карамзинистам» он противопоставлял так называемое «русское» направление, представителями которого считал Н. В. Гоголя и С. Т. Аксакова. Наиболее полно он изложил свои взгляды в речи «О Карамзине», где остроумно пытался принизить значение Карамзина, который «переменил ходули на ходули: ходули латинские и греческие, ходули древние — на ходули французские, вообще на современные; отвлеченность классическую переменил он на отвлеченность *романтическую*»[26]. Нетрудно усмотреть некоторую общность с литературными представлениями Кюхельбекера.

4

В 1830-е годы слово «славянофил» было как бы изобретено вторично. Во всяком случае, первые опыты его употребления в новом значении не были отягощены памятью о славянофилах-шишковистах. Среда, в которой возникло и первоначально бытовало вновь возникшее слово,— литераторы, ученые, люди, так или иначе причастные к изучению славянских народов. Новое значение слова «славянофил» — человек, любящий славян, неравнодушный к их прошлому и настоящему, преданный их культурным и политическим интересам. Прежде такого понимания слова не было.

Интерес к славянству, давний, устойчивый, получил в России

1830-х годов заметное распространение. В университетском уставе 1835 г. было предусмотрено создание кафедр истории и литературы славянских наречий в четырех университетах: Московском, Петербургском, Казанском и Харьковском. За границу для подготовки к профессорскому званию были посланы молодые ученые-слависты. Успешно развивались в России славянские изыскания — труды в области славянского языкознания, славянской письменности и литературы, изучение славянской этнографии и истории. В 1830-е годы возросло общественное внимание к славянской проблематике. В литературных журналах, среди которых в этом отношении выделялся «Московский наблюдатель» (1835—1837), печатались статьи о славянских народах, в салонах Москвы и Петербурга вошли в моду беседы о мировой роли славян.

Научный и общественный интерес к славянству был в целом плодотворен, естественной составной частью вошел он в русскую национальную культуру, сыграл заметную роль в деле славянского возрождения. Но были в этом интересе и неизбежные издержки, вызванные как общим невысоким уровнем славянских изысканий, так и преувеличенно восторженным отношением некоторых ученых и части русского общества ко всем особенностям славянского языка, истории, быта и нравов. Утеря чувства меры, историко-культурной перспективы, научной объективности делала человека, занимающегося славянскими изысканиями, славянофилом, славянолюбом. Слово «славянофил» в его новом значении первоначально имело легкий иронический оттенок, впрочем, гораздо более мягкий, чем во времена Шишкова.

Первое, замеченное нами, употребление слова «славянофил» в новом значении встречается в письме Т. Н. Грановского, которое он отправил из Праги в мае 1838 г. своим близким друзьям Н. В. Станкевичу и Я. М. Неверову. Огромное послание передает впечатления Грановского о чешских ученых Шафарике, Колларе, о молодых чешских литераторах, которые «умные и благородные люди, да уж слишком славянствуют». Необычный глагол! В конце письма помещен отзыв о русском слависте Н. Д. Иванишеве, который в Праге готовился к профессорскому званию. Грановский подчеркнул: «Он вовсе не энтузиаст и не славянофил». Пояснение необходимое, когда вокруг «слишком славянствуют»! Известна была Грановскому и другая лексическая форма — славянолюбец. В 1840 г. он назвал так П. В. Киреевского в контексте, который не оставляет сомнений в том, что речь шла о слепой любви к славянам, о рвении к славянству, мешающем его изучению [27].

К началу 1840-х годов славянофилов-славянолюбов в русском обществе было немало, и среди дилетантов они встречались чаще, чем среди ученых-славистов. Своеобразными центрами славянских штудий стали литературные журналы — петербургский «Маяк современного просвещения», издание которого началось в 1840 г., и «Москвитянин», начатый М. П. Погодиным при ближайшем

участии С. П. Шевырева в 1841 г. «Маяк» под редакцией П. А. Корсакова и С. О. Бурачека был изданием обскурантным, на его страницах высказывались дикие литературные мнения, общественные идеалы редакции поражали мракобесием. «Москвитянин» издавался Погодиным в духе подчеркнутой верности официальной правительственной идеологии. Книжки «Маяка» и «Москвитянина» были наполнены материалами о славянских народах, общими рассуждениями о славянстве и его великой роли в истории человечества. Погодин на страницах журнала охотно подчеркивал свои связи со славянскими учеными и общественными деятелями. По отзыву спокойного, трезво мыслившего слависта И. И. Срезневского, «Маяк» и «Москвитянин» были лучшими русскими журналами «для любителей славянства».

Передовые слои русского общества, люди, для которых славистика не стала сферой специальных интересов, настороженно относились к неудержимому восхвалению славянского мира, оборотной стороной чего были нападки на Западную Европу в духе «официальной народности», уверения, что Европа «гниет». Либерально-умеренный П. А. Плетнев, человек разносторонних интересов и европейского образования, в 1840 г. заявлял: «Для меня уже не может быть ничего хорошего, когда речь идет о славянщине». В 1839 г., вскоре по прибытии в Москву, Грановский с тревогой отмечал: «Славянский патриотизм здесь теперь ужасно господствует: я с кафедры восстаю против него, разумеется, не выходя из пределов моего предмета. За что меня упрекают в пристрастии к немцам»[28].

Герцен, вернувшийся в Москву летом 1842 г. из новгородской ссылки, постоянно обращается в дневнике к «славянизму», к доведенному до крайних пределов увлечению славянством. Его дневниковые записи второй половины 1842 и 1843 гг. необычайно богаты отзывами о «славянах», «славянобесии», «славянобесых», «славянизме». Встречаются и «славянобеснующиеся». В этом синонимическом ряду стоит и слово «славянофил» — неистовый ревнитель славянства. В дневнике Герцена встречается, по-видимому впервые, и новое слово, означающее совокупность воззрений славянофилов,— «славянофильство».

Кто такие славянофилы? В чем суть славянофильства? Отличается ли оно, славянофильство, от общекультурного интереса к славянским народам?

«Дневник» Герцена адресует упреки в избыточном «славянизме» как истинным славянофилам * А. С. Хомякову, П. В. Киреевскому, И. В. Киреевскому, так и М. П. Погодину, С. П. Шевы-

* «Истинные славянофилы» — термин, предложенный Н. Г. Чернышевским в «Очерках гоголевского периода русской литературы» для того, чтобы отделить Аксаковых, Кошелева, Киреевских, Хомякова, «образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в русском обществе» от людей, которые «пустоту и никчемность своих мнений прикрывают напыщенными родомонтадами на отрывочные и непонятные мысли, заимствованные напрокат у славянофилов». Ясность дальнейшего изложения в данной главе требует, во избежание бесконечных оговорок и повторений, введения термина Чернышевского.

реву, В. В. Пассеку, другим, неназванным лицам. Московский дневник Герцена содержит любопытные характеристики славянофилов, дает ценные сведения по истории истинного славянофильства, но их верное восприятие возможно при постоянном внимании к используемой Герценом терминологии.

Важное значение для раскрытия содержания «славянофильства» имеет запись, сделанная 26 октября 1842 г., на другой день после смерти университетского товарища Герцена Вадима Пассека: «Он от славянофильства дошел до ортодоксности и даже до ненависти к Западу; таким образом, ему пришлось отвергнуть все историческое развитие человечества, всю науку, философию, всю мысль нашего века... А давно ли Вадим, только что выпущенный из университета кандидатом, в преизбытке сил, с необузданным самолюбием, с русской удалью делил все мечты, все увлеченья наши, это было с конца 1831 до начала 1834. 11 лет впрочем! После женитьбы он много изменился, а может, не он, а мы двинулись вперед, и он остался на старом месте. Попавши в славянизм, он даже и на старом месте не остался, а пошел иным путем назад; все общие человеческие интересы, все современные вопросы занимали его только по мере их причастности к славянскому миру, а тут надобно заметить, что именно им-то они вовсе и не занимаются». Запись раскрывает славянофильство Пассека как доведенное до крайних пределов увлечение славянством, что, по мнению Герцена, несовместимо с передовой мыслью.

Другая запись (23 июня 1843 г.) имеет обобщающий характер: «Удивляюсь, как славянобеснующиеся не понимают истории, не понимают европейского развития,— это помешательство. Славяне в будущем, вероятно, призваны ко многому, но что же они сделали в прошедшем со своим стоячим православием и чуждостью от всего человеческого?»[29] В таком контексте (число примеров легко умножить) славянофилы, славянобеснующиеся — деятели, в воззрениях которых интерес к славянству сделался не только карикатурен, нелеп, но и ретрограден, опасен. Славянофильство стало «костью в течении образования».

Справедливы ли суждения Герцена? Да, коль скоро речь идет о неистовом «славянобесии». Уместно ли считать их относящимися к истинному славянофильству? Да, уместно, но с серьезными оговорками. Бесспорно, что многие истинные славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, П. В. Киреевский, Д. А. Валуев, А. Н. Попов, В. А. Елагин) были немало повинны в «славянизме». Психологические мотивы их обращения к «славянизму» в условиях «сдавленной» общественной атмосферы николаевского времени позднее понял и прекрасно передал Герцен: «Поневоле приходилось, как Онегину, завидовать параличу тульского заседателя, уехать в Персию, как Печорин Лермонтова, идти в католики, как настоящий Печорин, или броситься в отчаянное православие, в неистовый славянизм, если нет желания пить запоем, сечь мужиков или играть в карты». Неустойчивое словоупотребление начала 1840-х годов вполне позволяло называть

Хомякова и его единомышленников славянофилами, в сниженном, ироническом смысле, в полемике. Они и были славянофилами-славянолюбами в широком значении этого слова.

Но истинное славянофильство не возникло из интереса к славянству и, тем более, несводимо к нему. Да и по своей сути воззрения на славянство И. Киреевского или Валуева были существенно отличны от славянофильства Пассека, погодинского «Москвитянина», «Маяка». Отличие это Герцен афористично передал в отзыве об И. Киреевском: он «верит в славянский мир — но знает гнусность настоящего». Между тем «славянобеснующиеся» именно полагали, что «в настоящую минуту кипучая жизнь только и видна в благородной крови славянской». Так, к примеру, думал Ф. В. Чижов, который пришел к истинному славянофильству не сразу, пройдя через крайности «славянобесия» начала 1840-х годов [30]. Отношение к «настоящей минуте» славянства — вопрос принципиальный. Здесь, как и во многих других случаях, можно провести четкую линию раздела между истинными славянофилами и теми, кто сделался «костью в течении образования».

Что славянофилы в понимании Герцена не одни люди «партии Ивана Киреевского», ясно видно из отнесения к ним В. В. Пассека. В общественной жизни Москвы начала 1840-х годов Пассек был близок к А. Ф. Вельтману, М. Н. Загоскину, Ф. Л. Морошкину, В. И. Далю, Ф. Н. Глинке. Их всех объединял интерес к широко понимаемым вопросам славянского прошлого, к будущей судьбе славян, общественно-политические понятия большей части этих ученых и литераторов были консервативны. В кружок истинных славянофилов Пассек никогда не входил.

Знал Герцен и других славянофилов, к которым (и только к которым) должны быть отнесены его некоторые безотрадные суждения о славянофильстве начала 1840-х годов. В некоторых ранних записях московского дневника славянофильство связано с правительством, с охранительной идеологией и практикой, славянофилы — составители политических доносов, враги свободной мысли: «Славянофильство приносит ежедневно пышные плоды, открытая ненависть к Западу есть открытая ненависть ко всему процессу развития рода человеческого... Ог donc вместе с ненавистью и пренебрежением к Западу — ненависть и пренебрежение к свободе мысли, к праву, ко всем гарантиям, ко всей цивилизации. Таким образом, славянофилы само собою становятся со стороны правительства и на этом не останавливаются, идут далее. Правительство теснит бессмысленно, оно имеет шпионов, которые доносят вздор, оно за вздор бьет казнями и ссылками, но нет настолько образованных шпионов, чтобы указывать всякую мысль, сказанную из свободной души, чтоб понимать в ученой статье направление и пр. Славянофилы взялись за это. Отвратительные доносы Булгарина не оскорбляют, потому что от Булгарина нечего ждать другого, но доносы «Москвитянина» повергают в тоску. Булгарин работает из одного гроша, а эти господа? Из убеждения» (запись 6 ноября 1842 г.).

Приведенные слова принято относить к истинному славянофильству. Думается, что это не так. Сравнение с записью о Пассеке, с другими, близкими по времени суждениями о «славянобесии», дает основание утверждать, что «славянофильство» здесь следует понимать в значении ревности к интересам славянства. Кто они, славянофилы, «со стороны правительства»? Разумеется, здесь нет речи о А. Хомякове, И. Киреевском, Д. Валуеве. Их личное благородство вне спора. Герцен пишет о доносах погодинского журнала — это прежде всего послание М. А. Дмитриева «К безыменному критику», пасквиль на В. Г. Белинского. Доносы «Москвитянина» — литературная репутация Шевырева в 1840-е годы, о котором Белинский писал: «Г. Шевырев давно хлопочет об истреблении в русской литературе вредного духа неуважения к писателям, с которыми он, г. Шевырев, находится в приятельских отношениях; для этого он решился твердо, какими бы то ни было способами, заставить замолчать *литературных бобылей* и *безыменных критиков*, которые, кроме критик и рецензий, иногда пишут и *типические очерки*»[31]. Славянофилы горькой дневниковой записи 6 ноября 1842 г. — М. Дмитриев, Шевырев, редактор «Москвитянина» Погодин, славянофильство — направление «Москвитянина».

В начале 1840-х годов слова «славянофил», «славянофильство» не приобрели еще нового терминологического значения, они были полемической кличкой, прозвищем, которое подмечало только одну сторону взглядов оппонента и которое могло быть отнесено к представителям разных течений русской общественной мысли. Герценовское обозначение направления Хомякова и И. Киреевского как славянофильского упрощало их воззрения, полемически придавало им ощутимый ретроградный оттенок, ибо прежде Хомякова и И. Киреевского славянофилами были названы издатели и сотрудники «Москвитянина». Им (Погодину, Шевыреву) обязано славянофильство своей нелестной репутацией.

Герцен чувствовал необходимость иного, более точного названия направления истинных славянофилов. Характерно первое упоминание о славянофилах, сделанное сразу по возвращении в Москву, 29 июля 1842 г.: «Толки о «Мертвых душах». Славянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы № 1 говорят, что это — апотеоза Руси, Илиада наша, и хвалят, след.; другие бесятся, говорят, что тут анафема Руси, и за то ругают. Обратно тоже раздвоились антиславянисты». Запись Герцена точно передает атмосферу споров о только что вышедшей поэме Гоголя, но для нас она прежде всего важна стремлением упорядочить применение расплывчатого понятия. В данном случае критерием раздела славянофилов выбрана книга Гоголя, но расстановка сторон получилась бесспорной. К. Аксаков, Хомяков, Валуев — «славянофилы № 1». Славянофил, противник «Мертвых душ» — М. Дмитриев, сотрудник «Москвитянина», автор послания «К безыменному критику»[32].

В 1844—1845 гг., в пору горячих споров с истинными славя-

нофилами, Герцен почти всегда называет их направление славянофильством. Под его пером возникает новое, терминологическое значение слова, которое служит для определения воззрений Хомякова, Киреевского, Аксаковых. Случайная необязательная кличка становится общественно-политическим понятием.

С 1844 г. прозвище «славянофилы» закрепилось за истинными славянофилами. Оно стало употребляться их оппонентами в периодической печати, в переписке, в устных беседах. Образ мыслей истинных славянофилов получил название славянофильства, а их небольшой кружок безоговорочно стали называть славянофильским.

Новое устойчивое терминологическое понимание слова «славянофил» не уничтожило его старых значений, что осложняло восприятие истинного славянофильства. Наиболее интересный, общественно значимый пример смешения понятий дает обращение к словоупотреблению В. Г. Белинского. Именно Белинский впервые употребил в печати слово «славянофил» для обозначения деятеля русской литературы и общественной жизни, озабоченного внутренними русскими делами. В статье «Русская литература в 1843 году» он писал: «У нас есть поборники европеизма, есть славянофилы и др. Их называют литературными партиями». Из текста ясно, что под славянофилами понимался круг «Москвитянина», куда включались и истинные славянофилы.

К Белинскому новое значение слова пришло из Москвы от Боткина и Герцена. Он понимал его как соединение двух знакомых значений: давнего, долгое время единственного — литературный старовер, шишковист и, в некоторых случаях, политический ретроград; и возникшего недавно — ревнитель славянства, неистовый славянолюб. Оба значения были известны критику, и он использовал их в печати прежде. Так, в статье 1842 г. по поводу «Речи о критике» А. В. Никитенко он упомянул о том, что литературная деятельность Карамзина «восстановила против себя славянофилов и пуристов русского языка». Из текста статьи очевидно, что славянофилы тождественны шишковистам. В заметке «Небольшой разговор между литератором и не-литератором о деле, не совсем литературном» славянофилами вновь названы обвинители Карамзина в порче русского языка.

Один раз слово «славянофил» было использовано Белинским в значении славянолюб. В сентябре 1842 г. в рецензии на книгу болгарского просветителя В. Априлова «Денница ново-болгарского образования» он обращался к болгарам: «Постарайтесь внушить своим поклонникам и вообще всем славянофилам побольше вежливости и человечности. Кто больше интересуется литературою Франции, Германии и Англии, нежели болгарскими букварями, на тех они смотрят, как на злодеев и извергов... ваши ревнители хоть сейчас готовы были бы учредить инквизицию для истребления духа европолюбия и для распространения духа азиелюбия и обскурантизма, т. е. мраколюбия». Один из славянофилов («мы забыли его неизвестное и темное в литературе имя»)

недавно напечатал в «московском журнале» по поводу книги Априлова «ужасную филиппику, обвиняя нас в равнодушии» к славянам. «Крутой нрав» славянофила, человека, который любит славян, не сулит добра русским литераторам. Отзыв характерный! Неназванный по имени славянофил легко установим. Это сотрудник «Москвитянина» М. Соловьев, в чьей пространной хвалебной рецензии на книгу Априлова нелестно упоминались «Отечественные записки»[33].

Как и Герцен, Белинский в 1842 г. называет славянофилами ближайших сотрудников «Москвитянина», причем, что также напоминает дневниковые записи Герцена, слово имеет явный уничижительный, презрительный оттенок. В 1842 г. славянофилы («нешишковисты») были в представлении Белинского связаны с духом инквизиции, с направлением «Москвитянина». Еще одно подтверждение тому мы находим в письме к В. П. Боткину из Петербурга от 9 декабря 1842 г., где встречаем: «Спасибо тебе за вести о славянофилах и за стихи на Дмитриева — не могу сказать, как то и другое порадовало меня. Если не ошибаюсь в себе и в своем чувстве,— ненависть этих господ радует меня... я был бы рад их мщению, и чем бы оно было действительнее, тем для меня отраднее. Я буду постоянно бесить их, выводить из терпения, дразнить. Бой мелочной, но все же бой, война с лягушками, но все же не мир с баранами».

О чем здесь речь? Письмо Боткина не сохранилось, его «вести» должны быть угаданы. «Стихи на Дмитриева» — коллективный ответ молодых московских литераторов А. А. Фета, Я. П. Полонского и А. А. Григорьева на послание М. А. Дмитриева «К безыменному критику». Выступление молодых поэтов не могло не обрадовать критика, но это именно «война с лягушками». Славянофилов следует искать рядом с Дмитриевым[34].

По нашему мнению, славянофилы — редактор «Москвитянина» Погодин, известный своими связями со славянами, исследователь славянской литературы Шевырев, сотрудник журнала М. Соловьев. Нет оснований следовать давней традиции прочтения письма и видеть «войну с лягушками» в споре Белинского с К. Аксаковым о «Мертвых душах». Их спор о книге Гоголя — серьезный, принципиальный. Белинский, при всей его эпистолярной несдержанности, не мог так отзываться ни о личности К. Аксакова, ни об их споре.

В 1844 г. словоупотребление критика «Отечественных записок» утратило четкость. Для Белинского славянофилы — и редакция «Москвитянина», и истинные славянофилы. Резкая эмоциональная окраска слова сохранилась и усилилась. Славянофилы — литературные ретрограды (искушенные читатели вспоминали о Шишкове), политические мракобесы (и для такого понимания легко было указать примеры). Белинский твердо связывал истинных славянофилов с направлением «Москвитянина». Проводить терминологическое различие он, в отличие от Герцена, не считал нужным. Ни в 1844 г., ни позднее.

На данное обстоятельство обратил внимание еще А. Н. Пыпин, указавший, что знаменитый критик не отделял старых «славян», издателей «Москвитянина», «партизан официальной народности» от «новых славянофилов», одинаково не терпел «мистических и хвастливых мечтаний старого и нового славянофильства». В плане эволюции понятия «славянофил» терминология Пыпина неудачна (было немало опытов «нового» славянофильства!), но основная мысль бесспорно правильна. По отношению к славянофилам «Москвитянина» Хомяков и И. Киреевский были именно «новыми славянофилами». Но данные термины — «старое» и «новое» славянофильство — изобретение Пыпина, Белинский их не знал.

Верно и замечание Пыпина о существовании в 1840-е годы еще «особого рода славянофильства, какое представляли тогда Морошкин, Савельев-Ростиславич, Сахаров»[35]. Славянофильство этого рода, связанное с изучением славянских древностей, не было тождественно ни направлению «Москвитянина», ни взглядам истинных славянофилов.

В дальнейшем (и по настоящее время) невнимание к терминологии, к истории слова «славянофил», к его семантике, небрежное использование расплывчатого понятия «славянофил» при освещении процессов русской идейной жизни 1840-х годов неизменно приводили (и приводят) к смешению истинного славянофильства с направлением «Москвитянина», с мнениями российских охранителей, с идеологией «официальной народности». Суждение Г. В. Плеханова, что «тут были простые оттенки одной и той же мысли», во многом предопределено было терминологической путаницей[36].

Наблюдения над словоупотреблением Белинского позволяют сделать два вывода. Во-первых, при менявшемся с годами отношении к истинному славянофильству, во *всех* развернутых печатных отзывах о славянофильстве речь идет о расплывчатом, неоднородном явлении русской мысли, о славянолюбии, сопряженном с враждой к Западу, с духом «азиелюбия» и «мраколюбия». Представления Белинского о славянофильстве были всегда осложнены памятью о литературных и не-литературных делах «Москвитянина», им сопутствовали насмешливые историко-литературные воспоминания о Шишкове. Убедительный пример именно такого понимания славянофильства дает одна из последних крупных работ критика «Ответ «Москвитянину» (1847), Белинский отвечал на статью Ю. Самарина, который не принимал для истинных славянофилов названия «славянофилы» и предлагал другое — «московское направление».

Белинский писал: «Что такое «московское направление», загадочною речью о котором начинается статья? Разумеется, так называемое *славянофильство.* Очевидно, что автор статьи — *славянофил.* Но он не хочет этого названия; он говорит, что его партию окрестили им петербургские журналы. Из этого видно, что он сам чувствует все смешное, заключающееся в этом слове,

но он не чувствует, что слово может быть смешно не само собою, а заключенным в нем понятием, и что переменить название вещи не значит изменить самую вещь. Петербургские журналы не сговаривались давать название славянофилов литераторам известного образа мыслей; вероятно, они или подслушали его у самих этих литераторов, или извлекли из сущности их учения, альфа и омега которого суть славяне, враждебно и торжественно противополагаемые гниющему Западу». (Еще раз подчеркнем: славянский вопрос не был сутью, «альфой и омегой» истинного славянофильства.) Далее Белинский ставил вопрос: «...почему славянофильство именно *московское* направление?.. Нам кажется, что славянофильству чуть ли не более следует название *петербургского* направления, чем московского. По крайней мере, сколько мы знаем славянофильство, оно совсем не так ново на Руси, как, может быть, думают сами последователи этого учения. Кому неизвестно, что успехи Карамзина в преобразовании русского литературного языка вызвали в начале нынешнего столетия партию, которая, вооружаясь против его нововведений, думала отстаивать от иноземного влияния родной язык и добрые праотеческие нравы! Как вы думаете, не сродни ли эта партия нынешним славянофилам?» Критик приводил обширную выдержку из послания В. Л. Пушкина «К В. Жуковскому» (1810) и заключал: «...и здесь уже люди, объявившие себя против европейского образования, названы *славянами:* а далеко ли от *славян* до *славянофилов?* Правда, с обеих сторон здесь спор чисто литературный, потому что другого тогда и не могло быть; и разумеется, славянофильская партия нашего времени двинулась дальше своей прародительницы. А где было гнездо этой старой славянской партии? — в Петербурге... В последнее время славянофильство, как новое направление, резко и решительно провозгласило себя в московском журнале «Москвитянин»; но и тут оно упреждено было в Петербурге: издание «Маяка» началось годом ранее «Москвитянина». Многие славянофилы не любят вспоминать о «Маяке», как будто чуждаются его, никогда не высказывают своего мнения ни за, ни против него; подумаешь, что они и не знают ничего о существовании подобного журнала. А это оттого, что «Маяк» был самым крайним и самым последовательным органом славянофильства. Верный своему принципу, исходному пункту своего учения, он никогда не противоречил ему и логически дошел до крайних, до последних своих результатов... Он больше славянофил, чем «Москвитянин», и потому имел полное право смотреть на него как на противоречивого непоследовательного органа того учения, которое во всей чистоте своей явилось только в нем, пресловутом «Маяке» [37].

Говоря о «Маяке» как об органе славянофильства, Белинский использовал крайнее, наиболее широкое семантическое значение слова. Славянофилами в таком случае могли быть названы не только сотрудники «Маяка» и «Москвитянина», но и последователи Шишкова, авторы, писавшие о славянстве и его истории

(Н. В. Савельев-Ростиславич, И. П. Сахаров, В. В. Пассек, Ф. Л. Морошкин, Ю. И. Венелин), истинные славянофилы, москвофилы (М. Н. Загоскин, А. Ф. Вельтман, Ф. Н. Глинка) и пр. А. С. Шишков тем проще входил в разряд славянофилов-славянолюбов, что действительно сыграл определенную роль в становлении русской славистики [38].

Во-вторых, Белинский, не проводя терминологического различия, тем не менее допускал, особенно после 1846 г., оговорки, когда писал об истинном славянофильстве. В конце 1846 г. он утверждал: «Славянофилов у нас много, и число их все увеличивается... Можно сказать, что вся наша литература, а с нею и часть публики, если не вся публика, разделилась на две стороны — славянофилов и неславянофилов». Здесь — широкое толкование славянофильства. Отвечая истинному славянофилу Ю. Самарину, Белинский подчеркнул, что к его «московскому направлению» принадлежит только «какой-нибудь литературный кружок». В отношении истинного славянофильства сказано вполне верно. Неоднократно излагая суждения славянофилов-славянолюбов, зная их и предполагая такое же знание в читателе, критик надеялся узнать от «Москвитянина» И. Киреевского (1845) «доктрину славянофильства, которая до сих пор все только обещала высказаться». В ответе Самарину Белинский назвал его взгляды «таинственным учением» и прямо писал: «Третье и последнее обвинение против нас, в статье «Москвитянина», состоит в искажении нами образа мыслей гг. славянофилов. Может быть, мы и действительно не совсем верно излагали их образ мыслей и приписывали им иногда такие мнения, которые им не принадлежат, и умалчивали о таких, которые составляют основу их учения. Но кто же в этом виноват? Конечно, не мы, а сами гг. славянофилы. До сих пор ни один из них не потрудился изложить основных начал славянофильского учения, показать, чем оно разнится от известных воззрений» [39].

Не будет ошибкой утверждение: «гг. славянофилы» данного высказывания — это истинные славянофилы, «известные воззрения» — не одно направление погодинского «Москвитянина», но широкий спектр славянофильских воззрений, проникнутых ненавистью к европейской цивилизации, просвещению, духом «азнелюбия и мраколюбия».

К сочинениям В. Г. Белинского следует подходить предельно внимательно. Его статьи, рецензии, письма требуют медленного чтения, детального текстологического и историко-литературного анализа. Форма общественно-литературного выступления (статья, обзор, рецензия, краткая аннотация, упоминание в частном письме), его дата, обстоятельства, вызвавшие его появление (выход книги, журнала, чья-то речь или университетская лекция), цели, преследуемые критиком в работе, его словоупотребление, дошедшие до нас отклики современников — все должно учитываться.

В противном случае, когда из контекста выбираются почему-

либо удобные для цитирования места, нельзя быть уверенным, что отрывок понят верно, что высказывание отнесено к тем событиям, лицам, мнениям, о которых действительно писал великий критик. Пример — история употребления Белинским слов «славянофил», «славянофильский», «славянофильство».

Творчество Белинского, а вместе с ним и вслед за ним Герцена и Чернышевского оказало огромное воздействие не только на умы современников, на ход идейной борьбы, но и на суждения потомков, на историографическую традицию. Иначе и не могло быть. Но, обращаясь к наследию Белинского, исследователи — историки, литературоведы, философы — нередко забывают, что терминология критика была терминологией 1830—1840-х годов, она неотделима от своей эпохи, и подходить к ней следует исторически. Высказывания Белинского, даже если в конкретном случае они имеют, казалось бы, однозначный смысл, и терминология, им употребляемая, привычна для нас, не могут быть поняты вне всей совокупности его публицистики, вне семантики его времени.

Здесь уместно отметить, что вопросы становления и развития терминологии русской истории XIX в., и особенно истории русской общественной мысли, ждут своего исследования. История распространения и истолкования слов связана с идейной жизнью русского общества, с судьбой общественных направлений. Изучение этих вопросов должно быть взаимосвязано. Более того, успешное изучение истории общественной мысли России XIX в. требует понимания важности вопросов терминологии: и терминологии научного исследования, и терминологии русского литературного языка XIX в.

К сожалению, историками сделано в данной области немного. Невнимание к семантической эволюции слов — распространенная ошибка, которая приводит к неверным общим выводам. Освоение богатого материала, накопленного в работах специалистов-языковедов, пока еще — дело будущего [40].

5

Полемическая кличка «славянофилы», данная оппонентами-западниками, долгое время воспринималась И. Киреевским, А. Хомяковым, Ю. Самариным как незаслуженное и обидное прозвище. В 1847 г. в статье «О мнениях «Современника», исторических и литературных» Ю. Самарин особо оговаривал, что название «староверов и славянофилов» придумали «петербургские журналы», которым оно почему-то кажется «очень забавным» (I, 28). Много лет спустя Хомяков в речи в Обществе любителей российской словесности (2 февраля 1860 г.) напомнил, что «славянофильство» — название «не совсем дружелюбное», от которого, впрочем, «не отказываются его сторонники» (III, 440).

В годы складывания направления истинных славянофилов не беспокоило отсутствие самоназвания. Беседы в московских ли-

тературных салонах не требовали точных терминологических определений, расстановка сил была понятна, и отличие общественно-политических суждений Хомякова, например, от позиции Погодина, который нередко именовался славянофилом, для споривших было очевидной истиной. Только опыт идейных споров привел истинных славянофилов к мысли о необходимости ясности определений, мыслей, отношений к иным общественным группам. Ясность — требование истинного славянофильства 1850-х годов, когда неизвестность и непопулярность идей Хомякова и И. Киреевского в русском общественном мнении стали тревожить Ю. Самарина, И. Аксакова, Кошелева. «Мы напишем статью и читаем ее друг другу, привыкнув понимать друг друга с полуслова, прийдя только вчера на какую-нибудь мысль — мы сердимся и негодуем, что не все так делают и мыслят. Но мы не умеем говорить с ними, забываем, что они не прошли через тот процесс, через который мы проходили, и от того бесплодны наши слова, бессильно обличение и мы просто непонятны. Надо начать с азбуки, с близких к действительному быту, простых, осязательных понятий, а не отвлеченных идей»,— писал в 1854 г. И. Аксаков. Он ставил вопрос широко, но точное название идейного направления входит, разумеется, в число «осязательных понятий».

В спорах 1844—1845 гг. истинные славянофилы называли себя чаще всего «московским направлением». В их переписке этого времени встречаются «московская партия», «московская мысль», название кружка — «москвичи». К примеру, Ю. Самарин в письме 1844 г. сообщал: «Я разыгрываю в Петербурге в некотором смысле роль представителя московского направления» (XII, 149). О «московской партии» много говорили в петербургских салонах, «московское направление» противополагали «петербургскому». Название пошло, скорее всего, от К. Аксакова, ревностного патриота Москвы. Еще в 1840 г. Н. В. Гоголь, получив его письмо, отмечал, что «оно сильно кипит русским чувством и пахнет от него Москвою». Начало толков о Москве Ю. Самарин относил ко времени отъезда Гоголя из Москвы (май 1842 г.).

Москва стала символом истинных славянофилов, названием их направления. Хомяков о неудаче И. Киреевского с изданием «Москвитянина» писал: «Хорошо осрамилась наша Москва, любезный Юрий Федорович, не умела-таки сохранить журнал» (VIII, 255). Как видим, «наша Москва» — определение, к московским ученым Погодину и Шевыреву неприложимое. В 1846 г. Ю. Самарин писал о перспективах славянофильства: «То направление мысли, которое характеризует Москву, со временем проникнет всюду и пересоздаст государственную, общественную и семейную жизнь, но это время еще ужасно далеко» (XII, 174). Истинные славянофилы претендовали быть единственными выразителями общественной мысли Москвы, что было остроумно высмеяно Белинским в «Ответе «Москвитянину». Критик отметил, что виднейшие представители «петербургского направления» — москвичи, которые жили и живут в Москве.

Название «москвичи», эпитет «московский» и позднее, в 1850—1860-е годы, служили для обозначения кружка истинных славянофилов. Слова «московские славянофилы» в эти зрелые годы бытования истинного славянофильства позволяли провести определенную грань между К. Аксаковым, А. Хомяковым, Ю. Самариным, И. Аксаковым и появившимися «сторонниками и продолжателями» славянофилов. В исторической литературе понятие «кружок московских славянофилов» встречается часто. Оно целесообразно, хотя и неточно. Вне Москвы не было ни истинных славянофилов, ни тем более их кружка.

В семье Аксаковых, их переписке, в статьях К. Аксакова с середины 1840-х годов встречается «русское направление», которое употребляется как синонимичное «московскому направлению». О «русском направлении» и о враждебном ему «западном направлении» К. Аксаков много писал в 1848—1849 гг., когда он приступил к разработке теории «негосударственности» русского народа. Ко многому обязывающее, «русское направление» как устойчивый термин не утвердилось, хотя К. Аксаков сохранил его в публицистике «Молвы» (1857), а И. Аксаков писал о «русском воззрении», о «русской мысли» вплоть до середины 1880-х годов. «Русское направление» в глазах истинных славянофилов было дискредитировано к середине 1850-х годов, и тот же И. Аксаков в 1856 г. сетовал: «Беда от русского направления, которым изволит проникаться русское общество! Слова: народность, русский дух, православие производят во мне теперь такое же нервическое содрогание, как русское спасибо, русский барин и т. п.; охотно согласился бы прослыть в обществе и западником и протестантом»[41].

В 1845 г. И. Киреевский предложил в печати название «славяно-христианское направление». На его значение он указал в программном «Обозрении современного состояния литературы», опубликованном в обновленном «Москвитянине». И. Киреевский обещал в следующих публикациях «со всевозможным беспристрастием» дать определение новому направлению (I, 173). Но следующую книжку журнала редактировал уже Погодин, и обещанного окончания статьи не появилось. Не удержалось и название, неполно передававшее суть воззрений истинных славянофилов.

В переписке истинных славянофилов изредка встречается прозвище «славяне», которое обычно служит для передачи отзывов посторонних лиц. И. Киреевский в письме к «московским друзьям» (1847) употребил его в полемическим контексте: «Мы называем себя славянами, и каждый понимает под этим различный смысл» (II, 246). Как термин для обозначения истинных славянофилов слово «славяне» было неудобно из-за своей многозначности и обилия «славян» в русском обществе.

В спорах и устных беседах сороковых годов были в ходу слова, противоположные понятиям «западные», «западники», «европисты», «нововеры» — «восточные», «восточники», «славянисты», «староверы». Их употребляли Чаадаев, Герцен, А. И. Тургенев.

В письме к Белинскому (1846) Гоголь использовал наиболее нейтральные слова — «восточные, западные». Трудный поиск точных слов отразили «Выбранные места из переписки с друзьями», где в письме «Споры» (1844) находим: «Все эти славянисты и европисты или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, и что они в самом деле, не умею сказать...»[42]. Из перечисленных Гоголем слов значение общественно-политического термина получило слово «западники». Характерно, что слова «славянофил» Гоголь избегал.

В спорах «славянистов» и «европистов» прошли годы, но точных обозначений, которые выражали бы существо их воззрений, найти не удалось. В конце 1870-х годов участник споров П. В. Анненков, острый наблюдатель и памятливый мемуарист, чувствовал неполноту старых определений и как бы приносил своим читателям извинение: «Не очень точны были прозвища, взаимно даваемые обеими партиями друг другу в виде эпитетов: *московской* и *петербургской* или *славянофильской* и *западной*,— но мы сохраняем эти прозвища потому, что они сделались общеупотребительными, и потому, что лучших отыскать не можем: неточности такого рода неизбежны везде, где спор стоит не на настоящей своей почве и ведется не тем способом, не теми словами и аргументами, каких требует. Западники, что бы о них ни говорили, не отвергали исторических условий, дающих особенный характер цивилизации каждого народа, а славянофилы терпели совершенную напраслину, когда их упрекали в наклонности к установлению неподвижных форм для ума, науки, искусства. Деление партий на *московскую* и *петербургскую* можно допустить несколько легче... но и оно не выдерживает строгой проверки»[43].

В конечном счете принцип общеупотребительности понятия (гоголевское «не умею сказать») стал основным критерием. Истинные славянофилы приняли как самоназвание, как терминологическое обозначение слово «славянофил». Первым это сделал К. Аксаков. В конце 1845 — начале 1846 г. им была написана статья «Отголоски о новом происхождении имени славян и славянофилов». С основательностью ученика гегелевской школы он обосновал возможность и неизбежность принятия прозвища «славянофил» истинными славянофилами: «Кто не славянин, тот конечно не русский. Кто смеется над какими-то славянофилами или славянолюбцами, тот, конечно, сам славян ненавидит, а кто ненавидит род, ненавидит и вид, кто ненавидит славян — ненавидит и русских». К. Аксаков наметил пять признаков принадлежности к славянофильскому учению, из которых один, пятый, предполагал обязательное сочувствие к племенам славянским, «притом отклоняя все возможные мечты о политическом соединении всех славян в одно целое»[44]. Последняя оговорка была существенна и делала «славянофильские» взгляды К. Аксакова отличными от представлений славянофилов «Москвитянина» и тем более «Маяка».

Не сразу, но самоназвание «славянофил» утвердилось. В 1847 г. Хомяков в статье «О возможности русской художествен-

ной школы» полемически восклицал: «Некоторые журналы называют нас насмешливо славянофилами, именем, составленным на иностранный лад, но которое в русском переводе значило бы славянолюбцев. Я, с своей стороны, готов принять это название и признаюсь охотно: люблю славян» (I, 96—97).

К. Аксаков, обосновав в теории необходимость принятия прозвища «славянофил», долгое время пользовался им редко. «Русское воззрение», «московское направление» были для него ближе, они точнее отражали его понимание доктрины истинного славянофильства. Постоянно слова «славянофил», «славянофильский», «славянофильство» К. Аксаков стал вводить в статьи «Молвы» (1857). С этого времени понятие окончательно утвердилось в русской публицистике, хотя и тогда П. А. Вяземскому, помнившему первое значение слова, термин казался неудачен, и он писал К. Аксакову: «Смешно признавать за собою прозвище, которое на смех было пущено Василием Львовичем Пушкиным в «Буянове» [45].

Характерно, что в предисловии к «Русской беседе» (1856) Хомяков, обещая «единство характера и направления» журнала, избегал термина «славянофильский». В то же время Н. Г. Чернышевский подчеркивал, что термин «славянофилы» неудобен, не имеет «внутреннего смысла» и он использует его только потому, что нет другого, точного, для обозначения «школы, названной этим именем». Он писал: «Мы употребляем это имя, как наиболее всем известное; но нам кажется, что, будучи придумано в то время, когда мнения лучших последователей школы были еще мало известны, оно не имеет в настоящее время никакого внутреннего смысла. Мы готовы с удовольствием заменить его другим, какое будет нам указано самими последователями мнений, о которых идет речь» [46].

Иного названия своим мнениям истинные славянофилы найти не сумели. С конца 1850-х годов понятия «славянофил», «славянофильство» применительно к ним стали общеупотребительными и вытеснили все прочие. Они использовались как их противниками, так и сторонниками.

В публицистике И. Аксакова периода «Дня» (1861—1865) постоянны упоминания «славянофильской мысли», «славянофильского направления», «славянофильского» взгляда, мнения, воззрения и пр. В отечественной периодике, в цензурных делах, в иностранной публицистике и в дипломатических донесениях нередко писали о «славянофильской» партии.

В конце 1870-х годов, когда славянофильство и западничество сошли с арены общественной жизни, Кошелев, один из немногих остававшихся тогда в живых истинных славянофилов, вновь вспомнил о неудачной кличке: «Нас всех и в особенности Хомякова и К. Аксакова прозвали *«славянофилами»*, но это прозвище вовсе не выражает сущности нашего направления. Правда, мы всегда были расположены к славянам, старались быть с ними в сношениях, изучали их историю и нынешнее их положение, по-

могали им, чем могли; — но это вовсе не составляло главного, существенного отличия нашего кружка от противоположного кружка западников. Между нами и ими были разногласия несравненно более существенные». Кошелев предложил другое название, быть может, самое неточное из всех: «А называть нас следовало *не славянофилами,* а в противоположность западникам, скорее *туземниками* или *самобытниками,* но и эти клички не полно бы нас характеризовали». Действительно, не только неполно, но и неверно. Самобытности западников сороковых годов отрицать невозможно. Более справедлива заключительная фраза Кошелева: «Мы себе никаких имен не давали, никаких характеристик не присваивали, а стремились быть только не обезьянами, не попугаями, а людьми, и притом людьми русскими» [47].

6

Возникшее в 1830-е годы употребление слов «славянофил», «славянофильство» для обозначения исключительной, чрезмерной преданности славянству существовало все то время, когда истинное славянофильство было реальным фактом русской общественной жизни, а в конце концов и пережило его. В русском литературном языке, в общественной практике середины прошлого века термин «славянофильство» имел двойное значение: им обозначалось как течение русской мысли, представленное И. Киреевским, А. Хомяковым, К. Аксаковым, так и славянофильство-славянолюбие, которое имело своих славянофилов-славянолюбов, нередко заметных деятелей в среде русской общественности (о славянофилах-шишковистах помнили немногие). Как явления общественно-идейной жизни России славянофильство-славянолюбие и истинное славянофильство были принципиально отличны, но общее название создавало предпосылку для их постоянного смешения, а порой и отождествления. Семантическая неразграниченность термина оказала (и оказывает) воздействие и на историографические традиции изучения как славянских интересов в русском обществе, так и истинного славянофильства.

Неточное название осложняло положение истинных славянофилов в идейной борьбе, мешало верному восприятию их учения русской общественностью. Истинному славянофильству постоянно приписывали такие характерные именно для славянофильства-славянолюбия черты, как ненависть к Западу (у И. Киреевского!), политический обскурантизм, панславистские идеи.

Любопытно проследить, как черты панславизма, т. е. стремления подчинить славянские народы политическому и идеологическому влиянию российского абсолютизма, которые, несомненно, включало в себя славянофильство-славянолюбие, были отнесены к истинному славянофильству. Это было одним из ранних и наиболее осязаемых результатов смешения понятий.

Крупнейшим славянофилом-славянолюбом в русском обществе 1840—1850-х годов был М. П. Погодин. Уже в конце 1830 — на-

чале 1840-х годов его славянская программа включала элементы культурного и политического панславизма, с позиций которого он осторожно критиковал внешнеполитическую доктрину правительства. В своем дневнике путешествия по Европе 1839 г. Погодин писал о необходимости изучения славянской истории для доказательства того, что «искони раздор и несогласие губили все славянские государства», рассуждал о важном значении для всех славян русского языка. Итог его помыслов о славянском дереве, которое, «оставаясь одно», везде «засыхало, погибало», вполне определенен: лишь в России славянское дерево «высится высоко, углубляется глубоко и простирает далеко, яко же кокошь, свои могучие крылья». О себе Погодин не без гордости сообщал: «Сознаюсь в квасном патриотизме»[48].

С годами элементы панславизма во взглядах Погодина укреплялись, его «Москвитянин» оправдывал надежды Бодянского, который еще в 1838 г. писал о затеваемом издании, что «можно ему будет дать также и панславянское направление, сделать центром славянщины»[49]. Погодин, Шевырев, Бодянский, журналы «Москвитянин» и «Маяк» придавали славянофильству-славянолюбию 1840-х годов отчетливую панславистскую окраску.

Необходимость четкого размежевания направлений, выработки новых названий, призванных заменить слишком общее обозначение «славянофильство», раньше других была осознана русскими учеными-славистами, которые по роду своих занятий неизбежно были причисляемы к славянофилам, хотя далеко не все из них разделяли славянскую программу «Москвитянина» и «Маяка». Примечательно письмо профессора И. И. Срезневского, которое он послал чешскому ученому В. Ганке из Петербурга 1 февраля 1848 г.: «Говоря о Петербурге и Западе, невольно вспоминаешь наши литературные партии. Самые ярые из них — партия западников и партия (псевдо-) славоманов. Последним достается во всех журналах — и поделом. Не зная славян, ни их быта, ни их истории, ни их литературы, эти люди кричат о славянах и своими возгласами только портят. Возгласы эти — панегирики, где расхваливается то, что не очень стоит похвалы, и умалчивается о том, что стоит не только похвалы, но и удивления, а все от незнания. Когда то, что хвалилось, не было еще известно, дело сходило с рук, но чуть оно становится известным, люди видят, что рассыпанных похвал оно не стоит, и славянофилов хваливших начинают ругать вместе с тем, что они хвалили. Теперь по необходимости у нас отделились слависты и славянофилы, как две партии, ничем не связанные. В партии западников тоже ералаш: и там рассыпаются похвалы тому, что их не стоит. И от них отделилась партия европейцев (сиречь: образованных). Европейцы и слависты — цвет общества, и представьте себе, им не о чем спорить. В главных мнениях они совершенно согласны, да иначе и быть не может: это народ, знающий цену всему, что современно, и все хорошее уважающий, будь оно русское, славянское, немецкое, английское или хоть китайское»[50].

Свидетельство Срезневского имеет большую историческую ценность. Оно указывает на стремление к размежеванию в среде лиц, проникнутых интересом к славянству, на сам факт размежевания. Представляют интерес и терминологические обозначения, предложенные Срезневским. Его описание славянофилов (славоманов) — краткое изложение идей «Маяка» и «Москвитянина». Хотя и непросто определить, кто именно, по мнению ученого, входил в перечисленные петербургские партии (московскую общественную жизнь он знал плохо), но очевидно, что истинные славянофилы могут быть отнесены к славистам, к «цвету общества». Наконец, обращает на себя внимание дата письма, февраль 1848 г., канун революций в Западной Европе, когда славянский вопрос приобрел небывалую прежде политическую остроту.

Для истинных славянофилов не были характерны выступления с позиций панславизма, культурно-психологическое влияние которого сказывалось, правда, в общих утверждениях о «славянском братстве», о будущем славянском единении, об общеславянском самосознании и т. п. Уже в начале 1840-х годов они почувствовали необходимость отделить свои славянские симпатии от взглядов Погодина и «Маяка». В 1842 г. Ю. Самарин писал: «Участие к славянскому возрождению, с некоторого времени, принимает такой характер, который, мне кажется, делает противодействие необходимым. Многие стали понимать будущее торжество славянизма, как торжество жизни над наукою» (XII, 98). И. Аксаков в 1844 г. подчеркивал свою непричастность к славянофильству-славянолюбию: «Я хоть совсем не славянофил, но так, из шутки, собрал несколько денег для церквей Далмации и Герцеговины» [51]. В этом смысле следует, на наш взгляд, понимать и нежелание И. Киреевского считаться «заклятым славянофилом», о чем он в 1844 г. сообщал Хомякову: «...этот славянофильский образ мыслей я разделяю только *отчасти, а другую часть* его считаю *дальше от себя, чем самые эксцентрические мнения Грановского*» (II, 233).

Нерасчленность понятий влияла на репутацию истинных славянофилов в глазах правительства. В 1840-е годы, когда политика Николая I строилась на принципах легитимизма и нерушимости европейских границ, власти были склонны видеть именно в кружке Хомякова опасную противоправительственную партию, чье сочувствие зарубежным славянам имело характер оппозиции. В 1847 г. по возвращении из путешествия по славянским землям был арестован Ф. В. Чижов. Его подозревали в участии в славянском заговоре против австрийского правительства. Для подготовленной в III Отделении по «делу Чижова» справки «Из истории развития идей славянизма на Западе и распространения их в России» характерна терминологическая определенность понятия «славянофильство», которое понималось в духе общего сочувствия славянам. В справке отмечалось, что «славянофильство может принять и преступное направление».

В 1848—1849 гг., когда, по словам В. И. Срезневского, насту-

пило «время страха перед идеей славянства и гонения как на славянофилов, так и на всех лиц, у которых мелькали общеславянские мечты и вне политики», подозрения правительства в агитации среди славян главным образом были связаны с кружком истинных славянофилов. Было бы неверно выводить эти подозрения только из названия кружка — «славянофильский», но смешение понятий, несомненно, этому способствовало. На допросе в III Отделении (1849) И. Аксакову был поставлен вопрос: «Не питаете ли вы и родственники ваши славянофильских понятий и в чем оные состоят?» Ответ И. Аксакова семантически точен: «Что касается до моих славянофильских идей, то ни я, ни родственники мои, не славянофилы в том смысле, в каком предложен этот вопрос. В панславизм мы не верим...» И. Аксаков утверждал: «...меня гораздо более всех славян занимает Русь» — и верноподданно пытался объяснить взгляды своих единомышленников, отмежевав их от славянофильства-славянолюбия: «...возрождение русской народности проявилось в науке и в литературе. Люди, всеми силами, всеми способностями души преданные России, смиренно изучившие сокровища духовного народного богатства, святочтущие коренные начала его быта, неразрывного с православием, люди эти, бог весть почему, прозваны были славянофилами, хотя в их отношениях к западным славянам было только одно сердечное участие к положению единокровных и единоверных своих собратий». Объяснение И. Аксакова не показалось убедительным и вызвало характерный отклик Николая I: «Потому что под видом участия к мнимому утеснению славянских племен в других государствах тмится преступная мысль соединения с сими племенами, несмотря на подданство их соседним и частью союзным государствам; а достижения сего ожидали не от божьего определения, а от возмутительных покушений на гибель самой России» [52].

В Москве за Аксаковыми, Хомяковым, их постоянными гостями — «партией славянофилов» был установлен тайный надзор. Осведомители генерал-губернатора Москвы гр. А. А. Закревского доносили: «Под именем славянофилов в Москве разумеются люди, имеющие предметом своих бесед и изучения славянский народ. Главное убеждение их и верование состоит в том, что как славяне одно племя, то должны соединиться в одно целое и составить один народ» [53]. Славянолюбие, идеи панславизма были признаны нежелательными, и истинные славянофилы, мало в этом повинные, но непонятные и подозрительные, преследовались. Осторожный Погодин, чьи связи со славянскими землями были известны, не вызывал интереса властей, хотя и не скрывал своих панславистских мечтаний. Семантика довлела над полицейским сыском.

С началом Крымской войны русское правительство стало благосклоннее относиться к выступлениям в духе панславизма. Несколько изменилось отношение к кружку Хомякова, что связано было с прежней оценкой истинных славянофилов как неистовых

ревнителей славянства. В 1855 г. П. А. Вяземский, тогда товарищ министра народного просвещения, не без лукавства арзамасского «Асмодея» доказывал безобидность истинных славянофилов (речь шла о разрешении им литературной деятельности): «Это прозвание (славянофилы.— *Н. Ц.*) насмешливое, данное одной литературною партиею другой партии. Это чисто семейные, домашние клички. Лет за сорок перед сим мы же, тогда молодые литераторы карамзинской школы, так прозвали А. С. Шишкова и школу его. В последнее время прозвище это воскресили и обратили к некоторым московским литераторам, приверженцам старины. Из журнальных сплетней и пересмешек возникло пугало, облеченное политическою таинственностью. Собственно же, судя о славянофильстве по его словопроизводству, мудрено заключить, что может быть вредного в любви к славянам... и в любви к славянскому языку».

Принцип «суждения по словопроизводству» в 1855 г. был благоприятен для истинных славянофилов: власти дали разрешение на издание «Русской беседы» [54].

В 1861 г. неразделенность понятий удачно использовал И. Аксаков, добиваясь разрешения на периодическое издание. В письме к директору азиатского департамента Министерства иностранных дел Е. П. Ковалевскому, в ведении которого находились отношения с зарубежными славянами, он доказывал: «Как бы там ни думало обо мне правительство, но я убежден, что наша славянофильская деятельность полезна интересам России вообще, а в частности, и нашей политике». Под «славянофильской деятельностью» он понимал поддержание в славянах «любви к России», «веры в нее», что мешает им «поддаваться чуждому влиянию, а следовательно, этим самым достигает целей, предположенных и самим правительством». Истинное («наше») славянофильство намеренно сводилось Аксаковым к славянолюбию, к панславизму.

Опытный литератор, И. Аксаков играл словом, умело смешивал разные понятия, которые оно обозначало. Царское правительство и в 1860-е годы склонно было видеть в славянофильстве прежде всего славянолюбие. Поэтому был разрешен «День», поэтому в 1862 г. временное закрытие газеты встревожило русскую дипломатию, о чем И. Аксаков сообщал, вновь придавая слову характерное значение: «Наш посланник из Вены (Балабин) и консула в славянских странах писали самые энергические депеши о том, как неприятно подействовало на славян прекращение «Дня», в каком невыгодном свете является правительство, какое огромное значение имел у славян этот орган славянофильства в России» [55]. Семантическая двусмысленность здесь налицо. Но на пользу истинным славянофилам смысловая путаница оборачивалась редко.

Отсутствие точной, или по меньшей мере общепринятой, терминологии неизбежно приводило к искажению истинного славянофильства. В 1840—1850-е годы истинные славянофилы не су-

мели (в терминологическом плане) отмежевать свои общие воззрения, и в частности славянские симпатии, от славянофильства Погодина, что вело к отождествлению в глазах большинства современников взглядов Хомякова и И. Киреевского со славянофильством-славянолюбием, с идеями политического панславизма.

7

В пореформенное время смешение понятий, терминологическая неясность усугубились. Их ближайшим следствием было возникновение совершенно ошибочного представления, согласно которому славянская проблематика была центральным пунктом воззрений истинных славянофилов. Распространенное и стойкое, это представление сохранилось и в настоящее время. Между тем еще в 1855 г. Н. Г. Чернышевский проницательно заметил: «Симпатия к славянским племенам не есть существенное начало в убеждениях целой школы, названной этим именем... Кто же из образованных людей не разделяет ныне с ней этой симпатии?» [56]

Конечно, не только терминологическая путаница превращала в глазах многих истинное славянофильство в крайнее славянолюбие. Была и другая, своего рода объективная, но в действительности прежде всего психологическая предпосылка для такого его восприятия. Многообразные связи истинных славянофилов с южными и западными славянами, славистические исследования А. Ф. Гильфердинга, В. И. Ламанского, П. А. Безсонова, В. А. Елагина, А. М. Иванцова-Платонова, публицистика «Дня», «Москвы», «Москвича», видная роль И. С. Аксакова, Ф. В. Чижова, Ю. Ф. Самарина в Московском славянском комитете свидетельствовали об устойчивом, глубоком интересе к славянству. Публикация «Семирамиды» А. С. Хомякова с ее безбрежной славянской стихией позволяла современникам проследить генезис этого интереса. Легко было впасть в ошибку, сделать вывод, что славянофильство Хомякова и И. Аксакова — это славянолюбие. Но истинное славянофильство было течением русской общественной жизни, возникло в России и было обращено к России. В 1862 г. И. Аксаков откровенно писал А. Д. Блудовой, чьи панславистские взгляды были ему известны: «Пока будет существовать «День», он будет посвящен преимущественно русским нашим внутренним вопросам, перед которыми славянские имеют интерес уже второстепенный». По нашему мнению, полностью сохраняет научное значение вывод, сделанный в 1892 г. П. Г. Виноградовым: «Славянский вопрос играл сравнительно скромную роль в теориях славянофилов» [57].

«Суждение по словопроизводству» умышленно или неумышленно вело к искажению «существенных начал» истинного славянофильства, к подмене одного явления русской общественной жизни другим. Течение русской общественной жизни, озабоченное внутрироссийскими делами, как бы переставало суще-

ствовать, оставалось одно славянофильство-славянолюбие. Так, к сожалению, повелось с 1860-х годов. Первоначально это был удобный полемический прием (его не без успеха применял, в частности, М. Н. Катков), позволявший не принимать всерьез внутриполитические суждения И. Аксакова, Ю. Самарина, Ф. Чижова. Подобное понимание славянофильства (и слова, и общественного явления) не было, разумеется, всеобщим, но оно главенствовало в русской периодике со второй половины 1860-х годов. Со временем такая точка зрения была воспринята многими, писавшими о славянофильстве. Определенную роль в сведении истинного славянофильства, как раннего, так и пореформенного, к славянолюбию сыграла идейная эволюция некоторых истинных славянофилов, в первую очередь И. Аксакова, в сторону политического панславизма. И. Аксаков не замечал коренного изменения своих взглядов, в 1870—1880-е годы субъективно он был верен идеалам истинного славянофильства, но в действительности с середины 1870-х годов был, конечно, славянолюбом.

После ухода истинного славянофильства с арены идейной борьбы славянофильство-славянолюбие продолжало быть реальным, хотя и второстепенным, явлением русской общественной жизни. Оно было делом немногих, консервативно и реакционно настроенных представителей русской общественности, деятелей славянских обществ. Это славянофильство во многом утратило связь с русской действительностью и существовало благодаря поддержке и поощрению царского правительства, которое считало искусственно культивируемые славянские симпатии русского общества полезным инструментом внешней политики и в некоторых случаях им пользовалось. Славянофильство-славянолюбие было глубоко чуждо демократическим слоям русского общества с их подлинным участием к освободительной борьбе всех славянских народов.

Термин «славянофильство» стал общепринятым для обозначения тех явлений русской жизни последней трети XIX — начала XX в., которые связаны с разговорами о «славянском братстве», «славянской солидарности», о «единении» славян под эгидой самодержавия и пр. Именно в этом значении слово было употреблено В. И. Лениным в статье «Маевка революционного пролетариата» (1913). Говоря о боевых выступлениях питерских рабочих, В. И. Ленин сравнивал их с «патриотическими» манифестациями в Петербурге в марте — апреле 1913 г. по случаю годовщины сербско-болгарских побед над турками в первой Балканской войне. Он писал: «...перед полицией не горстка игрушечного, славянофильского дела людишек», в боевой строй «встали действительно *массы* трудящегося класса столицы»[58]. В. И. Ленин в данном контексте использовал термин «славянофильский» в том его значении, что возникло в русском языке в 1830-е годы и служило для обозначения неистовых ревнителей славянства, тех, кто «славянствует» во имя «азиелюбия» и «мраколюбия». Употребленный В. И. Лениным в 1913 г. термин обозначал живое явление русской действительности, он был, бесспорно, научно значимым,

но не имел и не мог иметь (хронологически, понятийно) отношения к истинному славянофильству. Наблюдение над словоупотреблением В. И. Ленина показывает важность четкого разграничения понятий, которые заключены в термине «славянофильство». Необходим тщательный семантический и конкретно-исторический анализ любого текста, в котором речь идет о «славянофильстве». Нет «славянофильства» вообще.

Что происходило с истинным славянофильством в тех случаях, когда его смешивали со славянофильством-славянолюбием? Как это происходило?

Один из ранних примеров авторитетного превращения истинных славянофилов исключительно в теоретиков славянского дела дает статья известного слависта О. Ф. Миллера «Славянский вопрос в науке и жизни» (1865). В ней утверждалось, что славянофилы — «литературные представители идеи славянства», которым «принадлежит у нас великая честь *зачина*» славянского дела. Речь шла об истинных славянофилах. Автор статьи сетовал на замкнутость их кружка, призывал их отказаться «от фанатического стояния за каждую иоту своего уже немного и устаревшего credo» во имя торжества идей славянства. Не вдаваясь в подробности, укажем, что «фанатическое стояние» и устарелость, которые порицал Миллер, были связаны с вопросами внутренней русской жизни и служили прямым опровержением его понимания истинного славянофильства. Миллер не просто сузил и исказил идеи истинных славянофилов, он — и в этом для нас интерес его статьи — поставил их у истоков славянофильства-славянолюбия. А. Хомяков, К. Аксаков, Ю. Самарин в его представлении оказались предтечами и теоретиками принципиально иного течения русской общественной мысли. Истинные славянофилы были лишены собственной истории, а их учение потеряло значение при решении вопросов русской жизни.

В 1870-е годы подмена понятий стала делом обычным. Ее не замечали ни люди, писавшие и говорившие о славянофильстве, ни их читатели и слушатели. В 1876 г. в статье, написанной после смерти Ю. Самарина, Миллер с удовлетворением отмечал, что славянофильство «перестало жить, как достояние особого, обособленного кружка». Оно «умерло для кружка, первоначально его подготовившего, чтобы продолжать жить для целого общества», оно «отжило, как догматический кодекс», «перестало быть *замкнутой школой,* чтобы подняться на степень *общеобразовательного начала*». Культурно-историческое значение воззрений А. Хомякова, Ю. Самарина, К. Аксакова оценивалось очень высоко, но «общеобразовательное начало», о котором говорилось в статье, было, без сомнения, славянофильством-славянолюбием, широко разлитым в определенных кругах русского общества в годы Восточного кризиса 1870-х годов[59].

В эти годы слова «славянофил», «славянофильский» употреблялись часто и повсеместно, их безоговорочно относили к деятелям (И. С. Аксаков, В. И. Ламанский, А. А. Киреев, А. И. Ва-

сильчиков, М. Г. Черняев и др.), связанным со славянскими обществами, к деятельности самих обществ. Вводился термин «новое славянофильство», который как бы указывал на отличие истинного («старого») славянофильства от охватившего часть русского общества славянолюбия.

Интересный пример смешения понятий находим у К. Д. Кавелина, который хорошо знал истинное славянофильство и несочувственно относился к славянолюбию 1870-х годов. В 1878 г. по поводу выхода в свет первого тома сочинений Ю. Самарина Кавелин написал статью «Московские славянофилы сороковых годов», где особо оговорил: «Славянофильство и славянофилы — названия, данные наскоро, случайно, по внешним признакам, и далеко не характеризуют того, что они были на самом деле». Со временем это высказывание Кавелина было принято исследователями, серьезно изучавшими истинное славянофильство. Кавелин отмечал: «О славянофильстве много говорится в обществе; оно, по поводу настоящей войны, снова у всех на устах и толкуется очень различно». Историческая судьба московских славянофилов, о которых большинство имеет «до сих пор крайне туманные, сбивчивые и противоречивые понятия», рисовалась Кавелину следующим образом: «С славянофильством случилось то же, что со всеми школами и учениями в мире. Противники, в жару полемики, делали за них выводы из их тезисов, приписывали им то, что они не говорили, осыпали их насмешками, и все это пошло ходить по белу свету под фирмою славянофильства. Плохую услугу оказали ему и ярые, неразумные последователи, которые толковали его вкривь и вкось, развивая во всевозможных направлениях заключающиеся в нем мысли и делая из них всевозможные применения. Эти enfants perdus et terribles славянофильства страшно исказили его и дали о нем совершенно ложное понятие». Кавелин, кажется, верно понимает истинное славянофильство как течение русской мысли, занятое русскими делами, отделяет его от славянолюбия — таковы смысл и содержание статьи. Вспоминая старые споры 1840-х годов, он особо подчеркивал: «В наше время самое название славянофилов и западников потеряло всякое значение и держится только по старой памяти». Но в другой заметке того же 1878 г. Кавелин писал, что «славянские комитеты попали в руки горсти славянофилов», и давал слову «славянофил» значение славянолюб, современный ревнитель славянских интересов. Он использовал и понятия «неославянофил», «неославянофильство», что должно было обозначать новое направление в решении славянского вопроса [60].

Другой вдумчивый наблюдатель, А. Д. Градовский, также называл деятелей петербургского славянского общества «новыми славянофилами», «неославянофилами», а смысл «народившегося в Петербурге неославянофильства» видел в том, «чтоб дать славянству то, что получила уже вся Европа, в чем она видит условие своего прогресса — свободу народности». Градовский, как и Кавелин, не сводил истинное славянофильство к славянолюбию.

В лекциях о первых славянофилах, которые он прочитал в 1873 г., Градовский ставил вопрос о названии направления и давал объяснение, противоположное кавелинскому: «Почему славянофилы названы этим именем? Кажется, потому же, почему противники их названы *западниками*. Оба этих названия имели свой очень определенный смысл в свое время. Славянофилы провозгласили право славян, т. е. племен или политически порабощенных другими расами, или духовно ими плененных, играть роль во всемирной цивилизации, т. е. они доказывали культурную годность начал, составляющих особенность славянского племени. Они сделали больше. Теория их доказывала не только годность, но *превосходство* культурных начал славянского мира над таковыми же началами мира романо-германского». Как видим, суть истинного славянофильства Градовский определял с позиций славянофильства-славянолюбия, а историю термина «славянофил» знал плохо [61].

Эволюция понятия «славянофил» в 1870—1890-е годы тесно связана с вопросом об эпигонах, «последователях» и «продолжателях» славянофильства. Сложный, малоразработанный в исторической науке, этот вопрос, по нашему мнению, в редких случаях имеет отношение к истории истинного славянофильства, к проблеме его пореформенного развития. Речь шла почти всегда о новой форме славянофильства-славянолюбия, хотя редкий автор обходился без упоминания имен А. Хомякова, Ю. Самарина, И. Аксакова, без выдержек из их сочинений, без ссылок на «предшественников — старых славянофилов». Особенно охотно цитировались стихи Хомякова «Прощание с Адрианополем» (1829), «Ода» (1830), «Орел» («Орел славянский», не позднее 1832 г.), «Киев» (1839). Цельность мировоззрения Хомякова бесспорна, но в 1830 г. он, конечно, славянофилом не был ни в каком смысле.

Люди, считавшие себя продолжателями дела Хомякова и И. Аксакова в славянском вопросе, принадлежали к консервативным и реакционным кругам русского общества, выступали с позиций панславизма и безоговорочно записывали в панслависты своих «предшественников». Для их суждений были характерны антиисторизм и крайняя тенденциозность, стремление связать высказывания истинных славянофилов с потребностями текущего момента. Настойчиво проводилась мысль о преемственной связи между Хомяковым, И. Аксаковым и реакционным панславизмом конца XIX — начала XX в. В 1907 г. некто А. Н. Штиглиц, деятель петербургского славянского общества, утверждал: «Умер И. Аксаков, но не умер гений, дух Ивана Сергеевича. Мы все, гордящиеся именем славянофилов, его духовные дети: он сеял семя, а мы взросли на этой почве» [62]. Подобное утверждение недоказуемо и прямо неверно даже относительно деятельности Аксакова в 1870—1880-е годы, но тем не менее оно и многие другие, ему подобные, оказывали заметное воздействие на эмоциональное восприятие слова «славянофил», на суждения современников, людей

начала XX в., и историков различных идейных направлений об истинном славянофильстве.

Серьезные и образованные представители славянофильства-славянолюбия видели, разумеется, отличие своей деятельности и взглядов от деятельности и взглядов истинного славянофильства, но редко на это указывали и еще реже делали терминологические оговорки. Два характерных примера. Один из руководителей петербургского славянского общества генерал А. А. Киреев был крупным теоретиком славянофильства-славянолюбия, неоднократно излагал «славянофильское учение». Под его пером оно сводилось к «славянофильской формуле»: «православие, самодержавие, народность». Было бы упрощением утверждать, что Киреев не понимал истинного славянофильства или сознательно его искажал. Нередко он тонко указывал на существенные отличия своих воззрений от представлений Хомякова, но объяснял эти отличия только изменившейся исторической обстановкой. Киреев искренне считал себя продолжателем дела Хомякова, которое он понимал (совершенно в духе О. Ф. Миллера) как начало славянолюбия в России и твердо именовал свои консервативные, панславистские убеждения «славянофильством».

В 1880-е годы создателем «нового славянофильства» выступил Н. П. Аксаков, дальний родственник семьи С. Т. Аксакова, историк, философ, экономист и богослов, человек образованный и незаурядный. Важнейшей стороной «нового славянофильства» он считал славянскую проблему и в 1888 г. на страницах консервативной газеты «Русский курьер» изложил проект создания «Славянского братства» в Москве. Н. П. Аксаков предлагал создать славянское историческое общество, собрать общеславянскую библиотеку, организовать курсы славянских языков, чтение публичных лекций о славянстве и пр. Все это он называл «славянофильством», сознательно отвергая термин «панславизм», который зародился «не в славянской голове». Для словоупотребления Н. П. Аксакова (а он получил блестящую гуманитарную подготовку и подчеркнуто стремился к точности даже в деталях) характерно, что «славянофильство», во-первых, живое, современное дело, не история, во-вторых, это славянолюбие. Отличие своего «нового славянофильства» от учения Хомякова Н. П. Аксаков видел в четком, сознательном проведении идеи всеобщего единения славян вокруг Москвы. В плане эволюции понятия интересен его конечный вывод: «Мы знаем, что выставленные нами принципы «Славянского братства» многие найдут не строго славянофильскими, усмотрят противоречие даже с учением первых славянофилов. Ну, что же? Пусть это будет «новое славянофильство». В действительности речь шла о «новом славянолюбии» [63].

Пожалуй, только однажды была сделана попытка внести терминологическую ясность, определить отношение безоговорочно употребляемого термина «славянофильство» (славянолюбие) к истинному славянофильству. Сделал это Н. Н. Страхов. О современном ему славянофильстве-славянолюбии он неоригинально

писал, что оно «совершается в славянофильском направлении, в духе Хомякова, Киреевского, Аксаковых, Самариных». Суждения Страхова не отличались здесь от высказываний Миллера или Киреева. В предисловии к книге Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (1888) Страхов судил точнее: «С появлением «России и Европы» мы должны расширить и обобщить смысл давно употребляемого термина *славянофильство.* Оказалось, что есть славянофильское учение, вовсе не похожее на то, что мы привыкли называть этим именем». Суть теории Данилевского Страхов видел в попытке *«объяснить положение славянского мира в истории»* и совершенно естественно стремился «расширить и обобщить» смысл термина «славянофильство», верно понимая его применительно к Данилевскому как славянолюбие. Стремление Страхова семантически отделить славянофильство «в тесном, литературно-историческом смысле этого слова» (истинное славянофильство) от славянофильства «в отвлеченном, общем, идеальном смысле» (славянолюбие) было правильным, но критик в значительной степени обесценил его, «включив» истинное славянофильство в «данилевщину»[64]. При таком понимании истинного славянофильства указывать на двойное значение термина было, по-видимому, необязательно.

В последней трети XIX — начале XX в. термин «славянофильство» употреблялся для обозначения широкого спектра славянских сочувствий. В таком значении он встречался на страницах периодической печати, в литературе, посвященной политическим, культурным, научным аспектам славянского вопроса, в обиходной речи. Для обозначения славянолюбия термин «славянофильство» был уместен и точен, но его безоговорочное использование приводило к путанице понятий, к искажению исторической перспективы в восприятии истинного славянофильства. По мере того как память об истинных славянофилах становилась все слабее, ей на смену приходили впечатления о славянолюбах рубежа двух столетий. Слово «славянофилы» ассоциировалось как с первыми, так и со вторыми и создавало общий эмоциональный фон для их восприятия.

В конце XIX в. Е. А. Лебедева в популярной книге о Хомякове, изданной петербургским славянским обществом, особо разбирала вопрос о том, «какое собственно соотношение между этим прозванием (славянофильство.— *Н. Ц.*) и сущностью мировоззрения Хомякова?» Вывод автора верен: «При том, как теперь понимается слово «славянофил», надо сознаться, что имя совсем не соответствует предмету... Из ознакомления с сочинениями Хомякова оказывается, что славянскому вопросу у него посвящена сравнительно очень малая их часть». И далее следует в высшей степени важное наблюдение: «...понимание слова «славянофил» у нас уже утратилось, теперь это слово дает нам только представление об известной сопричастности к славянскому вопросу, а между тем как обозначение известной школы оно осталось, и вот от этого происходит крайняя путаница понятий». «Кого только и

чего не отождествляют у нас с «славянофилами»,— сетовала Е. А. Лебедева. Действительно, «славянофилов по словопроизводству» было немало. Их обилие позволяет говорить о своеобразной «игре в славянофилов», когда утрата четкого представления об истинном славянофильстве давала возможность использовать сохранившиеся в общественном сознании воспоминания о личном благородстве истинных славянофилов для поднятия репутации разного рода «новых славянофилов». Игра «в славянофилов» была сродни игре «в индейцев», и, вспоминая Аксаковых, В. П. Мещерский не случайно обмолвился: «Слово *славянофил* означает для русского люда что-то вроде какого-нибудь вымершего где-то в Америке индейского племени» [65].

Последнее, о чем следует упомянуть, прослеживая смешение истинного славянофильства и славянофильства-славянолюбия,— это употребление термина «славянофильский» применительно к истории славистики. Не только в 1840-е годы, но и позднее многих ученых-славистов именовали славянофилами, их взгляды, труды — славянофильскими. Со временем возникло «славянофильское направление» в славистике. Возражать против названия, которое прочно вошло в научный обиход, бесполезно, но при его употреблении следует помнить, что «славянофильская школа» в изучении славянской филологии, литературы и истории — условный термин, что «славянофильское направление» в славянских исследованиях не имеет отношения к истинному славянофильству, а его название восходит к славянофильству-славянолюбию. И конечно, следует с предельной осторожностью именовать ученых «славянофильского направления» славянофилами [66].

Отметим, что при причислении тех или иных славистов к «славянофильской школе» постоянно господствовали крайний субъективизм, отсутствие четко выработанных или хотя бы названных критериев. В сущности, предельная формула «славянофильского направления» была предложена Н. Н. Страховым: «Изучающий славянство естественно бывает славянским патриотом, а славянский патриот неизбежно становится славянофилом в известном значении этого слова». В некоторых работах по славянской историографии и существенная оговорка Страхова — «в известном значении этого слова» — была забыта. Ясно, казалось бы, что ученым «славянофильского направления» не обязательно был истинный славянофил, но до настоящего времени на основании принадлежности к «славянофильской школе» к истинным славянофилам относят Е. П. Новикова (первым это сделал А. Н. Пыпин, включив его в один ряд с Хомяковым и К. Аксаковым), О. Ф. Миллера, В. В. Макушева, В. А. Бильбасова, А. С. Будиловича и других, менее видных ученых, которые в действительности к истинному славянофильству отношения не имели. Явная, далеко не безобидная терминологическая путаница мешает пониманию эволюции истинного славянофильства, его серьезному изучению.

Крупные русские ученые-слависты XIX в. А. Ф. Гильфердинг и В. И. Ламанский были истинными славянофилами, разделяли

общие воззрения Хомякова и И. Аксакова, и в определенной мере эти воззрения повлияли на их понимание задач славистики. Например, В. И. Ламанский общественную роль славистики рисовал в духе публицистики аксаковского «Дня»: «Изучение славянского мира и пробуждение в русском обществе славянского самосознания укрепят и соберут разметавшуюся русскую мысль и дряблую волю, сосредоточат наше рассеянное общественное сознание». Но было бы серьезной ошибкой считать истинными славянофилами учеников и последователей Гильфердинга и Ламанского, даже тех из них, на кого воздействие трудов учителей было наиболее глубоким и плодотворным. Еще меньше оснований причислять к истинным славянофилам исследователей, которые обращались к отдельным научным идеям П. В. Киреевского, К. С. Аксакова, П. А. Безсонова, В. А. Елагина. Смешивать научные взгляды и общественно-политические убеждения — ошибка непростительная [67].

8

На рубеже XIX—XX вв. слова «славянофильство» и «славянофил» приобрели в русской публицистике еще один оттенок значения. Для определенной части русской прессы они стали служить облагороженными синонимами таких понятий, как национализм, великодержавный шовинизм, дворянская реакция, русификаторство. Такое понимание «славянофильства» было сложным образом связано как со славянофильством-славянолюбием, так и с истолкованием идейного наследия истинных славянофилов. В значительной степени это вопрос историографический, его уместно рассматривать в связи с пониманием истинного славянофильства как формы «национального самопознания» и «национального сознания», как первой попытки создания «национальной теории», в связи с различными, от негативных до восторженных, оценками этой стороны воззрений Хомякова и И. Аксакова. Представление о «славянофильстве» как синониме национализма нашло отражение в историко-публицистических спорах конца XIX в. о том, «живо» ли славянофильство или оно «умерло», возможно ли его «воскрешение» и что именно следует «воскресить», что составляет современный интерес. Касаться здесь существа этих споров нет необходимости. В пределах настоящего раздела полезно рассмотреть случаи, когда слова «славянофил», «славянофильский», «славянофильство» служили для обозначения понятий и явлений, заведомо не имевших отношения ни к истинному славянофильству, ни к его историографическому осмыслению.

Конечно, далеко не всегда просто отличить толкование истинного славянофильства как разновидности национализма (что не имеет отношения к семантике слова «славянофильство») от неверного употребления самого слова, точнее, от придания ему нового значения, но в некоторых случаях сделать это легко и всегда необходимо.

В 1873 г. А. Н. Пыпин заметил, что «число приверженцев славянофильства в последнее время увеличилось, если судить по фактам литературы». Объяснение этому «размножению славянофильства» ученый видел в следующем: «К славянофильству примкнули новые школы, которые также заговорили о «народных началах», «почве» и т. п. и, не имея ни таланта, ни горячего убеждения первых начинателей учения, распространяли только пустые фразы на тему народности и более или менее явный обскурантизм. Славянофильская публика стала увеличиваться рядами той публики, патриотизм которой в прежнее время называли квасным, которая, не вдаваясь в особые размышления, довольствовалась шумливыми и хвастливыми фразами о народности, грозилась Европе, приходила в восторг от посещения братьев-славян, собиралась делить будущее с друзьями-американцами, поставляет в последние годы контингент «обрусителей» и т. д.».

Точка зрения Пыпина, что в этих «неблагополучных союзах» повинны «самонадеянные односторонности славянофильства, которые, к сожалению, принадлежат к самой сущности школы», может быть оспорена, но в данном случае имеет значение другое: Пыпин указал на «квасной патриотизм» части «славянофильской публики», связал славянофильство с национализмом и явным обскурантизмом. В какой степени наблюдение Пыпина ценно для истории истинного славянофильства, здесь вопрос второстепенный, важно, что им подмечен реальный факт русской общественной жизни.

Появление книги Пыпина вызвало интересную реплику Э. А. Дмитриева-Мамонова, которая сыграла важную роль в споре об исторической судьбе истинного славянофильства. Подробно статья Дмитриева-Мамонова будет рассмотрена ниже, здесь же мы ограничимся той ее частью, где автор, соглашаясь с Пыпиным, писал о превращении «*свободнейшего* направления в патриотически благонамеренную доктрину». По его мнению, «живое славянофильство исчезло, оно сделалось пошленьким, формальным, худосочным катехизисом клерикально-полицейских сентенций». Суть учения новейших славянофилов Дмитриев-Мамонов видел в национализме, в стремлении «все и всех русить» и в проповеди казенного православия, «полицейской веры». Эти начала он, в отличие от Пыпина, считал несовместимыми с «главнейшими славянофильскими преданиями» Киреевских, Хомякова, К. Аксакова [68].

О чем писали Пыпин и Дмитриев-Мамонов? Ответ, по-видимому, однозначен: они писали о явлении русской жизни, которое охотно принимает прозвище «славянофильство» и главными характерными чертами которого следует считать национализм и обскурантизм. Обращение к периодике 1870-х годов безошибочно позволяет отыскать «катехизис клерикально-полицейских сентенций» на страницах катковских «Московских ведомостей» и «Русского вестника». Обращения к «истинно русским людям», призывы к «русскому патриотизму», ссылки на «национальные за-

дачи» и «национальные интересы», столь характерные для изданий Каткова со времени польского восстания 1863 г., в 1870-е годы все чаще перемежались указаниями на «самобытность» России, на «русский дух», на «исконно русские начала». «Московские ведомости» критиковали истинных славянофилов, но перенимали славянофильскую терминологию, разделяли идеи славянофильства-славянолюбия, а свой национализм предпочитали именовать «воплощением славянофильских устремлений». Очень наглядно это проявилось в годы русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и после нее. Называть национализм «славянофильством» было нетрудно и безопасно: истинное славянофильство сошло с арены общественной жизни, И. Аксаков сам стоял на позициях национализма, считая их «славянофильскими», а либеральный Кошелев к репутации славянофильства относился равнодушно, хотя и был враждебен катковским изданиям. «Восставать против Каткова, высказывать зловредство его направления и статей есть, по-моему, гражданский долг каждого из нас»,— писал он в апреле 1880 г. И. Аксакову.

Попытку разъяснить невозможность называть национализм «славянофильством» предпринял О. Ф. Миллер. Его статья «Основы учения первоначальных славянофилов» была как бы программной статьей нового журнала «Русская мысль» (1880). Миллер словно забыл свою формулу 1865 г.: «славянофилы — литературные представители идеи славянства», он брался раскрыть основы учения первоначальных славянофилов, понятия о которых «как были вначале, так и остаются у нас до сих пор в высшей степени сбивчивыми и неточными». Смысл статьи — обличение «продолжателей» славянофильства, которых Миллер видел не среди славянолюбов, а в среде «теперешних националов», чьи идеи он возводил к Карамзину. Суждения автора интересны: «У славянофилов сказывались известные точки соприкосновения с Карамзиным — главным образом во взгляде на Петра Великого. Но исходные точки были совершенно различны. Карамзин подходил к тому, что называется теперь *националом,* славянофилы же были в сущности гуманисты — не в древнеклассическом, а в христианском смысле этого слова... Славянофилы стремились, безусловно, провести христианство всюду — и в общественные, и в международные отношения. Потому-то и не признавали они ни в каком виде ни крепостного права, ни вообще права сильного. Наши теперешние «националы» (из мечтающих о повторении Рима в России), если им непременно угодно связывать себя со славянофильством, на которое в сущности они поглядывают очень свысока, могут называться *ново-славянофилами* только в смысле *лже-славянофилов.* Они скорее *ново-карамзинисты* a la Bismark»[69].

Точка зрения О. Ф. Миллера на «лже-славянофилов», сторонников имперской России была ученым протестом либерала против катковского национализма, выступлением в защиту гуманизма. Его статья сыграла заметную роль в понимании «учения первона-

чальных славянофилов», но подмена национализма «славянофильством» не прекратилась, и производили ее не одни катковские издания.

Последовательное отождествление двух этих понятий мы находим в работах В. С. Соловьева. Ему принадлежит формула: «Славянофильство есть только систематическая форма нашего национализма, и вся сущность его состоит именно только в утверждении непременной удачи нашего национального дела». Такой взгляд на истинное славянофильство не был нов (кроме «непременной удачи»), но для словоупотребления В. С. Соловьева в высшей степени характерно, что он постоянно использовал как синонимы слова «национальный» и «славянофильский», «национализм» и «славянофильство». Для Соловьева «славянофильство» не только «форма национализма», оно тождественно национализму и отличается от «брюшного патриотизма» тем, что включает в себя идеи мессианизма и славянского единения. Соловьевская критика национализма — это критика славянофильства, и наоборот. Разные слова служат для обозначения *одного* понятия.

Несомненно, под впечатлением от только что вышедших «Записок» А. И. Кошелева В. С. Соловьев писал: «Нельзя считать простою случайностью, что национальное направление в нашей литературе и общественной жизни получило название не *русского* или *руссофильского,* даже не *восточного,* а *славянофильского.* Напрасно некоторые писатели этого направления протестовали против такого названия и предлагали другие: всемирно-исторические задачи России теснейшим образом связаны с славянством, и русское направление *должно* быть славянофильским». Строгий критик В. С. Соловьева Киреев с такого рода суждениями был, конечно, согласен.

Назвав Каткова «Немезидой славянофильства», Соловьев сделал ему комплимент (Катков не принадлежал к младшим богам славянофильства) и подтвердил свой взгляд на национализм-славянофильство. В сущности, он развил мысль своего друга Н. Н. Страхова, который еще в 1864 г. в журнале «Эпоха» воскликнул: «славянофилы победили», имея в виду не столько аксаковский «День», сколько «Русский вестник» и «Московские ведомости» [70].

В. С. Соловьев имел репутацию «продолжателя славянофильства», его критика национализма-славянофильства понималась как проявление «двойственности» славянофильства, смешения в нем «левых» и «правых» элементов. Об этом много писали в 1890-е годы, но тогдашнее «воскрешение славянофильства» — проблема историографическая. Для истории слова «славянофильство» достаточно привести отдельные высказывания. С. Н. Трубецкой в 1893 г. писал: «В своих страстных, не всегда справедливых нападках на почтенных родоначальников славянофильства, Вл. Соловьев верно указал на факт, обидный сам по себе для этих столь почтенных идеалистов,— на несомненную филиацию, существующую между их учением и безнравственными воззрениями нынеш-

него газетного славянофильства, перекувырнувшегося реакционного нигилизма нашей прессы». Упомянутое Трубецким «газетное славянофильство» — катковский национализм, продолженный С. А. Петровским, В. А. Грингмутом, Л. А. Тихомировым («перекувырнувшийся нигилист»), публицистами «Русского обозрения». Н. П. Аксаков это же явление назвал «ручным, бюрократическим славянофильством». Много проще Трубецкого писал либеральный автор компилятивной биографии семьи Аксаковых: «Что такое национализм? Это именно одна, *правая,* сторона славянофильства». С консервативных позиций понимание славянофильства-национализма было дано в биографии Хомякова: «...всякий истинно русский человек, т. е. ощущающий в себе духовное родство и единство со всею Россиею в ее народе и истории, сознательно или бессознательно, а принадлежит к одной школе с Хомяковым, поэтому школа эта и не есть школа, это — слово о себе русского самосознания, это сама Русь в своих лучших и истинных сынах, и странно, если кто думает, что «славянофильство» разлагается или разложилось,— оно разложится только вместе с разложением России и русского народа, разложится, когда утратится в них самосознание»[71].

В 1901 г. попытку О. Ф. Миллера показать ошибочность подмены понятий «национализм» и «славянофильство» повторил П. Б. Струве. В статье «В чем же истинный национализм?», посвященной памяти Вл. Соловьева, он доказывал, что опыт последних 20—25 лет «убил славянофильство. Да, оно убито!» В современной ему действительности Струве не видел условий для развития идей Хомякова и И. Киреевского, а для обозначения национализма предлагал новый глагол «славянофилить»: «Славянофилит «Новое время», славянофилят даже «Московские ведомости», на разные голоса славянофилит «Русское собрание», но славянофильства и славянофилов нет». Сказано категорично, но ожидаемой терминологической ясности глагол «славянофилить» не принес.

В 1902 г. в очередной раз был отмечен факт «оживления славянофильства». Сделал это автор раздела «Критические заметки» либерального журнала «Мир божий» А. И. Богданович. Он писал о сборниках «Заря» и «Москва», о «совершенно неизвестных» публицистах, которые «осмеливаются считать себя наследниками» И. С. Аксакова и называют себя «славянофилами». Богданович недоумевал: «Мы думали, что славянофильство теперь есть мертвый исторический термин, обозначающий давно отжившее историческое явление». Разобрав высказывания «современных славянофилов», критик подчеркнул, что о системе взглядов говорить невозможно. Смысл «славянофильской свистопляски» Богданович увидел в защите дворянских интересов, национализме, русификаторстве и юдофобстве. Поскольку С. Ф. Шарапов (публицист в те годы достаточно известный) и его единомышленники (Славянобор, Апокриф, Русский) настойчиво указывали на свое «славянофильство», то Богданович счел нужным отметить: «То, что

теперь именуется этим историческим термином, есть грубая подделка, по существу заключающая в себе самый наивный шовинизм, с одной стороны, с другой — преследование узкосословных интересов, преимущественно дворянских»[72].

Богданович дал точное терминологическое определение новому значению слова «славянофильство». Такое толкование «исторического термина» было присуще консервативной и реакционной части русского общества, идеологам крайне националистической реакции конца XIX — начала XX в. Подмена понятий не только «облагораживала» национализм, но и вела к искажению истории русского общественного развития, к фальсификации, осознанной и неосознанной, истинного славянофильства.

Именуя себя «славянофилами», националисты начала XX в. претендовали быть «продолжателями» Хомякова и И. Аксакова, в их представлении — безукоризненных рыцарей дворянства, ревностных монархистов ненавистной «эпохи реформ». В либеральной общественной среде об истинных славянофилах судили, как правило, понаслышке, видели в них прямых предшественников реакционеров начала XX в. Слово «славянофильство» стало самоопределением и определением дворянской монархической реакции. Пытаясь спасти либеральную репутацию Ю. Самарина, О. Н. Трубецкая, внешне парадоксально, но в точном соответствии с новым смысловым значением слова, доказывала его «неславянофильство», его непричастность к безусловному отстаиванию самодержавия: «Ю. Ф. Самарину, несмотря на приписываемые ему так называемые славянофильские убеждения, не была присуща мысль, что какая-либо общественная или государственная форма, имеющая себе в данное время оправдание, должна рассматриваться как форма вековечная...»

Однако гораздо чаще истинных славянофилов и терминологически, и по существу смешивали со «славянофилами»-националистами. В 1907 г. «славянофил» Д. П. Райский оценивал деятельность И. Аксакова под впечатлением «эксцессов революции» и с консервативных позиций критиковал российскую бюрократию за то, что она не вняла словам Аксакова об оскудении русского государственного механизма. Райский недвусмысленно писал: «Если бы вовремя прислушались к голосу славянофилов, то в нашей истории не было бы кровавой революции 1905 г.» Ссылки на истинных славянофилов, выразителей «исконных начал» русского народа, предсказавших неизбежную борьбу русского духа с духом тевтонским, часто встречаются в публицистике, вызванной шовинистическим подъемом в годы первой мировой войны. В этом отношении показательна книга известного философа-идеалиста Вл. Эрна под характерным названием «Время славянофильствует» (1915). Вл. Эрн соединил славянофильство-славянолюбие и славянофильство-национализм, он писал о мировых задачах «славянофильства» и изобрел еще один глагол «славянофильствовать», но для осмысления истинного славянофильства его книга не дает ровно ничего[73].

Националисты начала XX в. могут быть названы «славянофилами» только в том смысле слова, что определен формулой Богдановича. К истинным славянофилам никакого отношения они не имели. Следует, однако, подчеркнуть, что семантическая неопределенность термина «славянофильство» (вывод Богдановича не был поддержан русской прессой) в очередной раз оказала воздействие на представления русской общественности об истинном славянофильстве, а отчасти и на его историографическое осмысление. Когда М. Д. Чадов писал первую специальную работу о политическом учении славянофильства «в прошлом и настоящем», он понимал славянофильство безбрежно широко, считал славянофилами дворян-реакционеров начала XX в. Когда Ф. Степун прослеживал связь немецкого романтизма и русского славянофильства, он приходил к выводам, которые могут иметь смысл только при учете многозначности слова «славянофильство» и семантической путаницы начала XX в.: «Наши славянофилы начали с безусловного прославления европейской культуры и немецкой философии, а кончили глубоко нефилософской и антикультурной ненавистью по отношению ко всему немецкому и всему европейскому; начали долгий свой путь с философских вершин немецкого идеализма, а кончили его в политических трясинах в духе французской эпохи Реставрации. От Шеллинга они перешли к Жозефу де Местру, от Петра Великого — к Ивану Грозному». С. С. Ольденбург, охарактеризовав реакционера Льва Тихомирова как «консерватора-славянофила», внес, не думая об этом, необходимое конкретно-историческое пояснение в суждении Ф. Степуна о «славянофилах», утонувших в «политических трясинах». Термин «славянофил» Ольденбург и Степун понимали одинаково[74].

Много сделал для дискредитации слова «славянофил» в русском общественном сознании М. О. Гершензон. Плодовитый автор, талантливый литератор («...он хороший повествователь»,— сказал Г. В. Плеханов), создатель теории «медленного чтения», Гершензон не был чуток к слову. Слово «славянофил» он безоговорочно употреблял в разных контекстах, придавал ему различные значения, использовал при характеристике разных периодов русской истории, очень разных мыслителей и общественных деятелей. Его авторитет знатока истории русской общественной мысли как бы канонизировал внеисторическое и семантически неряшливое употребление термина. Гершензон много писал о «славянофилах», «славянофильство» было важнейшим элементом созданной им «веховской» концепции русского общественного движения. Его оценки редко имеют отношение к истинному славянофильству, но для нас они важны как пример эволюции общественно-политического понятия. К славянофильству-национализму восходит следующее определение Гершензона: «В глазах нашей либеральной интеллигенции, от Белинского до наших дней, славянофильство характеризуется двумя чертами: фанатической приверженностью к православию и узким консерватизмом политическим». Такое толкование «славянофильства» (Гершензон напрасно приписывал

его «либеральной интеллигенции») делало возможным вывод, который Гершензон счел уместным, без всяких доказательств, связать с «мнениями» И. В. Киреевского: «Эти его мнения сыграли огромную пагубную роль, не только тем, что из них выросла вся реакционная политическая идеология, на которую русская власть и известная часть общества доныне опираются в своей борьбе против свободы и просвещения народного, но и потому, что они заслонили в общем сознании подлинную истину, из которой они будто бы были выведены». Гершензон, несомненно, понимал «славянофильство» как национализм, но в данном случае объяснять грубое искажение взглядов И. Киреевского одной семантической путаницей нельзя.

Вывод Гершензона повторил Г. В. Плеханов, который об истинном славянофильстве судил из вторых рук и смешивал его со славянофильством-национализмом: «Г-н Гершензон ошибается только в одном: вопреки ему неверные мнения И. В. Киреевского на самом деле не заслонили в общем сознании никакой подлинной истины по той простой причине, что ее не было. Но то правда, что из мнений И. В. Киреевского, как и вообще из мнений славянофильской школы, выросла вся та реакционная политическая идеология, на которую доныне опираются наши враги народной свободы и народного просвещения» [75]. Г. В. Плеханов прав только в том случае, если под «славянофильской школой» понимать В. А. Грингмута и Льва Тихомирова.

Одиозный смысл, который слово «славянофильство» приобрело в начале XX в., создавал определенные трудности не только при исследовании истинного славянофильства, но и при самом обращении к теме. Новые значения слова воздействовали на восприятие исторических фактов, и не случайно П. А. Флоренский в 1916 г. заметил, что трудные для изучения воззрения Хомякова получили «мало подходящую и уродливую кличку «славянофильства» [76].

9

В 1969 г. В. В. Кожинов, отметив, что слово «славянофильство» имеет «не очень определенный, и в сущности, случайный характер», предложил славянофильство «в узком смысле» отличать от славянофильства «в широком смысле». Исследователь считал славянофильство «в широком смысле» некоей «общей идеей самобытности» и видел в нем «чрезвычайно широкую и исключительно разнородную тенденцию в развитии русской общественной мысли», начало которой восходит к XI в., к «Слову о законе и благодати» Илариона, первого митрополита из русских. Кожинов не был оригинален, задолго до него Н. П. Аксаков писал, что «в том или другом виде» славянофильство всегда существовало, и «каждое почти столетие русской жизни имело всегда своих славянофилов». Хронологические рамки у Н. П. Аксакова шире: «Может быть, от напора славянофилов своего времени и Олег

покинул Новгород». Дело, конечно, не в хронологии и не в парадоксальном освещении ранней русской истории, а в понимании терминов «славянофил», «славянофильство».

С. С. Дмитриев, оговорив свое согласие с Кожиновым о существовании двух значений слова «славянофильство», критически отозвался о точке зрения, когда «под славянофильством нередко понимают весьма разнородные, зачастую ничего общего между собой не имеющие проявления русской общественной мысли, которым в той или иной мере присуще было признание самобытности России, признание своеобразия культурно-исторического пути общественного развития». По его мнению, при таком подходе славянофильство и западничество, остаются «чисто условными, спекулятивными понятиями, начисто лишенными и временной (хронологической) и реальной социально-идейной исторической конкретности».

Как условное понятие, укоренившееся в исторических и историко-литературных работах с начала XX в. (достаточно назвать имена Г. В. Плеханова, П. Н. Милюкова, Д. Н. Овсянико-Куликовского, Н. А. Бердяева, в некоторой степени В. О. Ключевского, работы современных зарубежных исследователей русской истории), «славянофильство» служит для обозначения самых разных явлений русской политической и общественной жизни в хронологическом интервале от IX до XX в. Научной цены такое понятие не имеет, оно — фантом. Его происхождение и бытование (а это, по-видимому, еще один оттенок значения слова «славянофильство») для нашей темы интереса не представляют. Смешивать такого рода «славянофильство» с истинным славянофильством нельзя, допускать подобное смешение (такое, к сожалению, встречается) — значит, становиться на позиции, далекие от исторической науки.

На наш взгляд, требует уточнения другой вывод С. С. Дмитриева: «Понятно, что, оставаясь на почве научной истории русской литературы и культуры вообще, лишь первое значение славянофильства следует считать подлинным, научно-полноценным»[77]. «Первое» значение, о котором пишет исследователь,— славянофильство «в узком смысле», течение русской общественной мысли 1840—1850-х годов, учение Хомякова и И. Киреевского.

Исследование истории слов «славянофил» и «славянофильство», их семантической эволюции позволяет выделить не одно, а несколько (не менее четырех) подлинных, научно-полноценных значений, каждое из которых служило для определения *реального* явления общественно-литературной жизни России XIX — начала XX в. «Славянофильство» — многозначный научный термин. Его не следует ограничивать названием общественно-культурного явления середины прошлого века, которое связано с именами Ивана и Петра Киреевских, Алексея Хомякова, Константина и Ивана Аксаковых, Юрия Самарина. Скажем больше, подобное ограничение, невнимание к другим значениям слова, их забвение или игнорирование серьезно осложняют изучение истинного сла-

вянофильства. XIX век знал не одних московских славянофилов, но и славянофилов-шишковистов, славянофилов-славянолюбов. Долгое время бытовало понимание славянофильства как национализма, а имя славянофилов принимали представители крайней националистической реакции. Без учета многозначности слов «славянофил», «славянофильство», без внимания к их семантике возможны как неправильное прочтение исторических источников, так и ошибочная — мы стремились показать это на конкретных примерах — оценка отдельных проявлений и общего смысла истинного славянофильства. Выделение разных значений слов «славянофил», «славянофильский», «славянофильство», определение времени и среды их бытования, краткая характеристика тех явлений общественной и культурной жизни, которые ими обозначались,— необходимая и важная предпосылка изучения того направления русской мысли XIX в., которое в дальнейшем изложении мы без оговорок будем именовать славянофильством.

Глава вторая

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

1

Славянофильство и славянофилы — давняя тема исторических, историко-литературных и историко-философских исследований. Идейное наследие славянофилов всегда привлекало внимание русской общественности, вызывало острые споры. Более ста лет оно служит предметом серьезного научного анализа. С годами и десятилетиями не ослабевает интерес ученых к этому явлению русской общественной мысли XIX в. Расширяется тематика исследований, выявляются и вводятся в научный оборот забытые факты, неизвестные прежде архивные материалы, углубляется понимание отдельных сторон сложной проблемы истории русской мысли. За последние годы заметно увеличилось число специальных исследований, посвященных славянофильству, вырос их общий научный уровень. В 1983 г. Е. А. Дудзинская сочла возможным отметить, что «обзор литературы, вышедшей в последнее десятилетие, позволяет говорить о новом этапе в исследовании славянофильства» [1].

Сейчас вряд ли возможно появление работы о славянофилах, автор которой разделял бы скептическое мнение В. О. Ключевского, высказанное в начале века: «Славянофильство — история двух-трех гостиных в Москве и двух-[трех] дел в московской полиции» [2]. Недооценка славянофильства, нигилистическое желание умалить его значение в истории русской общественной мысли ушли, надо надеяться, в прошлое.

Разносторонне одаренные люди, славянофилы внесли заметный вклад в развитие русской политической, философской, исторической, экономической мысли. Их литературное наследие включает стихи, поэмы, драматические произведения, труды по фольклористике, языкознанию, этике, литературной теории и критике. Современный исследователь славянофильства К. Н. Ломунов справедливо писал, что плодотворное изучение этой многозначной научной проблемы возможно при участии представителей «едва ли не всего цикла гуманитарных наук». В последние годы советскими учеными наиболее полно изучалось «литературное славянофильство»: литературные и эстетические воззрения славянофилов, их художественное творчество. В работах историков преимущественно

исследовалась общественная позиция славянофилов в эпоху падения крепостного права. Нельзя не согласиться с выводом К. Н. Ломунова, что «комплексное изучение проблемы славянофильства пока еще дело будущего»[3].

Недавние работы о «литературном славянофильстве», разноречивые суждения исследователей о других аспектах идейного наследия славянофилов выявили настоятельную необходимость уяснения некоторых общих вопросов истории славянофильства. От правильного решения этих вопросов зависит успех дальнейших конкретных исследований. К ключевым проблемам изучения славянофильства следует отнести:

— определение четких хронологических рамок существования славянофильства как живого, развивающегося направления общественной мысли;

— уточнение внутренней периодизации истории славянофильства, характеристику его отдельных этапов, что должно служить пониманию идейной эволюции славянофильства;

— выявление социальной природы славянофильства, т. е. в конечном счете его основного содержания и исторического смысла.

Над решением этих задач плодотворно работали ученые нескольких поколений. Их труды сделали возможным наше обращение к сложным проблемам изучения славянофильства.

2

В исторической литературе были высказаны разные суждения о времени возникновения славянофильства. В 1900 г. П. Н. Милюков писал о «подготовительном периоде в истории славянофильства», начало которого он относил к первой половине 1820-х годов, а завершение — к середине 1840-х. Мнение Милюкова было уточнено В. З. Завитневичем, который указал на важность событий 1845 г., когда произошел разрыв западников и славянофилов: «Факт прощания К. С. Аксакова с Т. Н. Грановским следует признать моментом, когда окончился подготовительный период в истории славянофильства и когда основные его идеи, прежде не совсем ясно сознаваемые, перешли в акт воли и стали заявлять себя практически. Этот момент следует признать действительным началом истинного славянофильства»[4].

В работах советских ученых временем зарождения славянофильства давно и справедливо считается зима 1838/39 г., когда в литературных салонах Москвы произошел обмен посланиями между А. С. Хомяковым («О старом и новом») и И. В. Киреевским («В ответ А. С. Хомякову»). Впервые эта точка зрения была выдвинута и обоснована С. С. Дмитриевым. В 1941 г. он писал: «Исходной датой становления славянофильства как направления, а вместе с тем и образования кружка славянофилов следует считать 1839 год. Ранее этой даты нет оснований говорить о славянофильстве: его еще не было как системы определенных взглядов». Принципиальное значение имел вывод С. С. Дмит-

риева: «Славянофильство как направление общественной мысли порождено было определенным историческим этапом в развитии русской общественной мысли, именно двумя последними десятилетиями перед отменой крепостного права в России». В позднейших исследованиях по истории славянофильства предложенная С. С. Дмитриевым исходная дата стала общепринятой[5]. (Еще раз отметим, что встречающиеся поныне поиски корней славянофильства во времени киевского митрополита Илариона или в эпохе «обрития бород» Петром I научно неплодотворны.)

Период становления славянофильства С. С. Дмитриев ограничил 1845 г., когда были изданы три славянофильские книжки «Москвитянина» и направление «окончательно сложилось». «Конечно, и далее, после 1845 г., концепция развивается, изменяется, но именно к середине 40-х годов ее можно считать вполне сложившейся, готовой». Здесь, как видим, в определенной степени воспроизведен взгляд В. З. Завитневича.

Действительно, 1845 г. был заметной вехой в истории славянофильства. Наряду с изданием И. В. Киреевским «Москвитянина» тогда же были выпущены подготовленные Д. А. Валуевым «Синбирский сборник» и «Сборник исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных». В предисловии к последнему Валуев впервые печатно изложил основы историко-философской концепции славянофильства. К 1845 г. определился состав славянофильского кружка, уяснились взаимные отношения славянофилов и западников.

Вместе с тем в 1845 г. не происходит заметных, принципиальных изменений в славянофильском учении. Неоднократно описанные в литературе споры между «нашими» и «не-нашими» вовсе не означали окончательного разрыва между славянофилами и западниками, и нет оснований, вслед за Завитневичем, полагать, что «с этого момента всякий компромисс между двумя партиями сделался невозможен». Буржуазные историки склонны были преувеличивать глубину разногласий западников и славянофилов, видеть в их спорах основное содержание русской идейной жизни 1840-х годов. В действительности дело обстояло иначе. В разгар споров 1844—1845 гг. западники и славянофилы разделяли общие принципы раннего российского либерализма, сохраняли не только идейную, но и дружескую близость.

Несколько примеров. Магистерская диссертация Т. Н. Грановского «Волин, Иомсбург и Винета», которая вызвала в университете ожесточенные споры, была напечатана в валуевском «Сборнике исторических и статистических сведений...». В «Синбирском сборнике» Валуев поместил свое исследование о местничестве. В. Г. Белинский назвал эти работы в числе «замечательных книг по части критического исследования фактов русской истории». Непримиримый противник «петербургского направления» К. С. Аксаков в декабре 1845 г. писал брату Ивану: «Грановский прислал мне билет на свои публичные лекции с запиской, в которой выражается сомнение, пойду ли я на его лекции; я ве-

лел отвечать, что странно мне такое сомнение... Говорят, что против Грановского партия, тем более должен я пойти к нему на лекции, чтоб доказать, с своей стороны, по крайней мере, вздор подобных толков». Мысль о близости западников и славянофилов, о единстве их целей удачно выражена в воспоминаниях П. В. Анненкова: «Таким образом, обе литературные партии в описываемое время [1843] стояли как два лагеря друг против друга, каждый со своими шпагами. Казалось, они уже никогда и не будут встречаться иначе, как с побуждением наносить взаимно удары и обмениваться вызовами, но время, года прибывающего размышления устроили дело иначе. Уже в половине этого периода, между 1845—1846 годами в умах передовых людей обоих станов свершился поворот и начало возникать предчувствие, что обе партии олицетворяют собой каждая одну из существеннейших необходимостей развития, одно из начал, его образующих. Партии должны были бороться так, как они боролись, на глазах публики, для того именно, чтобы выяснить всю важность содержания, заключающегося в идеях, ими представляемых»[6].

По нашему убеждению, 1845 г. не был годом окончательного становления славянофильства. Важные моменты славянофильского учения и особенно политические воззрения были впервые высказаны и четко сформулированы под впечатлением революционных событий 1848 г. «После 1848 года» (название одного из лучших стихотворений И. Аксакова) славянофильство приобретает черты цельной, законченной историко-философской и общественно-политической доктрины. В его развитии наступает новый этап.

Значение европейских революций 1848 г. в истории русской общественной мысли, в истории славянофильства не раз было отмечено советскими историками. Еще в 1932 г. П. Андреев писал, что «подлинной основой» всех построений славянофилов был «помещичий страх» перед революцией 1848 г. Мнение Андреева, что славянофильская доктрина является памятником того, как дворянская мысль «переживала европейскую революцию 1848 года», не опиралось на факты и не получило распространения, но указание на важность «безумного года» в становлении славянофильства заслуживает внимания[7].

Признание того, что временем зарождения и становления славянофильства как идейного направления были 1839—1848 гг., не снимает вопроса о предшественниках славянофилов, о генезисе славянофильских идей, о причинах возникновения славянофильства.

С. С. Дмитриев полагал, что до 1839 г. были высказаны отдельные мысли, напоминающие славянофильские, жили и действовали будущие славянофилы, «но ни деятели эти еще не были славянофилами, ни отдельные высказываемые ими мысли не составляли системы славянофильства». Он добавлял: «Познавательная ценность сближений с Крижаничем, Болтиным, Карамзи-

ным и т. д. крайне сомнительна»[8]. Замечание уместное и справедливое. Добавим, что изучение славянофильства вовсе не требует его сопоставления не только с общей системой воззрений И. Н. Болтина или Н. М. Карамзина, но и с отдельными сторонами их взглядов. В ином случае легко впасть в ошибку. Например, наблюдения М. О. Кояловича над политической теорией славянофилов обесценены произвольными историческими сопоставлениями: «Татищевская, болтинская и особенно карамзинская теория о русском самодержавии и о том, что русский народ находит его лучшею государственною формою, нашли себе у славянофилов дальнейшую разработку, в основе которой особенно глубоко закладывалась мысль Карамзина, что высшее благо человеку дается не государством, а собственным, нравственным развитием»[9].

Правда, славянофилы иногда сами называли своих предтечей, стремились подчеркнуть неслучайность славянофильства, выявить его связь с предшествующими явлениями русской общественной жизни. В речи «О Карамзине» (1848) К. Аксаков намечал четкую линию преемственности: М. В. Ломоносов — Н. М. Карамзин — славянофилы. Он писал: «Русское направление, высказавшееся теперь так сильно, вовсе не от Карамзина ведет свое начало. Оно ведет начало от времени самого переворота (Петра I.— *Н. Ц.*), ибо с него и началось это темное противодействие иностранному влиянию... Чтоб сказать определительнее, это идет с Ломоносова... Карамзин есть один из таких борцов, и притом из борцов сильных: вот и все. Начало же этого направления от русской души и от истины». В известной характеристике славянофильства, данной в «Былом и думах», Герцен повторил эту мысль К. Аксакова, который, однако, в 1850-е годы судил уже иначе.

На страницах газеты «Молва» (1857) К. Аксаков нередко выступал как историк славянофильства, обращался к его истокам. Он подчеркивал, что славянофильство — «направление новое, не более как лет пятнадцать возникшее определенно в Москве»[10]. В статье Хомякова «Современный вопрос», напечатанной в той же «Молве», возникновение славянофильства отнесено к 1839 г. (III, 288).

В пореформенные годы славянофилы утратили интерес к своим возможным предшественникам. Для Ю. Самарина, И. Аксакова, А. Кошелева, Ф. Чижова, В. Елагина, А. Гильфердинга главными авторитетами стали А. Хомяков, И. Киреевский, К. Аксаков. Подготавливая в 1861 г. издание их сочинений, И. Аксаков благоговейно писал: «Такое дружное, совместное появление произведений всех трех деятелей, дружных при жизни, согласных в основном, расходившихся только в частностях, очень важно: тут будет заключаться вся догматика нашего учения»[11].

Несколько особняком среди славянофилов 1860-х годов стоял В. И. Ламанский, чья научная эрудиция позволяла выстраивать длинный ряд предшественников славянофильства, проводить оригинальные исторические сравнения. Ламанский говорил: «Я бы

позволил себе сравнить, не со стороны содержания, а в смыслеобразовательном, споры наших восточников и западников, ведущие свое начало не с Шишкова, а с половины XVII в. (Крижанич, Котошихин и пр.) и даже, может быть, раньше (кирилловцы и иосифляне), с спорами номиналистов и реалистов» [12]. Сравнение Ламанского, безусловно, содержит богатый материал для изучения филиации идей, но собственно для истории славянофильства оно несущественно.

В. И. Ленин предостерегал от увлечения историческими аналогиями и параллелями, от несерьезных поисков исторически преемственных связей. Он писал: «Конечно, в борьбе средневековых номиналистов и реалистов есть аналогии с борьбой материалистов и идеалистов, но и аналогии и исторически-преемственную связь можно установить еще со многими и многими теориями, вплоть не только до средних веков, но и до древности. Чтобы изучить серьезно связь хотя бы средневековых споров с историей материализма, потребовалось бы особое исследование» [13].

Следует признать, что степень изученности западничества и славянофильства не дает оснований ожидать скорого появления исследования о соотношении споров XIX в. со спорами иосифлян и нестяжателей.

Серьезное научное значение в изучении генезиса славянофильских идей имеет соотнесение славянофильства и движения декабристов, взглядов славянофилов и декабристов.

В недавней работе о литературном славянофильстве К. Н. Ломунов верно отметил общность «социально-классовой» природы декабристов и славянофилов, выдвинул положение о том, что «славянофилы, как и декабристы, были деятелями того периода русской жизни, который своими корнями уходил в эпоху антинаполеоновских войн, и многое в их взглядах было порождено этой эпохой, в особенности тем новым, что внесла в русскую жизнь Отечественная война 1812 г.». На связь славянофильства с эпохой и идеями декабристов много раньше указывали А. Н. Пыпин, В. З. Завитневич, Н. Л. Бродский. Порождением «всеобъемлющей идейной реакции», наступившей в Европе после наполеоновских войн, назвал славянофильство Б. И. Сыромятников [14].

Насколько правомерно сопоставление самих понятий «декабризм» и «славянофильство»? Какие научные результаты можно ожидать от подобного сравнения?

На первый из поставленных вопросов ответ дают приведенные выше слова К. Н. Ломунова. Следует добавить, что и декабристы и славянофилы жили и действовали в условиях кризиса крепостничества, искали выход из тупика крепостных отношений.

Ответом на второй вопрос служит мысль В. И. Ленина, который начинал историю либерального движения в России с эпохи декабристов. В плане статьи «Рабочая и буржуазная демократия» (январь 1905 г.) В. И. Ленин записал: «Тема — вкратце познакомить. 1. Либ[еральное] дв[ижение] в России. (Дворянское: декабристы). Земское. 60-е гг. и после» [15].

В научной литературе история возникновения в России либерализма и либеральной идеологии почти не изучена. Сопоставление декабризма и славянофильства должно помочь в решении сложного теоретического вопроса о соотношении движения декабристов и либерально-оппозиционного движения 1820-х годов; оно играет исключительно важную роль в исследовании эволюции русского либерализма *после* разгрома декабристов; наконец, оно должно осветить предысторию славянофильства, ответить на вопрос, какие обстоятельства вызвали его возникновение. Изучение этих вопросов — актуальная задача историков русского общественного движения.

Для будущего исследования раннего русского либерализма, соотношения декабризма и славянофильства, полезно отметить три аспекта проблемы, выделить три ряда связи: общественно-политический, философский и литературный. В первой половине XIX в. политика, литература, философия были тесно связаны, легко установить взаимозависимость ряда общественно-политического, литературного и философского, но плодотворным будет исследование, основанное на четком их разделении.

Поясним нашу мысль. Архаист, «первый славянофил» В. К. Кюхельбекер, альманах В. Ф. Одоевского и В. К. Кюхельбекера «Мнемозина», воздействие поэзии К. Ф. Рылеева на раннее творчество А. С. Хомякова (трагедия «Ермак»), обращение декабристской критики (А. А. Бестужев, В. К. Кюхельбекер) к идее народности, понимаемой как народность литературы,— ряд литературный, выделить который относительно просто.

Второй ряд — философский. Его изучение вызывает, пожалуй, наибольшие трудности. В литературе давно утвердилось противопоставление поколения декабристов, выросшего на идеях европейского Просвещения, следующему поколению, поклонникам Канта, шеллингианцам, религиозным мыслителям. Д. Н. Овсянико-Куликовский утверждал: «Некоторые, и притом из числа наиболее сильных умов поколения 20-х годов, как известно, продолжали свою деятельность и в 30-е годы. И вот тут-то и обнаружилось, что эти умы были, по самому укладу своему, совсем не приспособлены для разработки новых задач развития» [16]. Эта точка зрения, которая выражена и в работах советских авторов, не представляется верной. Она не учитывает традиций преемственности, которые были присущи дворянскому этапу русского освободительного движения, традиций, которые нельзя не заметить и в области философско-религиозных исканий.

Общественно-политический ряд связи декабризма и славянофильства наиболее интересен для историков русского общественного движения. Здесь можно наметить два основных направления исследования.

Во-первых, изучение места будущих славянофилов (И. В. Киреевского, А. И. Кошелева, А. С. Хомякова, П. В. Киреевского — «старших славянофилов») в идейной борьбе 1820 — начала 1830-х годов, выявление их личных связей с декабристами, их отношения

к выступлению 14 декабря 1825 г. Во-вторых, изучение генезиса славянофильских идей.

Обратимся к фактам. В книге о декабристе Никите Муравьеве Н. М. Дружинин заметил: «Декабристы имели сочувственную и солидарную аудиторию, которая отзывалась на их политические высказывания и поставляла им молодые кадры»[17]. Движение декабристов, политических революционеров, безусловно, не размывалось в рамках дворянской оппозиционности начала 1820-х годов, но в эти годы существовали явления общественной жизни, переходные от либеральной оппозиции к декабризму. Одним из таких явлений был кружок дворянской молодежи в Москве, известный в литературе как «Общество любомудрия» или, как его иначе называли, «Общество любомудров».

Об «Обществе любомудрия» известно немного. Возникло оно не ранее 1824 г., его заседания проводились тайно, а устав и протоколы были сожжены после 14 декабря 1825 г. Членами общества, согласно свидетельствам А. И. Кошелева и М. П. Погодина, были В. Ф. Одоевский (председатель), Д. В. Веневитинов (секретарь), И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, А. С. Норов, Н. М. Рожалин, П. Д. Черкасский. История тайного «Общества любомудрия» изучена слабо, его возможные связи с московскими декабристскими организациями не выявлены прежде всего в силу скудости и отрывочности источников. Строго говоря, членов «Общества любомудрия» постоянно смешивают с участниками литературного кружка Д. Веневитинова — любомудрами по духу, по идейной направленности, по кругу политических и литературно-философских интересов, но никогда не бывшими членами тайного общества (Ф. И. Тютчев, С. П. Шевырев, В. П. Титов, М. П. Погодин, П. В. Киреевский, Н. В. Путята). Неверно и укоренившееся мнение, что «Общество любомудрия» было обществом философским, что оно объединяло первых русских последователей Канта и Шеллинга.

А. И. Кошелев, на сведения которого преимущественно опираются исследователи, вспоминал: «Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, 18-летним юношею, у внучатого моего брата Мих. Мих. Нарышкина. Это было в феврале или марте 1825 года. На этом вечере были: Рылеев, кн. Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь... Этот вечер произвел на меня самое сильное впечатление; и я на другой же день утром сообщил все слышанное Ив. Киреевскому, и с ним вместе мы отправились к Дм. Веневитинову, у которого жил тогда Рожалин, только что окончивший университетский курс с степенью кандидата. Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления. Вследствие этого мы с особенною жадностью налегли на сочинения Бенжамена Констана, Рое-Коллара и других французских политических писателей; и на время немецкая философия сошла у нас с первого плана»[18].

Долго ли политические интересы занимали «любомудров»?

Очевидно, вплоть до прекращения тайных заседаний после восстания на Сенатской площади.

Свидетельство Кошелева определенно: под влиянием видных декабристов (К. Ф. Рылеева, И. И. Пущина, Е. П. Оболенского, М. М. Нарышкина) интересы «любомудров» склонились к политике, причем инициатива едва ли не принадлежала Кошелеву и И. Киреевскому. «Любомудры» были в общих чертах осведомлены о политической программе декабристов, об их планах («перемена в образе правления»).

С планами декабристов, с декабристской тактикой «военной революции» был знаком и А. С. Хомяков, который в Петербурге убеждал К. Ф. Рылеева и А. И. Одоевского в том, что «из всех революций самая несправедливая есть революция военная». В молодости, как и позднее, Хомяков был убежденным противником революции. В те годы, заметим, Хомяков не только не был членом «Общества любомудрия», но и не входил в веневитиновский кружок [19].

Разделяли ли «любомудры» революционную программу декабристов? Воспоминания Кошелева делают такой вопрос закономерным, но недостаток сведений не дает возможности на него ответить. История «Общества любомудрия» остается ненаписанной страницей истории русского общественного движения. Можно предположить, что чтение Б. Констана обличает в Кошелеве и его друзьях скорее либералов, нежели политических революционеров. О том же свидетельствует и дальнейшая эволюция их общественно-политических взглядов.

Можно, однако, высказать соображения иного плана. На склоне лет, вспоминая события далекого декабря 1825 г., Кошелев написал странные, необычные для российского либерала слова: «Мне, юноше, казалось, что для России уже наступал великий 1789 год». Сверстники-«любомудры», по-видимому, разделяли восторженность юного Кошелева. В 1832 г., когда отношение Кошелева к Великой французской революции изменилось, И. Киреевский возражал ему: «То, что ты говоришь о 89 годе, мне кажется не совсем справедливо. Двигатели мнений и толпы были тогда не только люди нравственные, но энтузиасты добродетели. Робеспьер был не меньше как фанатик добра» (II, 225). Явный отзвук настроений 1825 года!

Во время междуцарствия увлечение политическими вопросами, некоторая осведомленность о планах декабристов породили среди «любомудров» надежды на выступление 2-й (Южной) армии, кавказского корпуса А. П. Ермолова. Кошелев писал: «...Мы ожидали всякий день с юга новых Мининых и Пожарских. Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и комп., ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначали». После поражения декабристов «любомудры» ожидали (Кошелев пишет «почти желали») ареста [20].

Отношение «любомудров» к движению декабристов можно оп-

ределить как близость и сочувствие. В 1825 г. у И. Киреевского, Кошелева, Д. Веневитинова не было принципиального неприятия планов декабристов. Арестованный в 1826 г. Веневитинов вполне мог ответить на вопросы III Отделения, что «если он и не принадлежал к обществу декабристов, то мог бы легко принадлежать к нему».

После 14 декабря 1825 г. «Общество любомудрия» прекратило свои заседания, но дружеская и идейная близость его членов не исчезла. Местом их постоянных встреч стал веневитиновский литературно-философский кружок.

В декабристское время веневитиновский кружок, собиравшийся «во имя любомудрия», был неопределенной формой проявления вольнолюбивых настроений московской дворянской молодежи. Он ни в коей мере не был тайным обществом, но именно к нему следует отнести слова Кошелева, приведенные Н. Колюпановым: «Это был кружок тогдашней либеральной молодежи в Москве, неизвестно почему казавшийся подозрительным и опасным» [21].

Передовые настроения эпохи, политическое свободомыслие коснулись участников вечеров у Д. Веневитинова — людей незаурядных, молодых, искренних в желании служить России. После 14 декабря 1825 г. внутри веневитиновского кружка сохранилась редчайшая для николаевского времени атмосфера политической и гражданской честности, неприятия произвола. Для Веневитинова и его товарищей было характерно романтическое восприятие подвига декабристов, отношение к ним как к «мученикам». Справедливо писал Д. Д. Благой о том, что «веневитиновский кружок в первые два-три подекабрьских года был единственным литературно-дружеским объединением, отличавшимся вольнолюбивым духом и тем самым продолжавшим в какой-то мере идейные традиции декабристов».

В пределах веневитиновского кружка были живы настроения политического либерализма, и один из руководителей III Отделения М. Я. фон Фок в 1827 г. называл его участников «истинно бешеными либералами», чей образ мыслей, речи и суждения «отзываются явным карбонаризмом» [22].

После смерти Д. В. Веневитинова (март 1827 г.) кружок не распался. В 1827—1832 гг. его участники — в литературе за ними закрепилось неточное название «любомудры» — предприняли несколько попыток создать собственный печатный орган. К изданиям «любомудров» можно отнести журнал «Московский вестник» под редакцией М. П. Погодина (1827—1830), «Литературную газету» А. А. Дельвига (1830—1831), альманах М. А. Максимовича «Денница» (1830), журнал И. В. Киреевского «Европеец» (1832). Неудача «Европейца» окончательно расстроила литературные планы «любомудров», а их кружок после запрещения журнала перестал существовать.

Для оценки политических настроений будущих славянофилов в последекабристские годы важны их некоторые прямые высказывания. В 1827 г. П. В. Киреевский поместил в «Московском вест-

нике» пересказ книги участника греческого национально-освободительного движения Ризоса Нерулоса о новейшей греческой литературе. Выбор книги показателен. Повторяя «сочинение Ризо», П. Киреевский писал о французской революции, события которой столь занимали его друзей: «Революция французская грозила ниспровергнуть здание общественного устройства; троны были потрясены в самых основах; все трепетало сей булавы Геркулесовой, сей силы действительной и нравственной». Смысл греческого восстания П. Киреевский видел в том, что оно «произвело счастливое слияние между сынами Греции; различия сословий, состояний и прав уже не существует». В статье «Современное состояние Испании», которая была напечатана в «Европейце», П. Киреевский резко отозвался об испанском абсолютизме, чье правление, «всемогущее во зле и бессильное в добре, ведущее народ к скотскому закоснению», он безоговорочно осуждает. После французской революции 1830 г. П. Киреевский проявил интерес к учению Сен-Симона [23].

А. И. Кошелев зиму 1831—32 г. провел в Женеве, где слушал частные лекции знаменитого юриста и государственного деятеля П.-Л. Росси, о котором он вспоминал: «Этот человек развил во мне много новых мыслей и утвердил во мне *настоящий либерализм*, который, к сожалению, у нас редко встречается, ибо в среде наших так называемых либералов, по большей части, встречаются люди, проникнутые западным доктринерством и руководящиеся чувствами и правилами скорее деспотизма, чем истинного свободолюбия и свободомыслия» [24].

Знаменитая статья И. В. Киреевского «Девятнадцатый век» — программная для журнала «Европеец» — воспевала либеральное общественное мнение: «То *искусственное* равновесие противоборствующих начал, которое недавно еще почиталось в Европе единственным условием твердого общественного устройства, начинает заменяться равновесием *естественным*, основанным на просвещении общего мнения» (I, 94). Отзыв Николая I о статье был не курьезом, а ее точной политической оценкой: «...Сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное... под словом *просвещение* он понимает *свободу*... деятельность разума означает у него революцию, а искусно отысканная середина не что иное, как конституция» [25].

Участие И. В. и П. В. Киреевских, А. И. Кошелева, А. С. Хомякова в общественной жизни 1820 — начала 1830-х годов позволяет видеть в них представителей либеральной оппозиции, приметных деятелей русского либерализма эпохи его зарождения. И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, их единомышленники-«любомудры» были близки к движению декабристов, их не обошли конституционные устремления 1820-х годов. В последекабристское время будущие славянофилы содействовали сохранению политических традиций русского либерализма, что было непросто в условиях николаевской реакции. В известном смысле они были участниками русского освободительного движения на его дворянском

этапе, к ним вполне применимы слова Г. В. Плеханова о том, что «политическими революционерами не были многие из участников нашего освободительного движения»[26]. Изучение места будущих славянофилов в общественной жизни 1820 — начала 1830-х годов не только поможет уяснить предысторию славянофильства, но и должно послужить более глубокому пониманию специфики дворянского этапа русского освободительного движения.

Где следует искать истоки славянофильства? На наш взгляд, основополагающие идеи славянофильства — вера в особый путь русского исторического развития и связанное с ней убеждение, что Россия призвана исполнить особую миссию по отношению к Западной Европе; внимание к народу как к главному деятелю истории; признание важного значения общественного мнения; интерес к прошлому и настоящему славянских народов — крепкими нитями связаны с идейными спорами первой трети XIX в.

В идеологии декабризма, в общественном и бытовом поведении отдельных декабристов легко проследить черты, прежде всего внешние, которые могут быть названы «славянофильскими». Назовем некоторые. Декабристы были патриотами России, они гордились русским народом, с вниманием изучали его прошлое. История Древней Руси, народные веча, новгородские вольности были предметом их размышлений. М. А. Фонвизин полагал, что «в общественном быту славян преобладала стихия демократически-общинная», а Древняя Русь оставалась «верною коренной славянской стихии: свободному общинному устройству». П. Г. Каховский считал, что «Петром I, убившим в отечестве все национальное, убита и слабая свобода наша». П. И. Пестель мечтал о «славянороссской империи», а К. Ф. Рылеев устраивал для друзей «русские завтраки». В среде декабристов можно обнаружить интерес к русской одежде, насмешки над подражанием модным европейским образцам, галлофобию.

Можно ли на основании этих фактов сближать идеологию декабристов со славянофильством? Разумеется, нет. И дело не только в том, что отдельные «славянофильские» черты были у представителей других направлений русской общественной мысли 1810—1820-х годов. Здесь, в частности, можно назвать С. Н. Глинку, А. Д. Улыбышева, чьи общественно-политические воззрения заслуживают внимательного изучения. Декабристам была чужда идея особенности исторического развития России, они разделяли концепцию *единства* исторических судеб русского и других европейских народов. Декабристы сознавали свою причастность к европейскому революционному движению. Это чувство прекрасно выразил Пестель: «Нынешний век ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая ни единого государства, даже Англии и Турции, сих двух противоположностей. То же самое зрелище представляет и Америка. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать»[27].

В русской публицистике 1810—1820-х годов мысль о принад-

лежности России к Европе была общим местом, в сущности ей не придавали особого значения.

Поражение декабристов изменило настроение умов. Важнейший идеологический документ николаевской эпохи, манифест 13 июля 1826 г., в котором сообщалось о казни декабристов, содержал утверждение: «Не в свойствах, не в нравах российских был сей умысел... Сердце России для него было и будет неприступно. Не посрамится имя русское изменою престолу и отечеству». Дворянству предлагалось предпринять «подвиг к усовершенствованию отечественного, не чужеземного воспитания». Манифест выражал веру в незыблемость устоев монархии в России: «Все состояния да соединятся в доверии к правительству. В государстве, где любовь к монархам и преданность к престолу основаны на природных свойствах народа, где есть отечественные законы и твердость в управлении, тщетны и безумны всегда будут все усилия злонамеренных».

Манифест 13 июля и «Донесение Следственной комиссии», где декабризм понимался как «зараза, извне принесенная», возводили противопоставление России и Европы в ранг важнейшей составной части официальной идеологии. Мысль о превосходстве православной и самодержавной России над «гниющим Западом» стала краеугольным камнем теории «официальной народности». В 1832 г., начиная курс лекций в Московском университете, М. П. Погодин использовал победу русской армии, русского народа над Наполеоном как аргумент, доказывающий превосходство России над Европой: «Отразив победоносно такое нападение, освободив Европу от такого врага, низложив его с такой высоты, обладая такими средствами, не нуждаясь ни в ком и нужная всем, может ли чего-нибудь опасаться Россия? Кто осмелится оспаривать ее первенство, кто помешает ей решать судьбу Европы и судьбу всего человечества, если только она сего пожелает?»[28]

До Крымской войны оставался 21 год...

Воздействие официальной идеологии николаевского времени привело к тому, что противопоставление России и Европы глубоко укоренилось в русском общественном сознании. В знаменитом документе эпохи, в первом «Философическом письме», авторская дата которого 1 декабря 1829 г., П. Я. Чаадаев провозгласил разрыв Европы и России. Его позиция — зеркальное отражение официальных воззрений. Непримиримый противник николаевского деспотизма, Чаадаев писал об убожестве русского прошлого и настоящего, о величии Европы. «Философическое письмо» Чаадаева можно рассматривать как свидетельство того, что наступление правительственной идеологии на позиции раннего русского либерализма шло успешно.

Участники веневитиновского кружка не сразу приняли противопоставление России и Европы, они продолжали высказываться за европеизацию русской жизни. Обыгрывая особенности русского календаря, С. П. Шевырев в 1828 г. писал в «Московском вестнике»: «Потребен был Петр I, чтобы перевести нас из 7-го тыся-

челетия неподвижной Азии в 18-е столетие деятельной Европы, потребны усилия нового Петра, потребны усилия целого народа русского, чтобы уничтожить роковые дни, укореняющие нас в младшинстве перед Европою и уравнять стили»[29].

В статье «Девятнадцатый век» И. Киреевский скорбел, что «какая-то китайская стена стоит между Россиею и Европою... стена, в которой Великий Петр ударом сильной руки пробил широкие двери», и ставил вопрос: «Скоро ли разрушится она?» Вопреки официальной идеологии, он писал: «...У нас искать национального, значит искать необразованного; развивать его на счет европейских нововведений, значит изгонять просвещение; ибо, не имея достаточных элементов для внутреннего развития образованности, откуда возьмем мы ее, если не из Европы?» (I, 95, 105).

Не принимая официального восхваления прошлого, настоящего и будущего России, недавние «любомудры» не были согласны и с чаадаевским утверждением о неисторичности русского народа, об отсутствии у него богатого исторического прошлого. Один из самых ранних откликов на «Философическое письмо» принадлежит П. В. Киреевскому, который 17 июля 1833 г. писал Н. М. Языкову: «Эта проклятая чаадаевщина, которая в своем бессмысленном самопоклонении ругается над могилами отцов и силится истребить все великое откровение воспоминаний, чтобы поставить на их месте *свою* одноминутную премудрость, которая только что доведена ad absurdum в сумасшедшей голове Ч., но отзывается по несчастью во многих, не чувствующих всей унизительности этой мысли, — так меня бесит, что мне часто кажется, как будто вся великая жизнь Петра родила больше злых, нежели добрых плодов». Вопреки официальной догме, не соглашаясь и с желчными выпадами Чаадаева, П. Киреевский словно нащупывает путь к славянофильству. Впрочем, в 1833 г. он далек от позднейшего осуждения Петра I.

Письмо П. Киреевского — прекрасный образец спора с Чаадаевым, мысли П. Киреевского близки пушкинским высказываниям из знаменитого письма к Чаадаеву от октября 1836 г.

П. Я. Чаадаев: «Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня, мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно». *П. В. Киреевский*: «Я с каждым часом чувствую живее, что отличительное, существенное свойство варварства — *беспамятность*; что нет ни высокого дела, ни стройного слова без живого чувства своего достоинства, что чувства собственного достоинства нет без национальной гордости, а национальной гордости нет без национальной памяти». *А. С. Пушкин*: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться... я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человека с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков...»[30].

Сильное впечатление на русских либералов произвели события 1830—1831 гг. — июльская революция во Франции, польское национально-освободительное движение, холерные бунты в России. В эти годы происходит глубокий спад русского общественного движения, переход части либералов на позиции консервативные и охранительные.

Не позднее 1834 г. В. Ф. Одоевский написал эпилог к роману «Русские ночи», тема которого — «гибель» Запада: «Осмелимся же выговорить слово, которое, может быть, теперь многим покажется странным и через несколько времени слишком простым: Запад гибнет!» В духе официальной идеологии бывший председатель «Общества любомудрия» решает вопрос о предназначении России: «Мы поставлены на рубеже двух миров: протекшего и будущего, мы новы и свежи, мы непричастны преступлениям старой Европы. Девятнадцатый век принадлежит России!»

Вывод Одоевского о превосходстве России над Западом не был приемлем для автора статьи «Девятнадцатый век». Спустя десятилетие, в программном выступлении раннего славянофильства — статье «Обозрение современного состояния литературы» (1845) — И. Киреевский убежденно писал: «...Все споры о превосходстве Запада или России, о достоинстве истории европейской или нашей, и тому подобные рассуждения принадлежат к числу самых бесполезных, самых пустых вопросов, какие только может придумать празднолюбие мыслящего человека» (I, 157). Слова И. Киреевского не противоречили сути славянофильства, которое утверждало не превосходство России над Западом, а *особый характер* русского общественного и исторического развития [31].

Поражением завершилось противостояние официальной идеологии для редактора «Телескопа» Н. И. Надеждина. В двух первых номерах журнала за 1836 г. он поместил программную статью «Европеизм и народность в отношении к русской словесности». Опираясь на уваровское понимание народности, Надеждин воспел «русский кулак», который он противопоставлял достижениям европейской цивилизации. В «русском кулаке» он видел основу «самобытности великой империи»: «Европейцу как хвалиться своим тщедушным, крохотным кулачишком? Только русский владеет кулаком настоящим, кулаком comme il faut, идеалом кулака. И, право, в этом кулаке нет ничего предосудительного, ничего низкого, ничего варварского, напротив, очень много значения, силы, поэзии!» Скрытое глумление над официальной идеологией не смягчало факта капитуляции Надеждина перед уваровской «триадой», клятва верности которой заключала его статью. Для нашей темы безразлично, отвечала ли статья подлинным убеждениям Надеждина, который осенью того же 1836 г. поместил в «Телескопе» «Философическое письмо» Чаадаева. Важно, что к середине 1830-х годов редактор передового русского журнала считал необходимым поддерживать в публике мысль о превосходстве России над Европой [32].

Дальше Надеждина пошел бывший «любомудр», крупный рус-

ский дипломат В. П. Титов. В письме к В. Ф. Одоевскому из Константинополя (март 1836 г.) он выдвинул положение: «Нам надо овосточиться». Всякие изменения опасны: «Дай бог, чтобы все это так и осталось; России бесполезны радикальные реформы, которые Европа ищет в поте лица своего и не находит». Титов писал: «Задача, стало быть, приводится к трем условиям: воскресить религиозную веру; упростить гражданские отношения и научить людей, чтобы хотели быть самодовольными». В условиях крепостной России титовская идея «кейфа», самодовольства — идея дикая, политически реакционная. В. П. Титов был прямым идейным предшественником К. Н. Леонтьева, чья дипломатическая служба также проходила на Востоке[33].

Официальное противопоставление России и Европы, журнальные нападки на «гниющий Запад», восхваление «тишины и спокойствия православной Руси», споры о русской истории, которые вызвало «Философическое письмо» Чаадаева, а главное, необходимость определить свое отношение к настоящему, к николаевской действительности, требовали ответа тех русских либералов, кто, в отличие от Погодина и Титова, не смирился с торжеством «православия, самодержавия и народности». Их ответом стало славянофильство.

Славянофильство возникло в условиях глубокого спада общественного движения, когда деятели раннего русского либерализма оказались не в состоянии противостоять нажиму официальной идеологии, пошли на компромисс, следствием которого стало признание особого пути русского исторического развития. Славянофильство было своеобразным итогом эволюции либерализма декабристского времени, оно выявило общественные взгляды наиболее левых представителей раннего русского либерализма, либералов первого поколения, в условиях николаевской реакции. Возникновение славянофильства означало отход от либеральных традиций 1820-х годов и начало нового этапа в истории русского либерализма.

В конце жизни в речи, прочитанной в публичном заседании Общества любителей российской словесности, А. С. Хомяков изложил свое понимание предыстории славянофильства и обстоятельств его возникновения. Он говорил о русском обществе начала XIX в., где, «вследствие постоянного и скорбного сравнения с Европою, литератор или уходил в самого себя и в свои скудные мечтания... или обращался к родине с резким и прямым отрицанием... Здоровое общественное движение стало невозможным». Истоки славянофильства следует искать в национальном подъеме 1812 г.: «Подвиг был подвигом всей земли русской; и слава его, разумеется, отразилась на всех ее сословиях и по преимуществу на высшем. Естественная гордость пробудилась во всех». Дальнейшие события Хомяков раскрывает под очевидным воздействием размышлений Чаадаева, чьи горькие вопросы он повторяет почти дословно: «Но это временное оживление было обманчиво. В глубине души и мысли просвещенного сословия таилась... болезнь

сомнения в самой России. Время инстинктивного, полудетского самодовольства, едва озаряемого началами образованности, которое характеризовало эпоху екатерининскую, миновало: Россию беспрестанно и невольно сравнивали с остальною Европою, и с каждым днем глубже и горше становилось убеждение в превосходстве других народов. Действительно, что создали мы в науке, что в художестве? Где наши заслуги перед человечеством? Где даже наша история?» В памяти Хомякова были живы споры 1830-х годов, времени, о котором он говорил: «Временное оживление стало ослабевать, совокупная деятельность становилась со дня на день более невозможною и, наконец, прекратилась вовсе. Силы, характеризовавшие уже начало столетия, развивались все более и более. Все одиночнее становился писатель-художник, все отрицательнее к обществу становился писатель-мыслитель». В эти годы и возникло славянофильство, которое было «сомнением в правоте сомнения в России». Славянофилы — «люди, которые усомнились в правоте общего сомнения», которые увидели, что «русский народ не просто материал, а духовная сущность» (III, 420—429).

Что произошло зимой 1838/39 г., когда Хомяков представил своим друзьям работу «О старом и новом», которая была ответом и Чаадаеву, и сторонникам официальной идеологии? Вместо привычного противопоставления России и Европы Хомяков ставил вопрос по-иному: «Что лучше, старая или новая Россия? Много ли поступило чуждых стихий в ее теперешнюю организацию? Приличны ли ей эти стихии? Много ли утратила она своих коренных начал, и таковы ли были эти начала, чтобы нам о них сожалеть и стараться их воскресить?» (III, 15).

В ответе Хомякову И. Киреевский признал, что поставленные вопросы имеют большой общественный интерес, вызывают споры: «...Понятие наше об отношении прошедшего состояния России к настоящему принадлежит не к таким вопросам, о которых мы можем иметь безнаказанно то или другое мнение... каждый из нас имеет об этом предмете отличное от других мнение». Пересказав вопросы Хомякова, он заметил: «Силлогизм, мне кажется, не совсем верный. Если старое было лучше теперешнего, из этого еще не следует, чтобы оно было лучше теперь» (I, 109).

В статьях Хомякова и И. Киреевского (их правильнее было бы называть речами) нет восхваления современной России, нет пренебрежения к Европе, они свободны от нелепостей официальной идеологии. Именно в них *впервые* изложено историко-философское учение славянофилов, стержень которого — мысль об особом характере русского исторического и общественного развития. Противопоставление России и Европы, навязанное русскому обществу идеологами николаевского царствования М. М. Сперанским, Д. Н. Блудовым, С. С. Уваровым, в конце 1830-х годов хотя и с оговорками, но было принято либеральной общественностью.

Следует подчеркнуть, что от этого противопоставления не были свободны и западники, чьи взгляды были высказаны в одно время с первыми выступлениями славянофилов. Как верно заме-

тил Н. П. Колюпанов, если славянофилы идеализировали Древнюю Русь в «*положительную сторону*», то «точно так же западники идеализировали ее в *отрицательную сторону*». Антитеза «Россия — Европа» прочно вошла в русское общественное сознание [34].

Обменом посланиями между Хомяковым и И. Киреевским завершился целый период развития русского либерализма. На смену политическим интересам и либерально-конституционным надеждам начала 1820-х годов пришли социальные и философские искания «либералов-идеалистов» 1840-х.

В 1839 г. И. Киреевский и Хомяков пытались в форме историко-философских размышлений наметить новую программу русского либерализма. Хомяков указывал на «прекрасное и святое значение слова государство», подчеркивал необходимость сильной центральной власти, но мечтал о времени, когда «в просвещенных и стройных размерах, в оригинальной красоте общества, соединяющего патриархальность быта областного с глубоким смыслом государства, представляющего нравственное и христианское лицо, воскреснет Древняя Русь» (III, 29). Называя достоинства старой Руси, которые следует воскресить, Хомяков не столько следовал идеальным представлениям о прошлом, сколько перечислял преобразования, необходимые николаевской России: «грамотность и организация в селах»; городской порядок, распределение должностей между гражданами; заведения, которые облегчали бы «низшим доступ к высшим судилищам»; суд присяжных, суд словесный и публичный; отсутствие крепостного права, «если только можно назвать правом такое наглое нарушение всех прав»; равенство, почти совершенное, всех сословий, «в которых люди могли переходить все степени службы государственной и достигать высших званий и почестей»; собирание «депутатов всех сословий для обсуждения важнейших вопросов государственных»; свобода церкви (III, 13—14). Хомяков излагал своим слушателям программу либеральных перемен, переведенную на язык исторических воспоминаний. В статье «О старом и новом» были впервые изложены не только историко-философские, но и социально-политические воззрения славянофилов. Отзывы Хомякова о крепостном праве, о «мерзости рабства» убеждают, что, придя к славянофильству, братья Киреевские, Хомяков, Кошелев остались выразителями настроений русской либеральной общественности. В этом они сохранили верность заветам молодости.

3

С какого времени следует говорить об исчезновении славянофильства как живого течения русской общественной мысли? В литературе этот вопрос решается различно, назвать какую-либо общепринятую дату в настоящее время нельзя. Если оставить в стороне высказывания о славянофильстве-славянолюбии и славянофильстве-национализме, то чаще всего уход славянофильства с об-

щественной сцены датируется серединой 1880-х годов, когда со смертью И. С. Аксакова прекратилось издание газеты «Русь». Ближайшие помощники Аксакова по изданию газеты О. Ф. Миллер и С. Ф. Шарапов в статье, посвященной памяти редактора «Руси», писали: «С Аксаковым умер последний представитель московской славянофильской школы; она совершила свое дело». В 1887 г. эту мысль повторил известный либеральный публицист К. К. Арсеньев: «Славянофильство сказало, с Аксаковым, свое последнее слово». В 1890 г. А. Н. Пыпин во втором издании книги «Характеристики литературных мнений от 20-х до 50-х годов» утверждал, что со смертью И. С. Аксакова, последнего представителя славянофильства, «история начинается для этого замечательного направления — хотя все еще далеко не полная, как бывает особенно у нас неполна всякая история недавнего времени». Правомерность этой точки зрения подтвердил С. С. Дмитриев: «После 80-х годов вряд ли вообще уместно безоговорочно применять к событиям, взглядам и лицам термин «славянофильство» [35].

Известны и другие точки зрения. Н. К. Михайловский в 1892 г. полагал, что «эпоха 60-х годов упразднила славянофилов». В недавних работах советского литературоведа В. А. Кошелева содержатся туманные указания на «посмертную судьбу славянофильства» уже в 1855 г., для начала 1860-х годов славянофильство названо «бывшим учением».

Нередко (и справедливо) исследователи указывают на 1861 г. как важный рубеж в истории славянофильства. Об этом писал А. И. Герцен, на этом настаивали и сами славянофилы — И. С. Аксаков, Ф. В. Чижов, В. А. Черкасский, Ю. Ф. Самарин. Значение отмены крепостного права для судьбы славянофильского учения понимается, правда, по-разному. К. Н. Ломунов считает, что после 1861 г. славянофильство «перестало существовать как активная, действующая сила общественной жизни и вместе с тем как живое, развивающееся явление русской литературы. Славянофильство, как социально-философское учение, и литературное славянофильство, дойдя до этого рубежа, становились фактами истории». Здесь же исследователь оговаривается: «Из сказанного вовсе не следует, что с этого времени славянофильство утратило все свое влияние на события общественной жизни». Высказывание К. Н. Ломунова поясняет его соавтор Е. В. Старикова: в пореформенные годы «приобретает окончательную очевидность реакционность религиозной стороны славянофильской публицистики, всего их учения, их проповедь народного смирения и послушания, их вера в историческую необходимость для России царской власти» [36]. Вопрос о времени исчезновения славянофильства тем самым связывается со сложной проблемой его эволюции.

Существовало ли славянофильство в пореформенные годы? Справедлив ли вывод Е. В. Стариковой о его «очевидной реакционности» после 1861 г.?

У нас нет оснований отрицать существование позднего славянофильства. С 1861 г. начался новый, пореформенный этап его ис-

тории. Позднее славянофильство — это славянофильство пореформенного времени.

В исторической литературе позднее славянофильство почти не изучено. Исследователи не всегда ясно представляют многообразие его направлений, подчас отождествляют славянофильское учение 1860-х годов с национализмом и панславизмом. Изучение эволюции славянофильства нередко сводится к наблюдениям над общественной эволюцией И. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина, А. И. Кошелева.

О развитии славянофильства после 1865 г. С. С. Дмитриев писал: «Старое славянофильство более не существует. В системе взглядов, именуемой славянофильством, на центральное место выступают новые начала. Всеопределяющими становятся воинствующий национализм, идеи реакционного панславизма». В 1960 г. В. Е. Иллерицкий настаивал: «Эволюция славянофильства завершилась его полным разложением, деградацией. Эпигоны славянофильства в лице Н. Я. Данилевского и в особенности К. Н. Леонтьева полностью отказались от каких-либо оппозиционных тенденций, они стали верными идейными оруженосцами самодержавия». Подводя итоги дискуссии о литературной критике ранних славянофилов, С. И. Машинский в 1969 г. утверждал: «В 60—80-х годах оно (славянофильство. — *Н. Ц.*) начисто утратило ранее присущие ему элементы критического отношения к действительности, сохранив и весьма укрепив те стороны мировоззрения, которые превратили это идейное течение в откровенно охранительное и реакционное»[37].

Категоричность подобных утверждений вызывает сомнения, тем более, что они остались недоказанными. В 1860-е годы славянофильство было живым, заметным течением русской общественной мысли, его история никак не сводится к эволюции «вправо». С нашей точки зрения, отсутствие специальных исследований делает преждевременными прямолинейные оценки, которые затрудняют как изучение позднего славянофильства, так и понимание места славянофильства в истории русской мысли.

Весьма сомнительно следующее утверждение С. И. Машинского: «Историческими преемниками и продолжателями Хомякова и Кошелева явились Леонтьев и Данилевский». Поиски «исторических преемников» славянофилов и славянофильства представляются научно несостоятельными. Даже в пределах 1870—1890-х годов ими могут быть названы такие разные деятели, как, например, А. А. Киреев, В. А. Гольцев, С. Ф. Шарапов, А. В. Васильев, С. А. Юрьев, С. Н. Трубецкой, А. И. Васильчиков, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский. Определенное влияние некоторых сторон славянофильского учения заметно в идеологии народничества. В этой связи любопытно письмо И. Аксакова к «московскому студенту» (1883): «Народники очень к нам близки, по-видимому, но и разделяются от славянофилов целою бездною. Славянофильство не мыслится вне религиозной почвы, вне христианского идеала. Народники стоят на почве позитивизма, сворачивая то в материа-

лизм, то в какой-то особого рода нелепый мистицизм; овладевая всем тем, что внесло славянофильство в общественное сознание в течение 40 лет, эти господа стараются вылущить из славянофильства, а вместе с тем и из души народной самую сущность, божественную сущность» [38].

Видимо, в оценке славянофильства, в частности позднего, нельзя исходить из того, кто и в какой мере воспринял отдельные стороны славянофильского учения. Славянофильство — исторически обусловленное течение русской общественной мысли, оно было вызвано к жизни эпохой кризиса крепостной системы и становления буржуазных отношений. По нашему мнению, славянофильство изжило себя к середине 1870-х годов, когда в основном завершился переход к капитализму и новые общественные отношения стали играть определенную роль в развитии России. В. И. Ленин, предостерегая от неправомерного сближения народничества и славянофильства, подчеркивал: «С такими категориями, как славянофильство и западничество, в вопросах русского народничества никак не разобраться. Народничество отразило такой факт русской жизни, который почти еще отсутствовал в ту эпоху, когда складывалось славянофильство и западничество, именно: противоположность интересов труда и *капитала*» [39].

В свете этого ленинского высказывания могут быть поняты попытки славянофилов приспособить свое учение к новым историческим условиям, оно позволяет правильно оценить эволюцию позднего славянофильства. К середине 1870-х годов, когда в России утвердились буржуазные отношения, когда противоположность интересов труда и капитала во все большей степени стала определять русское общественное развитие, исчезли объективные условия существования славянофильства, которое было особой формой либеральной идеологии времени, переходного от феодализма к капитализму.

Началом кризиса славянофильства, предвестником его исчезновения стал распад славянофильского кружка.

Несмотря на исключительное обилие и разнообразие источников, внутренняя история славянофильского кружка изучена плохо. Между тем не будет преувеличением утверждение, что его история — ключ к пониманию эволюции славянофильства. Кружок был замечательным явлением русской общественной жизни, он уникален в истории российского либерализма. Славянофильский кружок просуществовал четверть века! Его долгая история — свидетельство больших организационных усилий славянофилов, которые, разумеется, соответствовали понятиям и требованиям середины прошлого века. Для этого периода русского общественного движения мы не можем назвать другого столь же устойчивого объединения единомышленников.

Чем объяснить прочность славянофильского кружка? Выскажем несколько предварительных соображений. П. Флоренский считал, что в основе единства славянофилов лежали родственные связи. Он утверждал: «Граница понимания и признания славяно-

филов совпадала с границами родства»[40]. Разумеется, мнение П. Флоренского — преувеличение, но он верно подметил одну из причин, которая делала отношения внутри кружка предельно доверительными, что способствовало его единству. Важно и то, что славянофилы были людьми одного происхождения и социального положения, это были представители русского среднепоместного дворянства, далекие как от сановной бюрократии, так и от разночинства.

Наконец, славянофильский кружок объединял людей, получивших сходное воспитание и образование, это был кружок воспитанников Московского университета. За исключением И. С. Аксакова, окончившего Училище правоведения, и Ф. В. Чижова, учившегося в Петербургском университете, все видные славянофилы в юности были связаны с Москвой и ее университетом. У профессоров университета занимались И. В. и П. В. Киреевские, кандидатом университета был А. С. Хомяков, в разные годы в университете учились А. И. Кошелев, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, А. Н. Попов, Д. А. Валуев, В. А. Черкасский, В. А. Панов, В. А. Елагин, А. Ф. Гильфердинг, П. А. Безсонов.

Собственно в университете, в среде его студентов и профессоров славянофильство не получило признания. Кумиром молодежи был глава «западной партии» Т. Н. Грановский, а И. В. Киреевский и К. С. Аксаков безуспешно пытались занять университетские кафедры. В 1839 г. Т. Н. Грановский, правда, выражал тревогу, что славянофилы «портят студентов: вокруг них собирается много хорошей молодежи и впивают эти прекрасные идеи». Тревога Грановского была напрасной. Н. П. Колюпанов, в те годы студент университета, вспоминал: «Помню Московский университет сороковых годов. Партия западная представлена была теми блестящими профессорами, которые служили лучшим украшением университета того времени и оказывали благодетельное и неотразимое влияние на слушателей. За славянофилов ратовал один Шевырев, этот enfant terrible славянофильства, который создан был, чтобы сделать смешным и уронить дело, им защищаемое. Естественно, что славянофилов, которых мы не знали, ибо сами они тогда мало высказывались в печати, мы считали за «гасильников просвещения» и глубоко их ненавидели»[41].

Одним из факторов, который не объясняет, правда, внутреннего единства кружка, но который сыграл существенную роль как условие его долгого существования, была умеренность либеральных убеждений славянофилов. Как заметил Грановский, статьи, которые читались у И. Киреевского, «можно читать при обер-полицеймейстере». Осторожность славянофилов редко давала властям повод для вмешательства во внутреннюю жизнь кружка.

Обстоятельством, которое сглаживало возможные трения внутри кружка, было сознательное разделение занятий между его членами. Ф. И. Буслаев писал: «По различию и наклонностям в занятиях московские славянофилы делили свои интересы по специальности с особым представителем для каждой»[42]. В ранние годы

существования кружка философия была сферой интересов И. В. Киреевского, русская история — Д. А. Валуева и К. С. Аксакова, русская литература — К. С. Аксакова, внутренняя политика и крестьянский вопрос — Ю. Ф. Самарина, финансы — А. И. Кошелева, фольклористика — П. В. Киреевского. Лишь А. С. Хомяков отличался универсальностью интересов и познаний, но и он по преимуществу разрабатывал историко-философскую концепцию славянофильства.

В пореформенные годы историческая часть была отдана В. А. Елагину и А. Ф. Гильфердингу, философская — Н. П. Гилярову-Платонову, вопросы экономические — Ф. В. Чижову, общественно-политические — А. И. Кошелеву, В. А. Черкасскому, о национальном вопросе писали И. С. Аксаков, В. И. Ламанский, о крестьянском — Д. Ф. Самарин, Ю. Ф. Самарин стремился перенять широту интересов Хомякова.

Замечательной особенностью славянофильского кружка, которая еще ожидает изучения, было активное и равноправное участие в его делах женщин — А. П. Елагиной, О. С. Аксаковой, Е. А. Свербеевой, А. П. Зонтаг, Н. П. Киреевской, М. В. Киреевской, Е. М. Хомяковой, Е. И. Поповой, В. С. Аксаковой, Л. С. Аксаковой, Е. И. Елагиной, Е. А. Черкасской, А. Ф. Аксаковой, Е. Ф. Тютчевой, А. Н. Бахметевой. Они вели беседы в салонах, спорили, обсуждали политические известия, литературные новости, философские статьи. Они много переводили и переписывали. Нередко через них шел обмен письмами — важнейшее средство поддержания внутреннего единства славянофильского кружка. Женщины хранили традиции славянофильства, их интерес к вопросам общественным был неподделен. В тяжелый для семьи Аксаковых 1860 г. О. С. Аксакова отозвалась на смерть Хомякова: «Никто не высказался как должно о Хомяк(ове)... даже Чижов не сказал хорошо, просто, рвусь, что *никто* не умел выразиться о Хомякове тепло и с сочувствием, *никто* не понимает важности потери». О сестре Вере И. Аксаков писал: «Она принадлежала всецело тому периоду времени, когда развивался и действовал брат Константин... Она свято хранила заветы и предания всей нашей школы. Она для меня служила руководительницею и поверкой» [43].

Внутренняя устойчивость славянофильского кружка была важнейшей предпосылкой прочности положения славянофилов в русской общественной жизни 1840—1850-х годов, и разрыв доверительных отношений между славянофилами неизбежно означал кризис славянофильства. Первые признаки распада кружка обнаружились в 1858—1860 гг., когда Ю. Самарин и Черкасский работали в Редакционных комиссиях и подвергались резким обвинениям в отступничестве от славянофильства со стороны К. Аксакова, отчасти Хомякова, Кошелева, И. Аксакова.

Смерть Хомякова и К. Аксакова, авторитетнейших представителей славянофильства, потрясла членов кружка. Перед ними встал вопрос о дальнейшей судьбе славянофильства. Узнав о смерти Хомякова, И. Аксаков писал: «Теперь для нас наступает

пора доживания, не положительной деятельности, а воспоминаний, доделываний. История нашего славянофильства, как круга, как деятеля общественного, замкнулась». В январе 1861 г. он спешил поговорить с Ю. Самариным «о тех обязанностях, которые наложила на нас связь с умершими, о наследстве, ими оставленном, об общественном положении славянофильства, о том, разойтись ли нам или теснее соединиться». В беседе Ю. Самарина и И. Аксакова — крупнейших деятелей позднего славянофильства — было принято решение начать новое славянофильское издание. Назначение издания ясно выразил И. Аксаков: «Журнал необходим, как внешний центр, связующий нас, оставшихся; как орган, посредством которого мы можем служить памяти Хомякова и брата, печатая их статьи и доказывая своими статьями, что их мысль жива и плодотворна; освещает и озаряет все современные и будущие вопросы русской жизни. Она, как фонарь, светящий в будущее» [44].

По-видимому, Ю. Самарину удалось доказать И. Аксакову, что общественная роль славянофильства еще не сыграна. Но, когда И. Аксаков вместо журнала решил издавать газету «День», у Ю. Самарина возникли сомнения. Его письмо к И. Аксакову — свидетельство неуверенности лидера позднего славянофильства в убедительности славянофильских идей для русского общества шестидесятых годов: «Издание *газеты* как-то несвойственно нашему литературному назначению и не гармонирует с ним... Газета не может служить органом для постановки, определения и развития начал; ее задача: освещать современность с точки зрения начал уже известных или признанных. Наши же почти неизвестны и решительно не признаны. Отношение нашей мысли к современным, в воздухе носящимся понятиям таково, что во всех вопросах мы должны начинать с азбуки. Иначе не то, что не согласятся с нами, а просто не поймут нас. Между сороковыми годами и шестидесятыми — громадная разница. С противниками нашими того времени мы стояли на противоположных полюсах, но на одинаковом уровне; можно было говорить, мы понимали друг друга. Теперь для поколения, воспитанного Белинским, «Отечест[венными] записками», «Современником» и т. д., наша среда вовсе не существует».

В том же 1861 г. влиятельный член славянофильского кружка В. А. Черкасский высказал убеждение в том, что традиционное славянофильство кончилось. Он предлагал Аксакову «соединить «Вестник» и «День», прихватить по возможности сотрудников из «Московских ведомостей», «Нашего времени» и прочих журналов второстепенных и образовать сильный *московский* консервативно-либеральный орган, в противоположность петербургской журналистике, т. е. «Современнику» и К°».

Аксаков не принял совета Черкасского, он писал, что о союзе с Катковым «нечего думать; довольно того, что мы не ссоримся». Черкасский настаивал: «Совершенно необходимо во что бы то ни стало сойтись всей московской серьезной журналистике. Каткову,

Чичерину, Дмитриеву, Вам, Самарину». И вновь Аксаков ответил отказом: «Если придут к моим убеждениям, то я очень рад». В январе 1862 г. Черкасский написал: «В настоящую минуту и прежнее славянофильство и прежнее западничество суть уже отжитые моменты, и возобновление прежних споров и прежних причитаний было бы чистым византизмом... Нужно что-нибудь новое, соответствующее настоящим требованиям общества» [45].

Черкасский первым среди славянофилов заговорил об устарелости славянофильства, но поддержки не получил. В январе 1862 г. аксаковский «День» благодаря выступлениям за самоупразднение дворянства имел широкий успех, что Аксаков понимал как доказательство торжества славянофильских идей: «Созрело время, явилась историческая общественная потребность в восприятии идей того учения, которое выработали подвигами всей своей жизни Хомяков и Константин».

Сомнения и споры о судьбе славянофильства в 1861—1862 гг. подвели Ю. Самарина, И. Аксакова, В. Елагина, Ф. Чижова к мысли о необходимости дальнейшего развития славянофильского учения, следствием чего стало появление аксаковской теории «общества». В июле 1863 г. И. Аксаков убежденно писал Н. Н. Страхову, сотруднику почвеннического журнала «Время»: «Славянофилы могут все умереть до одного, но направление, данное ими, не умрет — и я разумею направление во всей его строгости и неуступчивости, не прилаженное ко вкусу и потребностям петербургской канканирующей публики». В последнем, в желании служить «и нашим, и вашим» (И. Аксаков) славянофилы постоянно обвиняли журналы братьев Достоевских. В почвенничестве они единодушно видели простую журнальную спекуляцию [46].

В 1863—1864 гг. серьезные разногласия среди славянофилов вызвал польский вопрос. Польское восстание 1863 г. стало пробным камнем для давнего славянофильского тезиса о праве каждого народа на самостоятельное развитие. «Да здравствует каждая народность!» — восклицал в 1857 г. К. Аксаков.

В 1864 г. по приглашению Н. А. Милютина высшие административные посты в Польше заняли Черкасский, Кошелев, П. Ф. Самарин. Видную роль в разработке польской политики царизма играл Ю. Ф. Самарин. Милютин и его сотрудники проводили в Польше великодержавную, русификаторскую политику.

Оставшиеся в Москве Ф. Чижов и В. Елагин осуждали действия варшавской администрации, отстаивали славянофильскую идею самобытного развития народов. Чижов называл Черкасского и Кошелева «ренегатами славянофильства», а В. Елагин писал: «63-му году не бывать 12-м и героям варшавским — бородинскими. Слезы, с которыми слышим и повторяем повесть о XII годе, и слезы, которые навертываются при памяти о 63, 64 и 65, противоположны, как восторг мученический и стыд». В. Елагин и Чижов думали о гласном отречении от «ренегатов славянофильства», но Аксаков отказался к нему присоединиться, и отречение не состоялось [47].

И. Аксаков пытался сгладить разногласия среди славянофилов. Его тактическая линия не была лишена оригинальности: легко и просто И. Аксаков отлучал спорившие стороны от славянофильства. В письме Ю. Самарину (май 1864 г.) он уверял, что В. Елагин «конституционалист и с аристократическими тенденциями — и настолько уже не славянофил». Одновременно обвинение в «неславянофильстве» он адресовал «варшавским героям»: «Я все-таки внутренне рад, что ты не участвуешь в администрации, рука в руку с диктатурой. Затем, какие же славянофилы Черкасский, Милютин и даже Кошелев?» Ю. Самарин, лечившийся за границей, резко отвечал: «Я шел рука об руку с властью в польском деле, я участвовал в составлении диктаторского проекта о крестьянах и подписал его, я настаивал на необходимости диктаторских средств для приведения его в исполнение... Если б Россия состояла из одних Елагиных, то мы давно бы проспали не только Варшаву, но и всю западную Русь». Почти одновременно Самарин сообщал Черкасскому, что Елагин, Чижов и Аксаков «рехнулись» на польском вопросе. Отзывы Черкасского были еще резче [48].

Расхождения в польском вопросе привели к распаду старого кружка московских славянофилов. Интереса к его сохранению не проявили ни И. Аксаков, Ф. Чижов и В. Елагин, ни Ю. Самарин, В. Черкасский и А. Кошелев. Обрывается регулярная переписка, редкими становятся встречи, сокращаются возможности в привычном для старого славянофильского кружка свободном обмене мнениями выработать единый взгляд на ход русской жизни. В 1866 г. Ю. Самарин признал распад славянофильского кружка: «В настоящую минуту партии у нас так сгруппировались, что ни к одной из них пристать нельзя, а один в поле не воин» [49].

Более, чем судьба кружка, Ю. Самарина, И. Аксакова и их единомышленников волновала судьба славянофильства. С середины 1860-х годов переписка славянофилов полна грустных размышлений. В последний год издания «Дня» Чижова беспокоило, что славянофилы теряют общественный авторитет, что славянофильство сводится к литературным упражнениям. Он писал Аксакову: «Большая часть наших сподвижников (между ними Гиляров, Бессонов), не скажу сознательно, еще того менее намеренно, высосали (т. е. изъяли, лишили, убрали. — *Н. Ц.*) из славянофильства общественное значение». У Чижова было предчувствие конца славянофильства, но он по-прежнему готов отстаивать славянофильские идеалы: «Следует практически решать жизненные вопросы; из всех прежних были бы пригодны Самарин и Вас. Елагин». В 1866 г., предлагая Аксакову стать редактором газеты московского купечества (что было бы практическим развитием теории «общества»), Чижов подчеркивал: «Время общих воззрений прошло, требуется дело». Сходной была позиция Ю. Самарина, который на закрытие «Дня» отозвался: «Бросим журнальную полемику, писание статей и т. д., пора специализироваться и браться за сочинение книг» [50].

Странная участь славянофильских идей занимала Ю. Самарина и Черкасского. Ю. Самарин (1865): славянофилы разработали «несколько мыслей, разумеется, на первых порах осмеянных публикою, но которые после перешли, значительно опошленные, в другие руки и которыми нас же теперь бьют». Черкасский (1867) размышлял «об отношениях нашего литературного мира к славянофилам, которых заодно и поносили и обворовывали»[51].

В течение нескольких лет от гордой уверенности И. Аксакова— «направление не умрет» — не осталось и следа. Мысли Аксакова все чаще обращаются в прошлое, в «*то время*», когда славянофильство было живым явлением русской жизни. Найдя в бумагах письмо Хомякова от 1855 г., он пишет Ю. Самарину: «Какое чувство сиротства испытываешь по прочтении!» Аксаков уверен: славянофильство кончается. В 1869 г. (из письма Д. Оболенскому): «Самое трагическое в нашем положении то, что у нас нет преемников, что за нами нет молодежи, а наши ряды редеют и стареют». В 1872 г. (из письма Ю. Самарину после смерти Гильфердинга): «Да, немного нас остается и никто не является на смену. Мы даже в буквальном смысле не подготовили себе преемников. Кроме Хомякова, все мы бездетны». Грустно звучат слова: «Я тороплюсь привести, по крайней мере, в порядок бумаги, свидетельствующие о прошлой работе, о прошлом движении». В 1869 г. Аксаков впервые подумал о составлении биографии Хомякова и Константина Аксакова. Для славянофильства наступала история[52].

В 1871—1872 гг. в «Вестнике Европы» печатались статьи А. Н. Пыпина о «литературных мнениях» николаевской эпохи. Предложенная автором история славянофильства не удовлетворила славянофилов. Аксаков раздраженно объяснял Суворину: «Отвращение говорить о себе так сильно, что я до сих не решаюсь взяться за перо, чтоб опровергнуть или выправить неверные данные о славянофильстве и славянофилах, которыми испещрены статьи борзописца Пыпина и вообще всех тех, которые трактуют нас как умерших и относятся к нам даже почти с высшим беспристрастием». Когда Пыпин, работая над книгой о Белинском, через К. Д. Кавелина и Ю. Самарина попросил познакомить его с бумагами К. Аксакова, И. Аксаков отказал: «Я не желаю содействовать пыпинской *неправде* и сообщать ему факты, близко касающиеся моего брата, для того, чтоб они, под пером Пыпина, предстали в ложном освещении». Упрек Аксакова не лишен оснований: «Когда Пыпин писал характеристику брата и вообще славянофилов, он не обращался ни к кому из нас за получением более верных сведений и напечатал, что с славянофилами западникам трудно было спорить потому, что славянофилы держались в более выгодной, в смысле правительственном, позиции, и оным иногда пользовались»[53].

Пыпинские статьи стали поводом к событиям, которые взволновали всех славянофилов. Происходили эти события в 1873—1875 гг., начало им положил Э. А. Дмитриев-Мамонов. Свидетель славянофильских бесед 1840-х годов, художник, годами живший

за границей, Э. А. Дмитриев-Мамонов написал статью о славянофильстве. Ощутив себя продолжателем дела Хомякова и И. Киреевского, он обвинял в бедах позднего славянофильства И. Аксакова и Ю. Самарина: «По смерти Киреевских, Хомякова и Константина Аксакова, сами их последователи в большинстве случаев затеряли главнейшие славянофильские предания. Они сошли с точки зрения своих предшественников, запутались». Статья была прочтена и одобрена В. А. и Е. И. Елагиными, Кошелевым и передана редактору «Русского архива» П. И. Бартеневу для напечатания.

П. И. Бартенева, в 1850—1860-е годы испытавшего влияние славянофильства и сотрудничавшего в аксаковских изданиях, содержание статьи смутило, и он показал ее И. Аксакову. Тот счел статью «легковесной и легкомысленной» и написал к ней примечания, полагая, что без них «статья помещена быть не может». Вскоре Аксаков превратил свои примечания в отдельную статью и потребовал от Бартенева поместить ее в одном номере со статьей Дмитриева-Мамонова. Чувствуя неловкость своей позиции, Аксаков разрешил стать Бартеневу «судьею между нами и разругать издательски нас обоих, меня, пожалуй, даже и более».

Аксаков хотел превратить свой ответ Дмитриеву-Мамонову в выражение общего мнения всех славянофилов и для того послал обе статьи на просмотр Ю. Самарину. Бартеневу он писал, что «заранее согласен на все приписки Самарина». Ю. Самарину, в то время тяжело больному, Аксаков сообщал: «Статья написана настолько ловко, что считается чуть ли не апологией покойных славянофилов, и мое недовольство объяснялось или могло быть объяснено как раздражение за личную обиду. Один из сотрудников Бартенева читал ее в разных домах, как статью замечательную, смелую, либеральную, представляющую Хомякова и пр. в самом сочувственном виде, и только оттеняющую в невыгодном свете, впрочем не без основания, нас с тобою. Не знаю, удовлетворительна ли моя статья. Нужно было бы побольше сарказма, на что я не мастер... О некоторых вещах я распространился более, имея в виду Пыпина и других, пишущих о славянофильстве. Хотел было прибавить еще несколько слов об отношении «последователей» к славянофильству Хомякова и проч., указать на различие исторических эпох и на различие задач, определить *неповторяемый* подвиг славянофильства, но побоялся, что статья будет и без того длинна».

Ю. Самарин, а вместе с ним Черкасский и Д. Ф. Самарин полностью одобрили статью Аксакова, которую можно, таким образом, рассматривать как выражение их общего мнения.

Статьи Дмитриева-Мамонова и Аксакова были напечатаны во второй книге «Русского архива» за 1873 г. Дмитриев-Мамонов был до крайности раздражен предварительной цензурой, которой подверглась его статья. Поведение Бартенева он считал недостойным, на Аксакова написал злые куплеты [54].

В чем суть спора между Дмитриевым-Мамоновым и Аксако-

вым? В своей статье Дмитриев-Мамонов обвинял последователей Киреевского, Хомякова и К. Аксакова в превращении «*свободнейшего* направления в патриотически благонамеренную доктрину». «Вот почему оно (славянофильство. — *Н. Ц.*) к началу 1860-х годов вдруг так распространилось по всему русскому царству, вдруг получило одобрение от всех маменек и генералов и приняло в свое лоно всех матушкиных сынков, желавших сделать карьеру». Суть учения новейших славянофилов Дмитриев-Мамонов видел в национализме, стремлении «все и всех русить» и в проповеди казенного православия, «полицейской веры». Верность традициям ранних славянофилов он представлял как залог обновления и дальнейшего развития славянофильства в 1870-е годы. Значение своей статьи Дмитриев-Мамонов видел в том, что она «представляет славянофильство *раскрытой* книжкой», в то время как Самарин и Аксаков «книжку закрыли для себя и остановились, а кто остановился, тот загнил».

Возражения Аксакова свелись к критике освещения Дмитриевым-Мамоновым раннего славянофильства, уточнению вопросов об отношении первых славянофилов к западноевропейской цивилизации, просвещению, православию. Составлявшие весь пафос статьи Дмитриева-Мамонова суждения об исчезновении «живого славянофильства» и о необходимости дальнейшего развития славянофильского учения он оставил без ответа. По сути дела, его статья стала признанием того, что он, Аксаков, не верит в возможность возрождения славянофильства.

Дмитриев-Мамонов вынес из спора с Аксаковым следующее убеждение: «...г. Аксакову в самом деле хотелось бы, чтобы я сказал, что дальше идти некуда, что все найдено, ложитесь, люди, и умирайте, как умерли мы, ваши передовые мыслители»[55]. Дмитриев-Мамонов верно оценивал позицию своего оппонента, но несомненно, что в их споре в исторической перспективе был прав Аксаков. Славянофильство действительно умерло или, пользуясь выражением Дмитриева-Мамонова, «сгнило». Полемика Дмитриева-Мамонова с Аксаковым стала, по нашему мнению, конечным рубежом в истории славянофильства как особого направления русской общественной мысли.

В 1876 г. в речи, посвященной памяти Ю. Ф. Самарина, Аксаков высказался с полной определенностью: «Юрий Федорович Самарин был из сонма тех трех, которые в истории русского общества осуществили тот умственный и нравственный процесс, что зовется славянофильством... В них троих — Хомякове, Константине Аксакове и Самарине — явилось, сложилось и ими же завершилось славянофильство как личное дело, как отдельный литературный и общественный стан, как особый период в нашей жизни, выработавший и указавший основы для дальнейшего развития русской мысли. С кончиною Юрия Федоровича Самарина, который еще недавно, в предисловии к одному из своих заграничных изданий, назвал себя «неисправимым славянофилом», начинается история для славянофильства»[56].

4

Потребность выявить отдельные этапы в развитии славянофильства возникла рано. В 1860-е годы, когда славянофильство было живым направлением русской общественной мысли, а славянофилы — влиятельными участниками общественных событий, современники, среди которых были А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, уловили и указали на отличие славянофильства А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, К. С. Аксакова от воззрений Ю. Ф. Самарина, Ф. В. Чижова, И. С. Аксакова. Возникло первое, основное и бесспорное деление славянофильства на раннее и позднее. Рубежом между двумя этапами истории славянофильства стал 1861 год. Эта дата — ключевая в истории России XIX в., в истории русского освободительного движения. Внутренняя история славянофильства полностью совпала с общим ходом русского исторического развития. В канун крестьянской реформы ушли из жизни зачинатели славянофильства — И. В. Киреевский, П. В. Киреевский, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков. После 1861 г. усилиями И. С. Аксакова, Ф. В. Чижова славянофильство подверглось определенной идейной переориентации. В первые пореформенные годы распался славянофильский кружок, отношения между славянофилами стали разительно непохожи на отношения хомяковского времени. Изменилась роль славянофильства в русской идейной жизни. Новая расстановка классовых и общественных сил в стране привела славянофилов к неуклонному сближению с западниками, в споре с которыми прошли первые два десятилетия славянофильской истории.

Деление славянофильства на раннее и позднее утвердилось в литературе. В разное время раннее славянофильство именовали старым, классическим, прежним, живым, ортодоксальным, истинным, коренным, первоначальным, дореформенным, учением первых или старших славянофилов. Позднее славянофильство называли новым, современным, пореформенным, учением нынешних или новейших славянофилов. Выделение двух этапов в истории славянофильства было принципиально важно, оно давало возможность конкретно-исторического изучения проблем славянофильства на *разных* этапах его развития. К сожалению, в большинстве работ о славянофилах подобное деление не было строгим.

В исторической литературе известны две более дробные периодизации славянофильства. Первая была предложена в 1900 г. П. Н. Милюковым и представляла собой примерную упрощенную схему. В развитии славянофильства он выделял три периода: период подготовительный (с первой половины 1820-х годов до середины 1840-х); период расцвета (с середины 1840-х годов до начала 1860-х); период разложения (с начала 1860-х до 1880-х и даже 1890-х годов). В схеме Милюкова содержались некоторые позитивные моменты. Он понимал славянофильство как конкретно-историческое явление; полагал, что наиболее полно исторический смысл славянофильства раскрылся в «период расцвета», когда

действовали А. Хомяков, И. Киреевский, К. Аксаков; перелом в истории славянофильства связывал с началом 1860-х годов, хотя год крестьянской реформы не был им назван. Вместе с тем схема Милюкова неудовлетворительна. Она никак не соотносится с историей славянофильского кружка, ее нечеткие датировки не мотивированы, внутреннее содержание периодов раскрыто в духе характерной для буржуазной историографии милюковского времени теории филиации идей. К славянофилам Милюков отнес не только А. А. Григорьева и Н. Я. Данилевского, но и К. Н. Леонтьева и В. С. Соловьева. Историк не столько изучал славянофильство, сколько спорил с ним [57].

Другая периодизация принадлежит С. С. Дмитриеву. Признав определяющее значение крестьянской реформы 1861 г. в истории славянофильства, исследователь, однако, отверг привычное деление славянофильства на раннее и позднее: «Такое разделение не вполне удовлетворяет, если при периодизации исходить не только из общих, широких исторических перспектив, но и из внутренних перемен в славянофильстве», Думается, С. С. Дмитриев был неправ. Именно внутренняя история славянофильства, если угодно — основы славянофильского мировоззрения указывают на отмену крепостного права как на рубежную дату в развитии славянофильства.

Периодизация С. С. Дмитриева насчитывает три этапа: первый (1839—1857) — «период становления и расцвета славянофильства», когда оно носит «по преимуществу теоретический характер»; второй (1858—1864) — «период практического приложения к действительности теоретических взглядов славянофилов»; третий (1865—1880) — «период заката и распада славянофильства, период превращения его в исключительно реакционное направление».

Комментируя периодизацию С. С. Дмитриева, Н. А. Цаголов писал: «Итак, первый этап — теоретический, второй — практический. Трудно изобрести более неудачное основание для характеристики этапов идейной эволюции». Замечание Цаголова справедливо. Научная ценность периодизации С. С. Дмитриева — в стремлении выявить характер «внутренних перемен» в славянофильстве, оградить историю славянофильства от судьбы его многочисленных эпигонов и «продолжателей» [58].

На наш взгляд, полностью сохраняет научное значение деление славянофильства на раннее и позднее. Именно эта, наиболее общая периодизация дает возможность дальнейшего выделения конкретных, хронологически четких этапов развития этого направления общественной мысли.

Историю славянофильства, его **первый** этап уместно начинать с событий зимы 1838/39 г. Сороковые годы — период становления славянофильства. В эти годы в общих чертах была выработана славянофильская историко-философская концепция, изложена теория «воспитания общества», определилось отношение славянофилов к главным вопросам русской жизни, прежде всего к вопросу о крепостном праве. К 1843—1844 гг. сложился славянофильский

кружок, где ведущую роль играли А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Д. А. Валуев, П. В. Киреевский, К. С. Аксаков. В 1845—1847 гг. были предприняты попытки создания славянофильского печатного органа. Полем деятельности славянофилов были московские литературные салоны, их выступления в печати были в эту пору редки, нерегулярны. Период становления славянофильства завершился в 1848 г., когда события европейских революций, казалось, подтвердили правильность противопоставления России и Запада и одновременно вызвали необходимость уточнения социально-политических взглядов славянофилов.

Второй этап истории славянофильства приходится на последнее, «мрачное» семилетие николаевского царствования (1848—1855). Это был период утверждения славянофильства, превращения его в цельное мировоззрение. Историко-философская сторона славянофильства в применении к русской истории получила развитие в теории «земли» и «государства», предложенной А. С. Хомяковым, уточненной и обогащенной фактами К. С. Аксаковым. На основе учения о «земле» и «государстве» К. С. Аксаков разработал политическую теорию «негосударственности» русского народа. Усилиями Ю. Ф. Самарина, А. И. Кошелева, И. С. Аксакова, В. А. Черкасского были предприняты первые подступы к практической разработке планов отмены крепостного права. В общественной жизни за славянофилами закрепилась репутация оппозиции николаевскому режиму. Возможность гласного, публичного выражения славянофилами своих убеждений почти отсутствовала.

Третий этап истории славянофильства начался, условно говоря, 19 февраля 1855 г., в день смерти Николая I, и продолжался до 19 февраля 1861 г. Это был период действенного славянофильства, когда славянофилы искренне верили в возможность скорого осуществления своих идеалов. Главные их усилия были сосредоточены на двух направлениях. Во-первых, участие в подготовке крестьянской реформы. Здесь крупную роль сыграли Ю. Ф. Самарин, В. А. Черкасский, А. И. Кошелев. Во-вторых, завоевание русского общественного мнения. В эти годы выходили первый славянофильский журнал «Русская беседа» и первая славянофильская газета «Молва». К концу третьего этапа стало очевидно, что славянофильство, которое было порождением николаевского времени, болезненной реакцией русского либерализма на наступление правительственной идеологии, в новых общественных условиях неспособно привлечь внимание русской интеллигенции. Третий этап завершил историю раннего славянофильства.

Четвертый этап (1861—1875) был последним в истории славянофильства. В начале 1860-х годов И. С. Аксаков, Ф. В. Чижов, В. А. Елагин попытались обновить славянофильское учение, в результате чего возникла теория «общества». Следование выводам теории «общества» сблизило славянофилов с крупным московским купечеством. Важное значение имели опыты Ю. Ф. Самарина, И. С. Аксакова, А. И. Кошелева в развитии славянофильской по-

литической теории: именно эта сторона славянофильства в наибольшей степени противоречила классическим либеральным представлениям. В середине 1860-х годов распался славянофильский кружок, углубились серьезные идейные разногласия среди славянофилов, наступил кризис славянофильской идеологии. К середине 1870-х годов славянофильство изжило себя и перестало существовать как особое направление русского общественного движения.

В дополнение к изложенной периодизации выскажем некоторые замечания. Во-первых, история славянофильства — часть истории русского общественного движения середины XIX в. Изучать славянофильство вне событий этого времени невозможно. Кризис крепостничества, 1848 год, Крымская война, общественная борьба эпохи отмены крепостного права, утверждение буржуазных отношений — важнейшие вехи русской истории, откликом на которые было славянофильство.

Во-вторых, на всех этапах истории славянофильства для его последователей было характерно бесспорное единство теории и практики. Странно звучит недавнее утверждение В. А. Кошелева: «Славянофилы сознательно никогда не выступали (по крайней мере, до 1855 г.) как *деятели*»[59]. Славянофилы не были кабинетными мыслителями, погруженными в русские летописи и сочинения отцов церкви, оторванными от российской действительности. Не были они и беспринципными практиками, чьи действия никак не соотносятся с выставленными идеалами. Славянофильская мысль, славянофильское «слово» переходили в жизнь, в «дело». Но, как однажды обмолвился Ю. Самарин, «в меру возможности». В этом была суть славянофильского либерализма, как и либерализма в целом.

В-третьих, было бы неправильно недооценивать значение последнего, четвертого этапа истории славянофильства, сводить его к упадку и деградации славянофильского учения. Главная линия в развитии позднего славянофильства — постепенный отход от специфически славянофильских мнений, оценок, убеждений, слияние с другими направлениями либерального движения на основе неопределенной программы земского либерализма. История этого слияния может быть прослежена в судьбе журнала, который, с большими оговорками, должен быть назван последним славянофильским периодическим изданием. Это журнал «Беседа» (1871—1872) под редакцией С. А. Юрьева. Финансировал журнал А. И. Кошелев. «Беседа» была органом умеренного земского либерализма, окрашенного в славянофильские тона. Материалы журнала не отличались последовательностью, Аксаков отказывал ему в праве «на какое-либо преемство от прежних славянофилов». Кошелев же полагал, что «Беседа» заключала в себе много хороших статей и, по направлению вообще, нельзя было ее не одобрять».

В общественной жизни конца 1860 — начала 1870-х годов Ф. В. Чижов, А. И. Кошелев, Ю. Ф. Самарин, В. А. Черкасский (московский городской голова в 1869—1871 гг.), И. С. Аксаков, С. А. Юрьев стояли на умеренно-либеральных позициях. В либе-

ральные тона было окрашено их последнее совместное выступление — участие в составлении адреса Московской городской думы Александру II по поводу ноты А. М. Горчакова об отмене условий Парижского мира. Адрес 1870 г., главная роль в подготовке которого принадлежала В. А. Черкасскому, И. С. Аксакову, Ф. В. Чижову, Ю. Ф. Самарину, содержал требования буржуазных свобод: совести, слова, печати, общественного мнения. Результатом адреса стала отставка Черкасского с поста московского городского головы, очередная опала на славянофилов. Однако считать московский адрес 1870 г. явлением славянофильской мысли нет оснований. Славянофильство исчезло, растворившись в общем потоке либерального движения [60].

Последнее, четвертое замечание вынуждает к некоторым подробностям. Связано оно с побочной линией в развитии позднего славянофильства — сближением со славянофильством-славянолюбием. В этой связи важны история журнала «Заря» (1869—1872) под редакцией В. В. Кашпирева и изучение эволюции общественно-политических взглядов И. С. Аксакова.

«Заря» претендовала быть славянофильским изданием. Ведущей темой публикаций журнала, где деятельно сотрудничали В. И. Ламанский, О. Ф. Миллер, Н. Н. Страхов, где печаталось сочинение Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», была пропаганда идей «всеславянства», единения славян в борьбе с Западом. Восприняв традиции славянофильских, в частности аксаковских, изданий с их устойчивым вниманием к славянскому миру, редакция «Зари» отошла от славянофильства в сторону политического панславизма. В журнале обсуждались планы создания славянской федерации, утверждалась мысль о неизбежности войны для разрешения Восточного вопроса, который понимался по преимуществу как славянский. Программой «Зари» стала книга «Россия и Европа» Н. Я. Данилевского, которую Н. Н. Страхов назвал «кодексом славянофильства».

Следует ли считать Н. Я. Данилевского представителем славянофильства? Ответ на этот вопрос важен для истории позднего славянофильства, его идейной эволюции. Не входя в детальный разбор всего комплекса идей Н. Я. Данилевского (что является давно назревшей задачей изучения русской общественной и исторической мысли), выскажем соображения, основанные на нашем исследовании книги «Россия и Европа», жизни и взглядов ее автора. Первое: Н. Я. Данилевский никогда не был членом славянофильского кружка (в молодости он петрашевец), его личные связи с некоторыми славянофилами (И. С. Аксаков) были случайны и непродолжительны. В узком, кружковом, смысле он не славянофил. Второе: философская основа построений Данилевского — последовательный позитивизм. Религиозно-философские искания А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, Ю. Ф. Самарина ему безразличны, его философия истории противоположна славянофильской. Данилевский — антигегельянец, ему чужда идея единства и преемственности мирового исторического процесса. В историко-фи-

лософском смысле он не славянофил. Третье: в 1860-е годы, когда писалась «Россия и Европа», Данилевский — противник реформ, буржуазных свобод, либеральной внутренней политики. В этом, общественно-политическом, смысле он не славянофил. Четвертое: краткие замечания Данилевского об особом русском общественно-экономическом устройстве, «справедливо обеспечивающем народные массы» и основанном на «общинном земледелии и крестьянском наделе», внешне близки социально-экономическим воззрениям славянофилов. Но есть больше оснований говорить о том, что к середине 1860-х годов (время написания «России и Европы») Данилевский сохранил долю увлечений молодости, когда он, по отзыву Ф. М. Достоевского, был «ярым фурьеристом».

В целом историко-философские и социально-политические взгляды Н. Я. Данилевского, его общественная позиция в 1860-е годы (и тем более позднее) не совпадают с воззрениями поздних славянофилов. Истоки взглядов Данилевского не могут быть прослежены и в раннем славянофильстве. При изучении эволюции славянофильства обращение к системе взглядов Данилевского неправомерно. От позднего славянофильства Данилевский был далек, в общественной жизни России 1860-х годов он стоял на позициях консервативных. «Россия и Европа» — развернутая программа русского панславизма накануне Восточного кризиса 1870-х годов[61].

Славянофилов издавна отличал интерес к судьбе славянских народов, они искренне желали освобождения южных славян. Но выступления с позиций панславизма для них не были характерны. В начале 1870-х годов положение изменилось. Мысль о необходимости политическими и военными средствами ускорить освобождение южных славян и включить их в сферу влияния России стал отстаивать И. С. Аксаков. Два обстоятельства определили его путь к панславизму: горькое чувство конца славянофильства и резкое обострение Восточного вопроса (субъективно И. Аксаков ощущал себя прежде всего другом южных славян, их спасителем). Отход от славянофильства у Аксакова сопровождался отходом от либерализма вообще. Главным в его воззрениях к середине 1870-х годов стали положения, которые могут быть охарактеризованы как консервативно-националистические. В 1874 г. Аксаков написал работу о Ф. И. Тютчеве. Он рассуждал о панславизме Тютчева, высоко оценивал его суждения о задачах русской внешней политики. Это была книга о поэте-панслависте, написанная панславистом-поэтом. Славянофильство Аксаков понимал как «исторический момент, уже отжитый».

Идеи Аксакова восторженно приветствовал известный панславист Р. А. Фадеев, которому они открыли «новые перспективы» в славянофильстве, доказали, что славянофильство «способно к дальнейшему развитию». Что «славянофильство» Р. А. Фадеева и И. С. Аксакова в 1870-е годы было славянофильством-славянолюбием, об этом свидетельствует позднейшее признание Аксаковым выводов Данилевского, книгу которого он назвал явлением славя-

нофильской мысли, где автор «совершенно самобытным путем пришел к тождественному учению с Хомяковым и Аксаковым»[62].

Общественно-политическая эволюция Аксакова не была характерна для большинства бывших славянофилов, чьи убеждения до конца жизни оставались умеренно-либеральными. Настойчивые указания Аксакова на его «славянофильство» в годы Восточного кризиса, когда его имя стало известно всей России, во время издания газеты «Русь» (1880—1886), вызывали раздражение оставшихся в живых участников старого славянофильского кружка. В начале 1880-х годов Кошелев записал: «В обществе и литературе продолжали нас обоих считать единомышленниками-славянофилами; и это было мне очень неприятно; ибо я был глубоко убежден, что пора так называемых славянофильства и западничества безвозвратно миновала»[63].

5

«Славянофильство не было добросовестно изучаемо даже теми, кто думает оказать ему честь, причисляя себя к последователям-продолжателям», — утверждал в 1880 г. О. Ф. Миллер. Слова Миллера не были преувеличением. В том же году критик либерально-народнического журнала «Русское богатство» А. Горшков доказывал ненужность изучения идей «пасынков русской истории». Суждения Горшкова — пример нигилистического отношения к изучению славянофильства: «Не идеи Хомякова интересны, а условия, породившие их; интересны и поучительны те жизненные влияния, которые наложили свою печать на умственную деятельность столь высокодаровитого человека, сводя ее, в конце концов, к нулю или даже менее, чем к нулю».

Сетования на то, что идеи славянофилов, их сочинения неизвестны даже исследователям и «продолжателям» славянофильства, высказывались и позднее. В отклике на смерть И. С. Аксакова Н. Н. Страхов писал (1886): «В истории нашего литературного и умственного движения нет ничего печальнее судьбы славянофильства». В 1893 г. в разгар журнального спора о «воскрешении» и «разложении» славянофильства известный историк К. Н. Бестужев-Рюмин приветствовал появление второго тома исследования Н. П. Колюпанова. Он выразил надежду: «Авось либо когда-нибудь перестанут считать славянофилов апостолами невежества и утверждать, что они дроби считали ересью». Спор о славянофильстве в 1891—1893 гг. был бурным, его участники — А. Н. Пыпин, В. С. Соловьев, Н. Н. Страхов, А. А. Киреев, С. Н. Трубецкой, П. Н. Милюков, Н. П. Аксаков, А. В. Васильев — выказали немало остроумия, но биограф Хомякова В. З. Завитневич не без основания писал: «Особенно поразило нас невежество, с каким мы встретились в трудах, посвященных вопросу о «разложении славянофильства»... авторы этих трудов, несмотря на всю свою развязность, не прочитали сами ни одной славянофильской книги»[64].

Завитневич назвал важную причину промахов буржуазной ис-

ториографии: неудовлетворительное изучение источников по истории славянофильства. Понятно, что ошибочные выводы авторов, писавших о славянофильстве в конце XIX — начале XX в., имели и другие, более глубокие причины, которые в конечном счете коренятся в неверной методологии, но вопрос о том, как складывался корпус источников по истории славянофильства, как этот процесс влиял на изучение проблемы, заслуживает внимания.

До 1856 г., когда было начато издание «Русской беседы», славянофилы не имели постоянного печатного органа. Важнейшие документы раннего славянофильства не были известны за пределами избранного круга посетителей московских салонов. Образованная Россия, читатели журналов николаевского времени судили о славянофильстве из вторых рук, знали славянофильские идеи в пересказе. Цензура искажала те немногие статьи, что попадали в печать. Университетские кафедры для славянофилов были закрыты. Участью славянофильского кружка было «священное молчание Москвы», о котором говорил С. Т. Аксаков. Особенно редко славянофилы выступали в печати 1848—1855 гг., в 1852 г. на литературную деятельность ведущих деятелей кружка был наложен цензурный запрет. В 1853 г., после появления в печати написанной им биографии Загоскина, С. Т. Аксаков писал: «Цензура уничтожила все, что дает характерную цветность моей статье, все, что намекает на мой собственный затаенный образ мысли». Некоторые работы славянофилов остались ненаписанными. В 1847 г. И. Киреевский отказался от мысли закончить программное для «Москвитянина» 1845 г. «Обозрение современного состояния литературы»: «Продолжения моих статей в трех книгах «Москв[итянина]» я решительно теперь писать не могу. С тех пор столько переменилось вещей и дел, что надобно бы писать сначала, если бы писать о том же. К тому же я теперь совсем отстал от текущей словесности». После смерти Н. В. Гоголя Хомяков размышлял о трагедии последних дней жизни писателя: «Я бы мог написать об этом психологическую студию; да кто поймет, или кто захочет понять? А сверх того и печатать будет нельзя» (VIII, 209).

Славянофилы должны были соблюдать осторожность «в речах и письмах». Письма, вскрытые органами политического сыска, не раз служили причиной серьезных неприятностей для славянофильского кружка. В письме Кошелеву (сентябрь 1854 г.) И. Аксаков не удержался от замечания: «Обо многом, очень обо многом хотел бы я сообщить Вам, но решительно не должно и просто глупо было бы писать при современном положении почтовой корреспонденции и почтовой любознательности» [65].

В «Русской беседе» (1856—1860), «Молве» (1857), «Сельском благоустройстве» (1858—1859) славянофилы получили возможность излагать свои воззрения. Издание газеты «Молва» К. С. Аксаков специально задумал для того, чтобы представить на суд читателей свод основных положений славянофильства: «Надобно, чтоб был высказан взгляд нашей стороны на все, высказан просто, ясно, решительно, как тезис без доказательств». Передовые

статьи К. С. Аксакова в «Молве» действительно дают редчайшую возможность целостного изучения основ славянофильской идеологии (как их понимал К. Аксаков).

В материалах «Русской беседы» важное место заняли статьи авторов, которые не были членами славянофильского кружка, — Н. И. Крылова, В. В. Григорьева, Т. И. Филиппова. По разным причинам эти статьи привлекли внимание русской общественности, создали искаженное представление о славянофильстве.

В пореформенные годы основным источником сведений о славянофильстве были материалы аксаковской газеты «День», с направлением которой не соглашались многие славянофилы. Заграничные брошюры А. И. Кошелева и Ю. Ф. Самарина оставались почти неизвестными русской общественности. Как видим, современникам было непросто составить верное представление о славянофильстве, уловить оттенки славянофильской мысли [66].

В 1861 г. было начато издание сочинений старших славянофилов. Первыми вышли в свет сочинения И. В. Киреевского. Мысль об их издании возникла в 1856 г., но цензурные препятствия казались тогда непреодолимыми. После смерти И. Киреевского Хомяков писал: «Кажется мне, об издании его сочинений и думать нельзя. Первые запрещены, последние заподозрены и почти запрещены; но собрать их надобно». Два тома сочинений И. В. Киреевского издал А. И. Кошелев, редактировали их В. А. и Н. А. Елагины. Сочинения И. Киреевского изданы были относительно полно. Небольшие цензурные пропуски были восстановлены полвека спустя, в 1911 г., когда под редакцией М. Гершензона вышло второе издание работ И. Киреевского. В это издание были включены и письма основоположника славянофильства. Из позднейших публикаций следует отметить публикации западногерманского исследователя Э. Мюллера [67].

В 1861 г. под редакцией И. С. Аксакова был издан первый том сочинений К. С. Аксакова. В него были включены исторические сочинения, многие из которых прежде не публиковались. Издание работ К. Аксакова имело важное общественное значение, в начале 1860-х годов аксаковские размышления о земских соборах были политически актуальны. По выходе книги И. Аксаков объяснял Блудовой: «Статьи о земских соборах имеют целию удержать народ и общество от честолюбивых мечтаний политических, которые ...зарождаются, если укажете на государство, как на цель, полнейшее воплощение истины. Народ захочет тогда принять участие в государстве». В том же письме он жаловался на цензуру: «Но должен Вам сознаться, что цензурные стеснения способны меня выводить из себя и заставить смотреть на правительство как на орду татарскую! Что может быть гаже цензуры! И что за дело, что вот так-то думал Конст. Аксаков и так-то думает надворный советник Ив. Сергеевич Аксаков! Государство что ли от этого развалится! Хрупкое же оно! Нечего тогда за него и стоять!» Именно цензура помешала И. Аксакову исполнить обещание, данное в предисловии к первому тому, — издать следующие

пять томов сочинений брата. В 1878 г. Аксаков пояснял: «Нужно приготовить к изданию письма брата и его еще не изданные сочинения, неизданные потому, что печатать их в России, при нашем цензурном произволе, невозможно». К 1880 г. он издал два тома филологических трудов К. Аксакова, но том статей «по современным общественным вопросам» не был подготовлен, а материал этот представляет первостепенный интерес для историка русской общественной мысли. Бо́льшая часть литературного наследия К. Аксакова до настоящего времени не введена в научный оборот [68].

Исключительное значение славянофилы придавали изданию сочинений А. С. Хомякова. В январе 1861 г. Ю. Ф. Самарин приглашал к составлению плана издания А. И. Кошелева и Н. П. Гилярова-Платонова. А. Ф. Гильфердинг следил за перепискою рукописей Хомякова, переводы иностранных текстов делали Гиляров-Платонов, Д. А. и М. А. Хомяковы. Славянофилы отказались от мысли печатать все сочинения Хомякова в России. Ю. Самарин писал: «Самые капитальные его сочинения — исторические записки и богословские труды — не могут быть изданы здесь, я в этом окончательно убедился, пересмотрев их». Первое, неполное собрание сочинений Хомякова в 4-х томах печаталось с 1861 по 1873 г. в Москве и Праге.

На примере издания работ Хомякова видно, что при отборе рукописей к печати редакторы-славянофилы руководствовались не только цензурными соображениями. В 1861 г. И. Аксаков обратил внимание на статью «Об общественном воспитании в России», в которой Хомяков, между прочим, утверждал, что «положительное вмешательство правительства в дело общественного образования так же законно, как и отрицательное его влияние». Аксаков обратился к Ю. Самарину с вопросом, стоит ли печатать статью Хомякова, а «если печатать, то с выпусками или без выпусков». Обоснование права правительства на вмешательство в общественные дела казалось Аксакову несвоевременным. Он писал: «Нужно ли говорить, как опасен такой совет в настоящую минуту, когда правительство положительно неспособно к разумному вмешательству, а между тем вмешивается самым уродливым, самым безобразным образом, и когда зло настоящей минуты заключается именно в неуместном вмешательстве государства?»

В 1900 г. Д. А. Хомяков издал в Москве «Полное собрание сочинений» А. С. Хомякова в восьми томах. Издание с большой полнотой представляет наследие Хомякова, но не свободно от недостатков. Издатель подчас неверно датирует письма, в ряде случаев ошибочно указаны даты статей. Например, упомянутая статья «Об общественном воспитании в России», которая впервые была напечатана полностью, отнесена к 1858 г. (I, 351), хотя из переписки Хомякова ясно, что он писал ее по заказу Блудовых в 1850 г. (VIII, 396—397, 400) [69].

В 1886—1887 гг. были изданы публицистические работы И. С. Аксакова, подготовленные к печати его вдовой А. Ф. Акса-

ковой, которой помогали О. Ф. Миллер и С. Ф. Шарапов. Издание А. Ф. Аксаковой неполно, в него преимущественно вошли передовые статьи и не были включены статьи и заметки, которыми И. Аксаков наполнял разные отделы своих газет. Значение этого издания в том, что оно позволяет установить авторство Аксакова в тех случаях, когда он помещал передовые статьи в газетах «Молва», «Москвич» нерегулярно и без подписи. Богатейшая переписка Аксакова до настоящего времени остается в архивах, издана ее малая часть [70].

Сочинения Ю. Ф. Самарина выходили в течение долгого времени, с большими перерывами. Первый том был напечатан в 1877 г., двенадцатый — в 1911. Издание осталось неоконченным. Большинство томов редактировал Д. Ф. Самарин, который столкнулся с цензурными препятствиями. Несколько политических трактатов Ю. Самарина было опущено, для публикации других потребовалось особое разрешение Александра III. Изданию присущ высокий для того времени научный уровень: прежде напечатанные статьи по возможности сверялись с рукописями, внесенные исправления оговаривались, в некоторых томах были полезные комментарии. Большой интерес для истории славянофильства представляют вводные статьи Д. Ф. Самарина [71].

Сочинения И. Киреевского, А. Хомякова, К. Аксакова, Ю. Самарина, И. Аксакова составили корпус источников по истории славянофильства, который в основном сложился к началу XX в. Идейное наследие славянофилов представлено в нем неравномерно. По цензурным причинам, по соображениям общественным и семейным издатели преимущественно публиковали религиозно-философские, исторические сочинения славянофилов, их художественные произведения и работы по национальному вопросу. Статьи общественно-политического содержания подчас оставались неизвестны исследователям. Практически вне области научного анализа находилась переписка славянофилов. Между тем для истории славянофильства крайне характерно, что важнейшие положения учения выдвигались и получали подробное обоснование именно в переписке, в обмене «посланиями». Провести грань между доверительным письмом, имеющим частный интерес, и публицистикой, облеченной в форму личного письма, в эпистолярном наследии славянофилов практически невозможно. Большинство писем К. С. Аксакова, письма молодого И. С. Аксакова, многосторонняя переписка И. Киреевского, А. Хомякова, А. Кошелева, В. Черкасского, И. Аксакова по философским вопросам в 1850—1853 гг., славянофильские письма кануна падения крепостного права, переписка Ю. Самарина, И. Аксакова, Ф. Чижова, В. Елагина в начале 1860-х годов — чистая публицистика. По нашим, очень приблизительным подсчетам, только в архивохранилищах Москвы и Ленинграда (ЦГИА, ЦГАОР, ЦГАЛИ, ИРЛИ, ГБЛ, ГПБ, ГИМ) в настоящее время хранится более 9000 писем ведущих представителей славянофильства. Только писем Ю. Самарина издатели его сочинений выявили около 2200. Исследование огромной переписки славяно-

филов — важная источниковедческая задача, решение которой расширит наше представление о славянофильстве, позволит глубже понять его место в истории русской общественной мысли.

Предварительным этапом изучения эпистолярного наследия славянофилов следует считать выработку правильной методики выявления, учета и систематизации писем. Сложность этой задачи показывает попытка О. Н. Трубецкой обработать переписку славянофилов за 1857—1862 гг., хранящуюся в архиве В. А. Черкасского. Работая под наблюдением В. О. Ключевского, Трубецкая составила две книги «Материалов для биографии кн. В. А. Черкасского», которые содержат ценнейшие сведения о деятельности славянофилов в период подготовки крестьянской реформы. Трубецкая умело решила трудную задачу размещения материала, ее изложение подчинено строгой хронологической и логической последовательности. Издание Трубецкой поныне служит незаменимым источником по истории славянофильства. Однако признать его удовлетворительным нельзя. Проведенная нами сплошная сверка писем В. Черкасского, Ю. Самарина, А. Кошелева, И. Аксакова, опубликованных Трубецкой, с подлинниками показывает, что составитель последовательно опускала самые острые общественно-политические высказывания славянофилов, сглаживала их оппозиционность. В письмах Черкасского, Самарина, Кошелева были изъяты характеристики деятелей губернских комитетов, отзывы о представителях сановной верхушки России, размышления о конституции. В совокупности это — первоклассный материал для истории «кризиса верхов». К примеру, в письме Ю. Самарина от 26 октября 1858 г. Трубецкая не полностью привела рассказ о бурных спорах в Самарском губернском комитете и безоговорочно опустила фразу, которой Самарин подвел итог споров: «Все струсили единовременно и в одинаковой степени, так что никто даже не сумел воспользоваться трусостью своего противника. Одним словом, поступили так, как подобает благородным российским дворянам».

Сделанные купюры оговаривались в редких случаях. По-видимому, О. Н. Трубецкой руководили не только цензурные соображения, но и желание подчеркнуть лояльность славянофилов, их стремление сотрудничать с правительством. В канун первой русской революции издание Трубецкой должно было стать историческим свидетельством важности согласных действий царского правительства и либеральной общественности. Для исследователя русской общественной мысли потери, которые переписка славянофилов понесла в издании Трубецкой, весьма серьезны.

В последнее десятилетие советскими учеными проделана определенная работа по расширению введенных в научный оборот источников по истории славянофильства. Особенно следует отметить публикации В. А. Кошелева. Однако говорить о переломе еще рано. Без обращения к архивным материалам не может обойтись любое исследование по истории славянофильства [72].

Избирательный подход в публикации источников неизбежно

приводил буржуазных исследователей к смещению акцентов в истории славянофильского кружка, неправомерному выделению отдельных сторон учения, и в итоге — к искажению главного содержания и исторического смысла славянофильства. Для буржуазной историографии характерно преимущественное внимание к славянофильской философии истории, к работам по национальному вопросу. Экономические и общественно-политические воззрения славянофилов изучались недостаточно.

6

Славянофилы всегда ощущали «потребность в философии» (А. И. Кошелев), прошли (особенно старшие — А. Хомяков, И. Киреевский, П. Киреевский, А. Кошелев, К. Аксаков, Ю. Самарин) хорошую философскую школу. В литературном наследии А. Хомякова, И. Киреевского, Ю. Самарина философские сочинения занимают большое место. Буржуазная наука — и русская дореволюционная, и современная зарубежная — богата исследованиями о влиянии на славянофилов европейской философии, особенно Гегеля и Шеллинга. Отрицать воздействие идей крупнейших представителей классической немецкой философии на А. Хомякова и И. Киреевского, К. Аксакова и Ю. Самарина было бы нелепо. Философия истории славянофилов, при всей оригинальности учения Хомякова о борьбе иранского и кушитского начал, восходит к философии истории Гегеля. В ее основе лежит гегелевская идея единства и преемственности развития мировой истории, идея движения мирового духа. Глубоко славянофильская мысль о будущем высоком предназначении России в истории человечества — мысль, которая строго логически вытекает из гегелевской схемы развития мировой цивилизации. Остановив в публичных лекциях движение мирового духа у границ России, Гегель в частных высказываниях был последователен. В 1821 г. он писал подданному России фон Икскюллю: «Ваше счастье, что отечество Ваше занимает такое значительное место во всемирной истории, без сомнения имея перед собой еще более великое предназначение. Остальные современные государства, как может показаться, уже более или менее достигли цели своего развития, быть может, у многих кульминационная точка оставлена уже позади и положение их стало статическим. Россия же, уже теперь, может быть, сильнейшая держава среди всех прочих, в лоне своем скрывает небывалые возможности развития своей интенсивной природы»[73].

Славянофилы никогда не отрицали воздействия Гегеля. Его философия истории давала твердое основание проникнутой оптимизмом исторической концепции раннего славянофильства. В 1840-е годы убежденными гегельянцами были молодые К. Аксаков, Ю. Самарин, А. Попов. Позднее Ю. Самарин вспоминал: «Своеобразные начала, высмотренные нами в исторических памятниках древней России и, наконец, опознанные нами в современной жизни русского народа, встретились с занесенными к нам философ-

скими формулами, и эта встреча разрешилась рядом давно забытых попыток соглашений. Между ними построение русской истории по гегелевскому закону двойного отрицания занимает, по странности своей, далеко не первое место»[74].

В философии Шеллинга славянофилов привлекала мысль о возможности примирения науки и религии, проблема развития национальных начал, интерес к духовной жизни отдельных народов. Однако неоспоримое влияние Гегеля и Шеллинга не может служить основанием для сведения истории славянофильства к истории интерпретации их идей в России и, тем более, для утверждения мысли о вторичности славянофильства по отношению к философии европейского романтизма. И дело не только в нередких критических замечаниях славянофилов в адрес немецких философов, не в знаменитом выводе Ю. Самарина, сделанном после 1848 г.: «Между Гегелевою философиею и коммунизмом Франции существует самая тесная, самая законная связь» (XII, 432).

Истоки историко-философских построений славянофилов следует искать в России, в русской действительности первой трети XIX в. Принципиальное значение имеет свидетельство позднего славянофила Н. П. Гилярова-Платонова, о котором Хомяков однажды сказал: «Из всех нас Николай Петрович всех одномысленнее со мною». В 1875 г. в отзыве на сочинения К. Аксакова Гиляров-Платонов писал: «За отысканием родины славянофилов нужно отправляться не в Германию к Гегелю, а, оставаясь в той же России, отодвинуться ко временам Екатерины II и Александра I. Россия была наверху могущества, национальная слава воспевалась; мы хвалились собою, мы любовались. Чего стоит один двенадцатый год! Из самовосхваления образовалась целая литература... Для того, чтобы создавать системы о превосходящем величии русского народа и его, так сказать, мессианском призвании, не надобно никакого Гегеля»[75].

Не входя в подробный разбор работ современных буржуазных ученых, отдавших дань изучению европейских влияний на славянофильство (исключительно богаты ценными наблюдениями исследования Э. Мюллера, А. Глизона, Н. Рязановского, П. Христова), отметим, что мысль о западных корнях славянофильства странным образом преломилась в выводах советского автора В. И. Холодного, который видит в славянофильстве «разновидность зачаточного теоретического антикоммунизма». Суждения В. И. Холодного, пожалуй, предел антиисторического подхода к проблемам славянофильства[76].

Указание на русские корни славянофильства важно, но его совершенно недостаточно для исторической оценки явления. Некоторые дореволюционные авторы отстаивали именно мысль об изначальной самобытности славянофильства, выводили его из православия русского народа. Н. П. Аксаков, например, утверждал: «Славянофильство не теория, а именно непосредственная жизнь в народе и в церкви без всякой предвзятой теории, но с постоянным напряжением мысли и чувства». В одной из своих книг русский

религиозный философ Н. А. Бердяев писал: «Славянофильство, конечно, выросло из религиозного опыта, а не из книжных влияний, не из философских и литературных идей. В этом все его значение... То был религиозный опыт всего русского народа за тысячелетнюю его историю, религиозный опыт восточного православия, претворенного в русской душе».

Эти суждения были основаны на явном преувеличении (особенно у Бердяева) одной из сторон славянофильства — религиозных исканий, обращения к православной патристике (в основном после 1848 г.). В 1853 г., например, Кошелев писал Черкасскому: «Я прошел через ваше состояние. Утопал в делах, пичкал голову и Локками, и Кантами, и Шеллингами, с страстью занимался науками положительными, считал чуть-чуть не все суеверием, но пришел к убеждению, что все это суета из сует. Да, суета из сует, все это, взятое в отдельности; но все это получает смысл, становится божьим миром, когда освещается одною истинною истиной». Кошелев имел в виду православие[77]. Исключительное значение славянофилы склонны были придавать религиозно-философским занятиям И. Киреевского в последние годы его жизни. После смерти мыслителя Хомяков сожалел: «...Мы могли надеяться видеть когда-нибудь у себя начало новой философской эры, которой позавидовали бы другие народы» (VIII, 228). Но ни И. Киреевский, ни остальные славянофилы не сводили славянофильство только к православию, к истолкованию творений «отцов церкви».

Освобожденная от «православной оболочки» мысль о славянофилах как исключительно религиозных мыслителях была до абсурда доведена М. О. Гершензоном в его «веховской» концепции истории русской общественной мысли. В славянофильстве и западничестве, полагал Гершензон, «столкнулись две психологии: религиозная и рационалистическая. Одна группа составилась из людей, в которых врожденные задатки космического чувства окрепли и развились под влиянием ближайшей среды и воспитания, другая — из людей, в которых эти задатки, более слабые, вероятно, от природы, были заглушены воспитанием и наукой. Так возникли два лагеря и две программы; одна гласила: *внутреннее устроение личности*, другая — усовершенствование общественных форм»[78].

«Вехи» и «веховская» историческая концепция действительно стали, по словам В. И. Ленина, вехами «на пути *полнейшего разрыва* русского кадетизма и русского либерализма вообще с русским освободительным движением, со всеми его основными задачами, со всеми его коренными традициями»[79].

В смягченном виде мысль об исконной самобытности славянофильства вела к утверждению, что оно было проявлением русского «народного чувства», уникальной формой национального самосознания. Об этом писали почти все участники спора 1891—1893 гг. С. Н. Трубецкой, например, полагал, что славянофильство «составляет первую попытку нашего общественного самосознания». Эта точка зрения приводила (поскольку исключалась мысль о том, что

и западничество было формой национального самосознания) к отождествлению славянофильства с национализмом, славянофилам приписывалась ненависть к Западу, убеждение в превосходстве России над Европой. Главное же — историческое значение славянофильства видели в осмыслении национального вопроса. Авторы, благожелательно настроенные к раннему славянофильству, видели в нем «истинный и просвещенный патриотизм» (С. Н. Трубецкой). «Славянофильство, — полагал Н. Н. Страхов,—есть просвещенный, идеализированный патриотизм, и нужно полагать, он уже никогда не заглохнет ни в грубом и слепом патриотизме, ни в безжизненном космополитизме» [80].

Усматривать содержание, «стержень» славянофильства в проповеди национальной исключительности, в национализме или «просвещенном патриотизме» исторически и методологически неверно, просто обидно для памяти И. Киреевского, А. Хомякова и Ю. Самарина. Между тем подобные утверждения встречаются и в современной советской литературе. Ю. З. Янковский недавно писал: «В едином комплексе философско-исторических и литературно-эстетических воззрений славянофилов определяющим признаком выступает *идея русской национальной исключительности*, то есть имманентного, изначального превосходства России над другими народами и нациями». Попыткой вывести славянофильство за пределы общественно-политических интересов середины XIX в., снять вопрос о его социальной природе следует считать утверждение В. П. Попова, что в славянофильском учении оживали древние, доклассовые общинные представления русского народа. В приверженности славянофилов к русскому эпосу, в «славянофильском образе жизни» автор видит выражение русского самосознания вообще. Выводы В. П. Попова поражают абсолютной бездоказательностью, неисторизмом мышления [81].

Трудности в выявлении главного содержания славянофильства привели современного американского историка П. Христова к постулированию «неопределимости» сути славянофильского учения. Это суждение словно подсказано самими славянофилами. В 1857 г. К. Аксаков писал: «Между славянофилами нет формального, принудительного единства, все их единство — в главных, существенных основаниях, поэтому не боятся они его нарушить горячими, открытыми спорами между собою в частностях; черта... чисто народная, историческая: неохота формулировать своего направления». В чем заключались «главные, существенные основания» славянофильства? В 1857 г. К. Аксаков об этом умолчал, но однажды, в середине 1840-х годов он попытался назвать основные признаки славянофильства. В статье «Отголоски о новом происхождении имени славян и славянофилов» он указал пять признаков: «основа всего духовного, разумного и нравственного бытия нашего хранится в нашей православной церкви»; сочувствие древней Руси; сочувствие русскому народу; любовь к Москве; сочувствие к «племенам славянским». Статья К. Аксакова была написана под впечатлением споров с западниками, и аксаковские «при-

знаки» славянофильства были не более как полемически преувеличенными указаниями на основные пункты спора.

На подлинную основу знаменитых споров западников и славянофилов, на исторический смысл западничества и славянофильства верно указал П. В. Анненков: «...Между партиями таилась, однако же, одна связь, одна примиряющая мысль, более чем достаточная для того, чтоб открыть им глаза на общность цели, к которой они стремились с разных сторон... Но еще не наступило время для разъяснения этого примиряющего начала, лежавшего в зерне посреди бранного поля и беспрестанно затаптываемого ногами борцов. Зерно, однако же, проросло, несмотря на все невзгоды, как увидим. Связь заключалась в одинаковом сочувствии к порабощенному классу русских людей и в одинаковом стремлении к упразднению строя жизни, допускающего это порабощение или даже именно на нем и основанного. Покамест никто еще не хотел видеть сродства в основном мотиве, двигавшем обе партии, и, когда по временам мотив этот обнаруживался сам собой, партии наши торопились поскорее замять его» [82].

Признание русских корней славянофильства получает конкретно-исторический смысл тогда, когда оно раскрывает нерасторжимую связь учения с проблемами российской действительности 1840—1860-х годов, т. е. времени существования славянофильского кружка. Это был период, когда, по словам В. И. Ленина, «*все* общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками» [83]. Это положение В. И. Ленина служит ключом к определению главного содержания славянофильства, к изучению проблем славянофильской истории.

Буржуазная историография не сумела понять основное содержание славянофильства, верная мысль Анненкова осталась незамеченной. Единственный, кто подошел к решению вопроса о социальной природе славянофильства, был Н. П. Колюпанов. Возражая Пыпину, который объяснял появление славянофильского учения Хомякова влиянием романтизма и немецкой философии, он писал: «Хомяков был помещик, никогда и нигде он не отказывался от этого социального положения, следовательно, в нем и лежит разгадка. Для того, чтобы найти точку отправления мировоззрения Хомякова или, другими словами, общую черту славянофильского учения, необходимо выяснить значение дворянства и существовавших в среде его традиций» [84].

Четкое решение вопроса о классовой природе славянофильства и его историческом значении принадлежит советским ученым. Опираясь на творческое наследие В. И. Ленина, на ленинскую концепцию истории русского освободительного движения, исследователи раскрывают плодотворность марксистской методологии в изучении сложных проблем общественной мысли. Не ставя здесь задачи сколько-нибудь подробно охарактеризовать советскую историографию славянофильства, отметим, что главной линией в оценке его классового характера стало понимание славянофильства как одного из течений раннего российского либера-

лизма. Предложенная С. С. Дмитриевым, эта точка зрения нашла дальнейшее развитие в работах Е. А. Дудзинской, В. А. Китаева, А. Н. Цамутали, Н. Г. Сладкевича, Ю. И. Герасимовой, Ю. З. Янковского, Ш. М. Левина, С. Н. Носова, а также авторов коллективного труда «Литературные взгляды и творчество славянофилов». Сущность славянофильского либерализма понимается, правда, различно. Если С. С. Дмитриев видел в славянофильстве «теорию помещичью» и полагал, что «славянофильство 40—50-х годов не было идеологией русской буржуазии», то в работах Е. А. Дудзинской и В. А. Китаева прослеживаются буржуазные тенденции в славянофильской теории. Непростой характер учения славянофилов Ю. З. Янковский попытался определить как противоречие «патриархально-дворянского либерализма». В славянофильстве он усмотрел «ощутимый консервативно-прогрессистский утопический оттенок». Последнее высказывание, надо признать, понять непросто. Против «однозначного определения» славянофилов как дворян-либералов выступил В. А. Кошелев. Исследователь придерживается восходящего к Г. В. Плеханову понимания славянофильского учения как реакционного. Оговорка — «в историко-философском смысле» — не вносит желанной ясности. Вместе с тем в работах В. А. Кошелева, содержащих новый фактический материал, убедительно раскрыто принципиальное несходство позиций славянофилов и погодинского «Москвитянина», близость западничества и славянофильства [85].

Методологически правильный подход к оценке славянофильства возможен при учете глубокого высказывания В. И. Ленина: «Исторические заслуги судятся не по тому, что *не дали* исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они *дали нового* сравнительно со своими предшественниками» [86].

Важное место в учении славянофилов занимали *общественно-политические* взгляды. Именно они определяли место славянофильства в русской идейной жизни. Отстаивая свои общественно-политические убеждения, пытаясь утвердить их в сознании русского общества, славянофилы тем самым выражали свое понимание прошлого и настоящего России, свою мечту о будущем, облекали в плоть свои историко-философские размышления. Изучение славянофильских общественно-политических взглядов уясняет исторические заслуги славянофилов, исторический смысл славянофильства.

Глава третья

СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ СЛАВЯНОФИЛОВ

1

К числу давних, устойчивых традиций, которые сложились в литературе о славянофильстве, принадлежит отказ большинства исследователей от внимательного изучения политических теорий славянофилов. Существующие в историографии оценки общественно-политических взглядов славянофилов основаны на анализе их практической общественной деятельности, сделаны с учетом их высказываний по конкретным вопросам русской жизни. Эти оценки сами по себе крайне любопытны и могут быть предметом особого изучения, но при всем их разнообразии они объединены одним — их авторы специально не занимались исследованием славянофильской политической мысли. Бесспорное единство политической теории и общественной практики славянофилов в исторических работах оказалось разрушенным. Общественная позиция славянофильского кружка в 1840-е годы, политическая активность Ю. Ф. Самарина, В. А. Черкасского, А. И. Кошелева, К. С. Аксакова в период подготовки крестьянской реформы, публицистика славянофилов, имевшая прежде всего общественно-политическое значение, изучены лучше, чем славянофильские политические теории.

Односторонность такой исторической традиции очевидна, а ее прочность объясняется, на наш взгляд, двумя обстоятельствами. Во-первых, нередкие высказывания славянофилов о благодетельности для России неограниченной монархии представлялись настолько ясными, что серьезный анализ их политических воззрений мог показаться излишним. Давно стал общепринятым взгляд на славянофилов как на сторонников самодержавия, противников иных форм государственного устройства. В советской исторической литературе его с особой четкостью изложил С. С. Дмитриев: «Славянофильство — система взглядов монархическая, теория, враждебная буржуазным формам политического строя стран Западной Европы. Славянофилы — монархисты» [1].

Верная как общий вывод, эта точка зрения не передает всего своеобразия и существенного разнообразия оттенков славянофильской политической мысли, упрощает ее. Формула «славяно-

филы — монархисты» не раскрывает характер монархизма славянофилов, не отражает особенностей их политических идеалов. Нельзя думать, что эта формула исчерпывает содержание политических представлений членов славянофильского кружка. Она оставляет открытым вопрос о социальной сущности политической программы славянофилов и, по нашему убеждению, предполагает необходимость углубленного изучения их общественно-политических взглядов, ясность которых обманчива.

Второе обстоятельство, которое снижало интерес исследователей к славянофильской политической мысли, заключалось в недооценке ее места в славянофильском учении. Этот вывод сформулировал в 1878 г. К. Д. Кавелин: «Славянофильство было исключительно научной, исторической, философской и теософической доктриной, без всякого политического характера». Сходное мнение неоднократно высказывали сами славянофилы, подчеркивая, что они «выше политики», а их направление имеет характер «общественный». Принимать на веру высокомерные отзывы славянофилов о «политических вопросах» нельзя. Их стремление стать «выше политики» укладывается в четкие пределы политической доктрины, недооценивать значение которой было бы несправедливо.

Большое заблуждение видеть в славянофилах практиков общественной борьбы, чьи социально-политические идеалы не были соотнесены с реальной политической программой, как об этом писал в своих воспоминаниях Б. Н. Чичерин: «Ни одной путной мысли о так называемых русских началах они не высказали, а рассеяли только множество кривых воззрений, которые немало содействовали господствующему ныне умственному хаосу. В практическом же отношении лучшие из них легко сходились с западниками, ибо цель у тех и других была одна: расширение свободы». Еще бóльшим заблуждением следует признать мнение А. Н. Пыпина, который в политической теории славянофилов видел «нечто, так сказать, пастушеское и наивно-мечтательное» и отводил ей место в области «пасторальной поэзии», а мысль о необходимости освобождения крестьян считал чуждой славянофилам, чьи общественные воззрения «в сороковых и в начале пятидесятых годов высказывались почти только общими заявлениями о ложности нашего образования и необходимости связи с народом» [2].

Облегченный подход к общественно-политической теории славянофилов не только ведет к искажению (у Пыпина — грубому) их взглядов на российскую действительность, но и препятствует правильному пониманию развития русской политической мысли XIX в. Изучение же твердых, вовсе не «пасторальных» и в некоторых аспектах детально разработанных политических воззрений славянофилов в их становлении и развитии делает более полным и верным наше представление о славянофильском учении, дает исключительно важный материал для суждений об эволюции славянофильства, позволяет уяснить некоторые политические

традиции российского либерализма. Верно писал в 1940 г. С. С. Дмитриев: «Для окончательного ответа на вопрос об общем историческом смысле и значении славянофильства как одного из важных направлений русской общественной мысли, совершенно необходимо подвергнуть изучению социально-политические взгляды славянофилов». К сожалению, не потеряло значения и другое замечание исследователя: «До настоящего времени суждения об общих социально-политических взглядах славянофилов носят характер публицистический, как правило, не основаны на предварительной научно-исследовательской работе»[3].

Обобщающего исследования взглядов славянофилов на государственное и общественное устройство, на политическое развитие русского общества нет. Известны немногие специальные работы. Книга П. Линицкого «Славянофильство и либерализм» (1882) содержит подчеркнутое противопоставление политических идеалов славянофилов взглядам русских либералов. Свою резкую критику славянофильства автор основывал на тщательном разборе историко-философских и богословских взглядов А. С. Хомякова и К. С. Аксакова, уделив мало внимания их политико-правовым представлениям. Вероятно, определенную роль в таком освещении темы сыграли цензурные соображения. Мысль Линицкого о принципиальном отличии славянофильства от либерализма (или западничества) отвергалась многими исследователями и в настоящее время не кажется верной, но высказанное им соображение об изменчивости взглядов славянофилов заслуживает серьезного внимания: «Как славянофильство, так и либерализм всегда вращались в сфере вопросов и идей преимущественно практических, а потому значительно изменялись вместе с переменою исторических обстоятельств и условий общественной жизни: ни то ни другое направление не могло таким образом сложиться в строго определенную, законченную систему».

Брошюра М. Д. Чадова (1906) о политическом учении славянофилов «в прошлом и настоящем» была явно неудачна и не оказала влияния на историографическую традицию. Славянофильство Чадов смешивал со «славянофильством»-национализмом, считал славянофилами дворян-реакционеров начала XX в., чьи политические взгляды критиковал с либеральных позиций. В славянофилах он видел врагов идеи народного представительства, политические воззрения К. С. Аксакова «ввиду их яркой формулировки и типичности» относил к политической доктрине «всего старого славянофильства» и оценивал ее как «весьма причудливое» учение, «представляющее удивительную смесь политического либерализма с идолопоклонническим культом власти, отрицающее, с одной стороны, вмешательство государства в народно-общественную жизнь и возводящее в идеал самодержавие — с другой».

Статья А. А. Андрианова (1972) не содержит новых материалов и выводов, и, главное, автор смешивает разновременные высказывания деятелей раннего и позднего славянофильства[4].

Содержательные наблюдения над отдельными сторонами славянофильской политической программы были сделаны советскими историками А. С. Нифонтовым, А. А. Михайловым, Н. Г. Сладкевичем, В. В. Гармизой, Е. А. Дудзинской, В. А. Китаевым, тонкие попутные замечания можно найти в работах Н. П. Колюпанова, В. С. Соловьева, А. К. Бороздина, С. А. Венгерова, Б. Э. Нольде, в исследованиях современных западных авторов Н. Рязановского, Э. Мюллера, П. Христова, А. Глизона, Р. Штуппериха, Г. Хукке. Наличие интересных суждений по отдельным вопросам — преимущественно о социально-политических взглядах И. В. Киреевского, К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина — выявляет назревшую необходимость целостного изучения политических представлений славянофилов в их становлении и развитии и одновременно создает предпосылки для успешного решения этой трудной задачи. Настоящая глава является предварительной попыткой обобщающего исследования такого рода.

2

Суждения об общественно-политических взглядах славянофилов, высказываемые в литературе, разнообразны и противоречивы. Разногласия, начало которых можно проследить, обратившись к русской публицистике 1840—1870-х годов, касаются широкого круга вопросов, и в первую очередь общей, итоговой оценки политической доктрины славянофилов. Спектр высказанных здесь суждений широк: от подозрений в радикализме и революционных замыслах до обвинений в человеконенавистничестве и реакционности.

Первым следствием разноречивости оценок было рано возникшее сомнение в уместности определения общественно-политической позиции славянофилов при помощи понятий «либеральная», «консервативная», «радикальная», «реакционная», которые были достоянием отвергаемой славянофилами западноевропейской политической жизни и потому не имели смысла в применении к «русской самостоятельной политической теории». Эту мысль не раз высказывал на страницах «Руси» И. С. Аксаков. Особенно четко он изложил ее в 1881 г. в письме А. И. Кошелеву, в брошюре которого «Где мы? Куда и как идти?» славянофилы причислялись к «русскому либеральному направлению». Аксаков возражал: «Как Вам не претит эта пошлось деления на *либералов* и *консерваторов*? Это чистейшее западничество, и, конечно, Хомяков отверг бы такую пошлую себе кличку. Нет русского «либерального» направления, может быть только истинное и ложное, здоровое и вредное направление, направление *русское* и *антирусское*». В «Записках» Кошелева содержится прямой отклик на аксаковские слова: «Ни Хомяков, ни кто-либо из нас никогда не высказывался против либерализма, либералов и всего того, чем ограждаются личные и имущественные права людей; мы даже упрекали западников в недостатке либерализма, ибо они навязывали

народу учреждения, постановления и мнения, которым он нисколько не сочувствовал». Далее Кошелев с мягким юмором писал об И. Аксакове, который в душе считал только себя истинным либералом, именуя всех остальных «лжелибералами»: «Прибавка «лже» к слову либерал нисколько не изменяла смысла нападок, а показывала только самомнение человека, употреблявшего это слово: он считал только себя здравомыслящим либералом, а остальной люд — глупцами или мошенниками».

Ссылаясь на Хомякова, и Аксаков и Кошелев не были вполне правы. Хомяков вовсе не отвергал применения к русской общественной жизни понятий «либерал», «консерватор», свои взгляды он характеризовал как «консерваторство», которое «есть постоянное усовершенствование, всегда опирающееся на очищающую старину» (VIII, 212). Мнение Аксакова заимствовано не у Хомякова, оно восходит к словам из внимательно им прочитанной статьи специалиста в области политико-правовых теорий А. Д. Градовского «Старое и новое славянофильство» (1878): «Мы не ошибемся, сказав, что вместо всех наименований западников и славянофилов, консерваторов и либералов, нигилистов и церковников, социалистов и экономистов, мы можем поставить два названия — людей честных и плутов, причем в обе эти категории войдут одинаково люди всех теоретических оттенков, и категория плутов будет гораздо многочисленнее партии честных людей, и каждая из них сойдется на общем деле» [5].

Повторив слова Градовского, Аксаков, как видим, сделал иной вывод. Утверждение И. Аксакова о необходимости особого подхода к «русскому направлению» справедливо не принималось в расчет серьезными исследователями, но в апологетической литературе «продолжателей» славянофильства оно приобрело значение неоспариваемой истины. Его логичным итогом было невежественное заявление С. Шарапова, знатока теории «государства» у славянофилов: «Если русская самостоятельная мысль по вопросу о государственном устройстве нашла себе выражение, то именно у славянофилов. Вся остальная русская политическая литература представляет изложение чужих идей, отголосок разнообразнейших западноевропейских течений» [6].

Оставляя здесь в стороне вопрос о «самостоятельности» политической доктрины славянофилов, укажем, что заявления вроде шараповского вызывали в ответ утверждения, которые отнимали у славянофильской политической мысли всякое значение. А. Д. Градовский в 1881 г., после опубликования в «Руси» записки К. С. Аксакова «О внутреннем состоянии России», назвал взгляды славянофилов «политической астрологией» и сделал вывод: «У нас принято думать, что славянофилы отрицают «западные формы». Но они идут гораздо дальше: они отрицают необходимость форм *вообще*. Их политическое учение есть *теория юридически-бесформенного государства*, государства «по душе», государства, построенного на одних нравственных началах» [7].

Вслед за Градовским (а прежде Градовского на этом настаи-

вал К. Аксаков) некоторые авторы подчеркивали «нравственный», аполитичный характер славянофильского учения, обращали внимание на нереалистичность, своеобразный утопизм политических представлений славянофилов. Известный публицист А. А. Головачев писал об этом в 1881 г. в журнале «Русская мысль». Его статья «Наш экономический недуг» имела принципиальное значение, она должна была оградить журнал, который воспринимался тогда как «орган славянофильства» (слова С. А. Юрьева), от солидарности с политическими идеями аксаковской «Руси». И. Аксаков представлялся Головачеву своего рода Бурбоном славянофильства, который «ничему не научился, ничего не хочет видеть и, представляя себе идеал в допетровском периоде русской истории, твердит о каком-то Эдеме, имеющем возникнуть вследствие единения власти с народом, — единения, основанного на нравственных началах. Когда же либеральная пресса обращается к нему с вопросом: «Укажите же, как этого достигнуть, какие практические приемы нужно употребить для этого», тогда он или ничего не отвечает, или высказывает бессмысленные фразы, которых, конечно, и сам не понимает. Для довершения комизма, он очень недоволен и существующим порядком, хотя в этом порядке нет ничего похожего на общественную жизнь Западной Европы. Он желал бы и свободы слова, и свободы совести, и свободы личности, и, наконец, представительства в виде земских соборов» [8].

Выводы Головачева (он верно подметил путанность политических представлений позднего И. Аксакова) неоднократно в той или иной форме варьировались авторами, писавшими о социально-политических взглядах славянофилов. Двойственность, противоречивость, утопизм (по Головачеву, «бессмысленность»), «нравственный» характер политических пожеланий, недовольство существующим порядком — обязательные общие места многих суждений о социально-политической программе славянофилов.

Статья Головачева обращает наше внимание и на политические идеалы И. Аксакова периода издания «Руси», которые публицист «Русской мысли» считал несомненно славянофильскими. На этом следует остановиться. Конечно, И. Аксаков не был в 1880-е годы славянофилом, но его имя, его авторитет, его талант публициста и опыт общественного деятеля немало способствовали тому, что о политических взглядах славянофилов судили (в те годы и позднее) по статьям газеты «Русь». Головачев не был в этом оригинален и, чем точнее он судил о политических идеалах редактора «Руси», тем дальше уходил от верной оценки славянофильской политической теории.

В чем выражались политические идеалы И. С. Аксакова в начале 1880-х годов? Ответ на этот вопрос во многом проясняет истоки тех суждений об общественно-политических взглядах славянофилов, что высказаны в литературе.

В 1879—1881 гг. под впечатлением роста революционного движения, в обстановке демократического подъема и связанной с

ним поляризации общественных сил Иван Аксаков твердо стоял на позициях, которые можно определить как консервативно-националистические. Он открыто встал в ряды сторонников самодержавия и всеми силами отстаивал свои убеждения. Аксаков был откровенно враждебен революционному движению, с недоверием и презрением относился к деятельности российских либералов.

Политическую обстановку в стране он трактовал своеобразно, уверяя своих корреспондентов и читателей, что «петербургская либеральная партия, начинающаяся с высот, нижним своим краем примкнула к действующим подпольным силам и старается навязать им *свою* программу, вместо анархической, т. е. воспользоваться их средствами терроризации для проведения своих конституционных планов».

Аксаков не переоценивал оппозиционности российских либералов и в действительности не верил в возможность их союза с революционным движением. Огульное обвинение «так называемых либералов» в том, что они «ни в бога, ни в самодержавие не веруют» и являются «отцами нигилизма», ставшее штампом поздней аксаковской публицистики, было нехитрым приемом, с помощью которого он надеялся убедить правительство в существовании опасного «антирусского и конституционного» направления и в необходимости принять к исполнению его, Аксакова, политическую программу. Именно в это время он выдвинул и настойчиво пропагандировал в своей публицистике «русский политический идеал», сводившийся к формуле: «самоуправляющаяся местно земля с самодержавным царем во главе». Формулу эту Аксаков считал «несравненно шире всякой западной республиканской формулы, где есть политическая свобода, т. е. парламентский режим в столицах, а самоуправления нигде — и социальное почти рабство внизу» [9].

Политический смысл этой «формулы» вскрыл В. И. Ленин в работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма», где, упомянув о суждениях И. С. Аксакова, указал на «необходимую связь между местным самоуправлением и конституцией» [10].

Аксаков видел эту связь, но самым тщательным образом стремился затушевать ее в своей публицистике, выставляя себя убежденным противником конституции и конституционных учреждений. В действительности его отношение к конституции было не лишено тонкости, которую лучше всего раскрыл он сам в письме к Миллеру, написанном 8 мая 1881 г., когда в газете «Русь» была опубликована записка К. С. Аксакова «О внутреннем состоянии России»: «Когда им (либералам. — *Н. Ц.*) я указываю на «самодержавие и самоуправление», то они сглупа не понимают, что это есть венец либеральных вожделений общества, основа действительная для всякого, в нужном случае, представительства. Это есть постоянное практическое выражение той же идеи, какая выражена и в «Записке» К. С. (Аксакова. — *Н. Ц.*) теоретически и формулируется: «Государство и Земля», которых союз

выражается в некоторых случаях в Земском соборе»[11]. Разъяснять либералам их «глупость» Аксаков, деятельно озабоченный в то время пропагандой идеи Земского собора в правительственных кругах, полагал излишним.

И. Аксакову было присуще маниловское стремление примирить самодержавие с представительными учреждениями, «борьбу против парламентаризма» он предлагал вести так, чтобы «она не выходила в пользу петербургского абсолютизма»[12]. Логика политической борьбы начала 1880-х годов выявила иллюзорность представлений Аксакова о возможности существования некоего «представительного самодержавия» и неизбежно вела его в ряды защитников самодержавной власти. «Формула», ставшая для Аксакова сутью его политических воззрений, оправдывала, по определению В. И. Ленина, «известную тактику полицейского правительства»[13].

Публицистика Аксакова, свидетельствовавшая о его искреннем стремлении к воплощению «формулы» в жизнь, не встречала поддержки в правящих сферах. Когда Аксаков решился выпустить сборник, составленный из передовых статей, напечатанных им в газете «Русь» за первые полгода ее издания, то брошюра, как излагающая «проект глубокого изменения нашего государственного строя», не была разрешена к печати.

Цензором аксаковской брошюры «Взгляд назад» был К. Н. Леонтьев, в то время сотрудник московского цензурного комитета. Его доклад сыграл главную роль в запрещении издания. Леонтьев, который позднее, вопреки своей воле, прослыл «продолжателем» славянофильства, сделал подробный разбор славянофильских взглядов на государственное устройство. Его выводы в высшей степени важны как для оценки славянофильской политической теории, так и для характеристики «разочарованного славянофила». Настоящие славянофилы, по мнению Леонтьева, «были всегда врагами так называемой конституции», но в их теории государство, как видно и из брошюры Аксакова, есть «некий чрезвычайно оригинальный союз земских, в высшей степени демократических республик с государем во главе; государем, положим, самодержавным в принципе, но лишенным почти всяких органов для исполнения его царской воли». Для Леонтьева, реакционера умного, твердого, московские славянофилы всегда были «слишком либеральными», на них лежал отпечаток ненавистного ему «эгалитаризма». Выводы доклада, осевшего в делах московского цензурного комитета, не противоречили позднейшей оценке общественно-политических взглядов славянофилов, что содержалась в «Автобиографии» Леонтьева: «Если снять с них пестрый бархат и парчу бытовых идеалов, то окажется под этим приросшее к телу их обыкновенное, серое, буржуазное либеральничанье, ничем существенным от западного, эгалитарного свободопоклонства не разнящееся»[14].

Нельзя не признать, что о славянофилах Леонтьев судил глубже, точнее (и злее), чем большинство его современников. Но

в одном он несомненно повторял либерала Головачева: и для него публицистика аксаковской газеты «Русь» — выражение славянофильского учения. Цель, к которой И. Аксаков осознанно стремился, была достигнута. Его «русский политический идеал» был воспринят как повторение давних славянофильских теорий.

Определенную роль в этом сыграла публикация в мае 1881 г. в газете «Русь» записки К. С. Аксакова «О внутреннем состоянии России». Печатая работу старшего брата четверть века спустя после ее написания, И. Аксаков преследовал довольно очевидные политические цели. Хорошо осведомленный о колебаниях в правительственных кругах после убийства Александра II, И. Аксаков в марте—апреле 1881 г. энергично обличал конституционные симпатии либеральных кругов, проповедовал свои излюбленные мысли о гибельности конституционного устройства для России и о необходимости возвращения к «истинно русским» началам. Манифест 29 апреля 1881 г., в котором провозглашалась вера Александра III «в силу и истину самодержавной власти», И. Аксаков встретил с радостью. В передовой статье «Руси» от 9 мая 1881 г. он писал, что Россия «вздохнет свободно, узнав, что исторические основы ее бытия пребывают незыблемы», и обрушивался на газеты «известного пошиба», называя их «суеверами европейских либеральных форм». Он одинаково отрицательно отзывался и о «европейских учреждениях известного шаблона», и об азиатском деспотизме, и о государстве полицейского типа, заявляя, что «самоуправляющаяся местно земля с самодержавным царем во главе — вот русский политический идеал». Полное представление о «русском политическом идеале» и должна была дать «Записка» К. Аксакова, начало которой было напечатано в том же номере.

В статье, специально посвященной «Записке», И. Аксаков подчеркивал, что она печатается с целью «выяснить, наконец... общие основы русской народной политической мысли». Взглядам брата И. Аксаков придавал характер непререкаемой истины, писал о пророческом свойстве его суждений, хотя и признавал, что К. Аксаков был не практический деятель, а «идеалист» [15].

Пояснения И. Аксакова заметно повлияли на восприятие «Записки» К. Аксакова в русской периодической печати. «Основы русской народной политической мысли» в изложении К. Аксакова были подвергнуты строгому разбору в статьях либеральных публицистов. Вслед за И. Аксаковым комментаторы «Записки» видели в ней документ современной общественно-идейной борьбы. Время становления «Записки» в расчет не принималось, обстоятельства, вызвавшие ее появление, не были известны. Основная политическая идея К. Аксакова — теория «негосударственности» русского народа — была с недоумением встречена даже людьми, близкими к славянофильству, — А. И. Кошелевым, С. А. Юрьевым. Особое раздражение в либеральной среде вызывали защита К. Аксаковым самодержавной монархии и его неприятие конституционного строя. Либеральные публицисты не су-

мели отличить общественно-политические выводы «Записки» 1855 г. от позиции И. Аксакова, а саму записку «О внутреннем состоянии России» рассматривали как типичный образец славянофильской политической мысли, имеющий притом программный характер. Об этом, собственно, и писал И. Аксаков в своих публицистических статьях. Его частные высказывания, где он признавал, что «Записка» не была апологией самодержавия и что «русский политический идеал», в ней изложенный, не исключает представительных учреждений, общественного значения не имели.

Записка «О внутреннем состоянии России» К. Аксакова — важнейший памятник славянофильской мысли. Это бесспорно. Но ее появление в 1881 г. в газете «Русь» привело к тому, что в литературе возникла тенденция упрощать общественно-политические воззрения славянофилов, сводить их к теории «негосударственности», которая в свою очередь воспринималась с позиций общественной борьбы начала 1880-х годов. Между тем теория «негосударственности» К. Аксакова возникла в иную, николаевскую эпоху, она не имела, вопреки утверждениям И. Аксакова, вневременного, пророческого характера, ее оценка требовала исторического подхода, и, главное, взгляды К. Аксакова не исчерпывали славянофильской политической теории.

Историки и литературоведы не раз обращались к «Записке». Их привлекало четкое изложение исторических и политических взглядов К. С. Аксакова, а блестящая литературная манера автора, его парадоксальные афоризмы способствовали превращению «Записки» в часто и обильно цитируемый источник по истории славянофильской политической мысли. Накопилось немало ученых и публицистических оценок этой работы, но они далеко не всегда основаны на конкретном анализе аксаковского текста. Важнейшие вопросы: об истоках историко-политических построений К. Аксакова, о месте его теории «негосударственности» в системе славянофильских воззрений, о типичности взглядов, изложенных в «Записке», для славянофильской среды — до настоящего времени изучены слабо. Большинство авторов, писавших об общественно-политических взглядах славянофилов, допускали, на наш взгляд, ошибку, считая суждения К. Аксакова типичными для всех славянофилов, а его «Записку» — программным документом славянофильского кружка. В разное время после 1881 г. об этом писали В. С. Соловьев, А. К. Бороздин, М. Д. Чадов, А. А. Корнилов, Н. Л. Бродский. В советской исторической литературе это положение долгое время не было пересмотрено. Н. Г. Сладкевич, к примеру, считал «Записку» «одним из программных документов славянофильской группы»[16].

Аксаковская «Записка» словно препятствовала исследователям изучать другие политические бумаги славянофилов, делала излишним расширение круга источников по истории славянофильской политической мысли, а мнение о типичности взглядов К. Аксакова оправдывало этот упрощенный подход. В историографии славянофильства сложилось положение, когда мнения, высказан-

ные о «Записке» К. Аксакова в год ее публикации и связанные прежде всего с оценкой тогдашней политической позиции И. Аксакова, существенно влияли не только на суждения об историко-политических взглядах К. Аксакова, но и на более общие представления о социально-политических аспектах славянофильского учения. Именно поэтому внимание к политическим идеалам И. Аксакова начала 1880-х годов представляется нам небесполезным.

Характер воздействия взглядов, высказанных в 1881 г. по поводу записки «О внутреннем состоянии России», на последующие работы легко проследить. Большинство исследователей ограничивалось повторением и уточнением суждений предшественников. Вл. Соловьев в «Очерках из истории русского сознания» увидел в «Записке» «срединную точку в истории самого славянофильства. Ею завершается развитие славянофильской *мысли* и начинается проверка этой мысли на деле». Мысль К. Аксакова о «негосударственности» русского народа В. С. Соловьев назвал «исторической фантазией» и провозгласил «главным тезисом старого славянофильства». Не касаясь здесь сути соловьевских обличений «вопиющей фальши славянофильской доктрины», отметим, что в суждениях собственно о «Записке» Соловьев не был оригинален, он исходил из представлений о типичности взглядов К. Аксакова для славянофильства 1840—1850-х годов, а основные политические положения «Записки» считал общими всему «старому славянофильству». Насколько подобное понимание политических теорий славянофильства стало общепринятым, свидетельствует тот факт, что Д. Ф. Самарин, пристрастно разобравший воззрения В. С. Соловьева, не остановился на этом вопросе.

Обстоятельно исследуя внутренние противоречия теории К. Аксакова, В. С. Соловьев указал вслед за Головачевым на «внутреннюю двойственность непримиренных и непримиримых мотивов, которая с самого начала легла в основу этого искусственного движения». В славянофильстве, по его мнению, «реакционно-археологический мотив» борьбы против петровской реформы, против западно-европейских начал «во имя древней московской Руси» переплетался с «прогрессивно-либеральной борьбой против действительных зол современной им России» [17].

Мысль о двойственности, противоречивости социально-политических взглядов славянофилов прочно утвердилась в исторических исследованиях. С разных позиций и по-разному оценивая политическую программу славянофильства, исследователи неизменно отмечают эту ее черту. С. Н. Трубецкой, повторяя В. С. Соловьева, видел в мечтаниях славянофилов «некоторую двойственность», «бессознательный эклектизм», противоречия и несообразности «между универсализмом и национализмом, между прогрессивными, гуманитарно-либеральными тенденциями новой всеславянской культуры и консервативным староверством московской Руси». Эти противоречия, заметил С. Н. Трубецкой, «указывали славянофилам уже их современники». Под «современниками» он, очень вероятно, имел в виду прежде всего Н. Г. Чернышевского,

в статьях которого не раз была подмечена противоречивость славянофильства.

В одном из писем Чернышевского 1857 г. содержался отзыв о славянофилах, который, по мнению С. С. Дмитриева, дает ключ к пониманию лишенного «внутреннего единства» славянофильского учения. Чернышевский писал: «Боже праведный, какие несовместимые с здравым умом мысли соединяются в их головах! Об ином они говорят так, что одна фраза кажется заимствованною из Прудона, а другая, за ней непосредственно следующая, — из жития Симеона Столпника, о другом так, что одна мысль из Белинского, другая — из Булгарина. Это народ странный!»[18]. Слова Чернышевского в первую очередь должны быть отнесены к общественно-политическим мнениям «Русской беседы», придавать им универсальный смысл, как это делает С. С. Дмитриев, нет оснований. Чернышевский верно подметил ту двойственность славянофильства, объяснение которой кроется в конкретной истории славянофильского журнала, в реальных противоречиях русской общественной жизни переломной эпохи.

В работах советских авторов представление о «двойственности» и «противоречивости» славянофильского учения сохранилось и закрепилось. Применительно к общественно-политическим взглядам славянофилов его высказал в 1940 г. С. С. Дмитриев, чье суждение для нашей темы немаловажно: «Заметим, в качестве предварительного положения для будущего изучения социально-политических взглядов славянофилов, что и в них, по нашему представлению, соединены противоречивые, непримиренные начала. Критика самодержавно-бюрократического строя, признание необходимости широкой свободы слова, требование Земского собора и возможности открытого выражения так называемого общественного мнения уживались в социально-политических взглядах славянофилов со страстной защитой монархии, с борьбой против какого-либо формального ограничения полноты власти царя, с откровенной враждебностью в отношении социально-политической действительности Западной Европы, прежде всего в отношении к революции». Не все в этом высказывании верно в деталях, а главное, оно требует уточнения по существу поставленного вопроса.

Нельзя принять и объяснение «противоречивости» славянофильства, которое было предложено З. В. Смирновой. Основываясь на понимании славянофильства как попытки «противопоставить капиталистическому типу общественных отношений патриархальный тип», З. В. Смирнова считает, что противоречивость славянофильства «была следствием попытки «примирить непримиримое» — интересы крестьянства и интересы помещиков»[19]. Согласиться с этим нельзя. Социальная гармония, о наступлении которой мечтали славянофилы, классовая идиллия, истоки которой они пытались найти в истории и общественных отношениях допетровской Руси, хотя и были построены с учетом представлений патриархального крестьянства, но должны были служить не

«примирению» сословий, а подчинению крестьянских интересов помещичьим. «Патриархальность» общественно-политических взглядов славянофилов была лишена социального содержания, она имела бытовой, «домашний» характер. Объяснять ею «противоречивость» политической программы славянофилов — значит, отчасти, затушевывать вопрос о социальной сущности славянофильства.

На наш взгляд, абсолютизировать «двойственность» и «противоречивость» общественно-политических взглядов славянофилов не следует. Слов нет, славянофильское учение в целом и особенно политические теории славянофилов были не лишены противоречий, как, впрочем, и другие направления тогдашней русской общественной жизни. Эти противоречия были отражением глубоких социально-экономических и политических противоречий российской действительности, их невозможно было снять путем теоретических умозаключений. Указание на противоречивый характер той или иной общественно-политической доктрины того времени служит подтверждением ее жизненности, ее стремления уловить непростой ход русского исторического развития. Требование или пожелание «непротиворечивости» предполагает в сущности не исторический, а формально-логический подход к изучению сложных явлений общественной жизни. Именно так подходил к оценке славянофильства В. С. Соловьев. Его суждения о противоречивости и «внутренней двойственности» непримиренных начал славянофильства основаны были на понимании славянофильского учения как «искусственной» системы религиозно-философских и историко-политических воззрений. Такая система не требовала соотнесения с практикой общественной борьбы, она была удобна для теоретического «разложения», что вслед за Соловьевым и проделали С. Н. Трубецкой и П. Н. Милюков.

Подлинное значение славянофильства в истории русской общественной мысли при таком подходе выявить нельзя. Его можно оценить, если отрешиться от устоявшегося взгляда на славянофильство как идейное направление, обладавшее раз и навсегда заданными свойствами, неспособное к глубоким изменениям в ходе общественно-политического развития. В 1840—1860-е годы славянофильство было живым, активным, чутким к изменениям политической ситуации и общественных настроений идейным течением. Оно *развивалось* и именно поэтому играло видную роль в общественно-политической жизни страны. Среди славянофилов встречались фанатики и прямолинейные сектанты, но в их рядах были и умелые общественные деятели, много трудившиеся над постоянным обновлением славянофильской аргументации, стремившиеся превратить исповедуемое ими учение в ведущее направление русской общественной жизни. Славянофилы искали ответы на злободневные вопросы русской действительности середины XIX в., их учение *может быть понято и должно быть изучаемо только в контексте этой действительности.* Социально-политические взгляды славянофилов были самой изменчивой

стороной их учения, они постоянно развивались, уточнялись и (как верно заметил П. Линицкий) так и не сложились в законченную систему. Их изучение требует отказа от понимания славянофильства как застывшей доктрины, внимания к его историческому развитию.

Представление о «двойственности» и «противоречивости» славянофильского учения, особенно при его абсолютизации, в известной мере облегчает изучение социально-политических взглядов славянофилов, но, конечно, лишает такое изучение исторической конкретности. Перечисление, даже подробное и точное, «противоречивых начал» не воссоздает картины развития общественно-политических воззрений славянофилов и тем более не дает им научного объяснения.

Редко, но встречается в литературе и другая крайность: преувеличенное мнение о цельности славянофильских общественно-политических воззрений. Внешне как будто противоположная пониманию славянофильства как «искусственной» системы, эта точка зрения лишена верного подхода к славянофильству как развивающемуся, исторически обусловленному течению общественной мысли. Приведем характерное суждение П. И. Бартенева: «В политике, как и во всем остальном, убеждения А. С. Хомякова не изменялись во всю его жизнь. Из этого позволительно заключить, что они в нем самом были чем-то не надуманным, а живым плодом непосредственного общения веры и мысли со средою и народом, из которых он вышел... настоящая сила его направления заключается именно в том, что оно более всех других может почитаться выражением мировоззрения по преимуществу русского, т. е. того, которое сложилось и живет веками в душе русского человека». Антиисторичность взгляда Бартенева очевидна, но почти буквально он был повторен П. А. Флоренским [20].

Правильный подход к исследованию общественно-политических взглядов славянофилов заключается, по нашему представлению, в отказе от поиска «типичных» высказываний, в конкретно-историческом анализе становления и развития славянофильской политической мысли, в объяснении причин ее изменчивости и противоречивости не «внутренней двойственностью», а реалиями русской общественной жизни середины XIX в. В области политической теории и общественно-политической практики внутри славянофильского кружка всегда существовали серьезные разногласия, здесь особенно неуместно своеобразное «соборное начало» в подходе к славянофилам, когда взгляды одного из них отождествляются со взглядами остальных, а славянофильство в целом делается ответственным за все высказывания лиц, к нему причастных. «Соборное начало», которое до настоящего времени встречается в литературе, создает для воспринявшего его исследователя трудности, порой непреодолимые. Изучение славянофильской политической мысли станет плодотворным только в том случае, если в его основу будет положено суждение о своеобразии политических взглядов отдельных славянофилов.

Сказанное, отметим, не означает признания правильности вывода американского исследователя П. Христова: «Не существует славянофильства как единого направления, а существует целый ряд отдельных славянофилов»[21]. Славянофильство было именно единым в основных положениях, но широким и постоянно развивавшимся направлением русской общественной мысли, в рамках которого возможно было существование отличных в деталях общественно-политических взглядов И. В. Киреевского и, например, Ф. В. Чижова.

При изучении общественно-политических взглядов славянофилов важно не упускать из поля зрения еще одно обстоятельство: *в славянофильском учении сохранялась глубокая связь конкретных политических пожеланий с общими историко-философскими построениями.* Славянофилы стремились мыслить исторически, им было присуще желание вывести свою политическую программу из исторического опыта русского народа, из исторически сложившихся свойств русского народного характера. В литературе этот «археологический» мотив был подмечен давно и оценивался по-разному. Если Вл. Соловьев считал его «реакционным», то, к примеру, А. К. Бороздин называл славянофильство К. Аксакова «либерализмом на почве исторических изучений» и пояснял: «По крайней мере требование свободы слова, совести, жизни внутренней, признание важности общественного мнения нельзя не считать проявлением либерализма, но основания для этих требований указываются в истории древней Руси»[22].

В литературе нередко встречается противопоставление общественно-политических и историко-философских воззрений славянофилов. При анализе славянофильской политической программы исследователи более или менее удачно используют предложенный К. Н. Леонтьевым метод «снятия» со славянофилов «пестрого бархата и парчи бытовых идеалов». Уместность этого приема бесспорна, а его достоинства очевидны: достаточно выделить в сочинениях славянофилов практически исполнимые политические пожелания (требования), как их общественно-политические взгляды приобретают стройность, ясность, конкретность, делаются удобны для описания и объективной исторической оценки. Политическая программа славянофилов, освобожденная от связи с идеальной, неприложимой к реальной действительности историко-философской схемой, от исторических домыслов и произвольных ссылок на своеобразно понимаемые факты русской истории, приобретает сходство с политической программой западников, и их сравнение приводит к верному выводу о близости, а в области практических действий — о тождественности этих двух направлений раннего российского либерализма.

Целесообразность и перспективность такого подхода к изучению общественно-политических взглядов славянофилов не раз была показана в литературе. Выше приводились слова К. Н. Леонтьева о «буржуазном либеральничаньи» славянофилов. Отзыв, на наш взгляд, верен, хотя надо отметить, что для Леонтьева

«буржуазность» — категория скорее эстетическая, чем социально-политическая. Б. Н. Чичерин, сравнивая западников и славянофилов, подчеркивал: «Когда наступила пора практической деятельности, теоретические различия сгладились и споры умолкли». С. А. Венгеров, изучая «Записку» К. С. Аксакова, предлагал «отбросить» теоретические посылки и делал вывод, что под ее практической частью «с величайшим удовольствием подписались бы самые передовые из тогдашних западников; в 1855 г., по крайней мере, их мечтания не шли дальше». Разобрав статьи И. Аксакова из газеты «День», П. Б. Струве не без удивления (он смешивал славянофильство и «славянофильство»-национализм) отметил, что И. Аксаков «исповедовал и проповедовал идею естественного (абсолютного) права, или неотъемлемых прав личности, т. е. именно ту идею, которая исторически и логически составляет зерно *либерализма*, его подлинное существо». Подобные суждения подтверждаются и авторитетным высказыванием С. Ю. Витте: «Крылатые, полные поэзии слова, вроде «правительству — сила власти, а земле — сила мнения», исчезали немедленно, как только соприкасались с суровой прозой жизни; весьма скоро оказывалось, что мнение несогласно с властью, а власть с мнением, и по устранению ссылок на заветы и предания старины далекой, которая как таковая отошла в область невозвратно минувшего, от программы славянофилов для приведения в исполнение оставалось не что иное, как та же программа либеральной партии»[23].

В советской исторической литературе вывод о либеральной основе политических взглядов славянофилов был сделан С. С. Дмитриевым, который полагал, что славянофильская формула «сила мнения — народу» объективно «привела бы при ее реализации к получению элементарной свободы выражения для либерального помещичье-буржуазного общественного мнения», рупором которого мог бы стать земский собор. В последние годы этот вывод принят большинством исследователей, писавших о славянофильстве. Особенно тщательно буржуазно-либеральные тенденции в политической теории и общественной практике славянофилов были прослежены в работах Е. А. Дудзинской, чей итоговый вывод мы принимаем безоговорочно: «Славянофильство представляет собой одну из разновидностей буржуазно-помещичьего либерализма, при этом имеется в виду, что другой разновидностью были западники»[24].

Сказанное, однако, не означает, что прием «снятия» или «отбрасывания» историко-философской схемы при изучении общественно-политических взглядов славянофилов безупречен. Его применение (еще раз подчеркнем, безусловно необходимое) требует особой осторожности, вдумчивого, деликатного подхода к писаниям славянофилов, в которых, строго говоря, необычайно трудно отделить общественно-политические взгляды от историко-философской концепции. «Отбрасывание» историко-философской концепции не должно вести к ее недооценке. Выше мы отмечали те трудности, что возникают при невнимании к славянофильской

политической мысли. Между тем политические теории и социологические концепции славянофилов вытекают из их историко-философской схемы, являются как бы частным ее приложением к русской действительности середины XIX в.

Философия истории — не только стержень всего славянофильского учения, одновременно она — ключ к политической программе славянофилов в 1840—1860-е *годы. Славянофильская философия истории была теорией исторического прогресса, теорией, предопределяющей необходимость социально-политических перемен в России.* Такое ее понимание, по нашему убеждению, облегчает изучение общественно-политических взглядов славянофилов, придает им относительную цельность и законченность.

Для самих славянофилов будущая социальная и политическая гармония, возможность которой в России была главным выводом славянофильской историко-философской концепции, была мечтой, которая давала смысл их общественной деятельности и подчиняла себе практическую политическую программу. Найти правильное соотношение историко-философских и общественно-политических взглядов славянофилов непросто, но необходимо. Равномерное внимание к этим двум слагаемым славянофильского учения позволяет понять характер славянофильской политической утопии, выявить своеобразие общественной позиции славянофильского кружка в 1840—1860-е годы. Славянофильская философия истории помогает объяснить враждебность славянофилов социально-политическим институтам Западной Европы, что находится в явном противоречии с их политической программой, рассматриваемой изолированно.

Сочетание отвлеченной историко-философской аргументации с актуальными политическими выводами придавало необычность сочинениям славянофилов, которые трудно связать с традициями западноевропейской либеральной публицистики. В этом заключалось существенное отличие славянофилов от западников, бравших доказательства правильности своей политической программы из современной им европейской социально-политической действительности. Учитывать необычность славянофильской аргументации, разумеется, необходимо, но преувеличивать ее значение не следует. В противном случае трудно избежать представления о самодовлеющей роли «археологических» мотивов в социально-политической программе славянофилов. Именно этим, на наш взгляд, объясняется ошибка современного польского историка А. Валицкого, который считал, что «архаичный либерализм» славянофилов был «самое большее либерализмом в очень неопределенном, туманном смысле этого слова; с либерализмом, как исторически определенным общественным мировоззрением, мировоззрением буржуазным, он не имел в сущности ничего общего»[25]. Такое мнение следует признать односторонним, оно не учитывает реальной действительности России середины XIX в.

Мы остановились на некоторых вопросах, возникающих при изучении общественно-политических взглядов славянофилов. Их

предварительное решение во многом определяет структуру и принципы дальнейшего изложения. Главное, что уместно еще раз подчеркнуть, общественно-политические взгляды славянофилов следует изучать в их становлении и развитии, уделяя внимание не только практической общественной деятельности, но и политическим теориям славянофилов. Политическая доктрина славянофильства при всем ее глубоком своеобразии может быть верно понята только в русле традиций российского либерализма. В основных, принципиальных вопросах (отношение к крепостному праву, реформистский путь решения социально-политических проблем, враждебность революции) славянофилы неотличимы от западников. Подлинный «двуликий Янус». Как остроумно заметил С. Н. Трубецкой в полемике с А. А. Киреевым, когда последний попытался преувеличить радикализм западников: «Неужели же ген. Киреев решится утверждать, что все западники изменяли церкви, престолу и отечеству в своем споре с славянофилами?» [26]

Указав на существующую в литературе разноречивость оценок общественно-политических взглядов славянофилов, мы не ставили своей задачей дать сколько-нибудь полный обзор высказанных мнений, однако считаем полезным привести некоторые суждения, прекрасно иллюстрирующие необходимость исследования общественно-политических взглядов славянофилов. В 1910 г. Н. Л. Бродский, ссылаясь на авторитет М. А. Бакунина, писал, что в «основе славянофильских воззрений на власть, несомненно, лежат анархические инстинкты». Два года спустя Н. А. Бердяев утверждал: «Сама идея царя у славянофилов — не государственная и даже антигосударственная... Славянофилы были своеобразными анархистами, анархистский мотив у них очень силен». Эта точка зрения разделяется некоторыми современными западными исследователями. Н. Рязановский, например, назвал славянофилов «анархистами специфического сорта». Об «анархической позиции К. Аксакова» писали и советские ученые. Нами уже было отмечено, что нет никаких оснований говорить об анархизме или полуанархизме воззрений славянофилов, и в частности К. Аксакова, чьи полемические выпады («ложь лежит не в той или иной форме государства, а в самом государстве как идее, как принципе») находятся в полном несоответствии с его теорией «земли» и «государства». Без «государства» теория теряет смысл. Более того, наличие «государства» предопределяет возможность осуществления славянофильских социальных идеалов [27].

Заслуживает внимания точка зрения авторов, испытавших влияние славянофильского учения, на либерализм славянофилов. В 1880 г. О. Ф. Миллер писал о славянофилах как о противниках крепостного права, защитниках свободы мысли и слова. Н. Н. Страхов вспоминал, что «старые славянофилы всегда старались ...быть свободными и широкими в своих сочувствиях». «Это были люди истинно либеральные, в самом превосходном значении этого слова», — подчеркивал он. А. В. Васильев, ха-

рактеризуя «задачи и стремления» славянофилов, настаивал: «Подлинное славянофильство не окрашено только, но *насквозь* пронизано *самым ярким и полным либерализмом»*. Выводы названных авторов вполне правильны, но они излишне подчеркивали нравственный, «неполитический» характер славянофильского учения, что, конечно, размывало тезис о либерализме славянофилов [28].

Если О. Ф. Миллер считал, что славянофилы в силу глубоко нравственного характера своих воззрений вообще не признавали «права сильного», то С. А. Венгеров утверждал противоположное: «При столкновении с вопросами практической жизни славянофилы сплошь да рядом становились за сильного против слабого, сплошь да рядом симпатизировали тенденциям застоя и сплошь да рядом оказывали поддержку идеям человеконенавистничества». Что именно имел в виду С. А. Венгеров, сказать невозможно.

Необычайно путано и противоречиво судил о политических воззрениях славянофилов Н. А. Бердяев, чьи взгляды оказали большое влияние на современную западную историографию. В 1912 г. он писал: «Самодержавие славянофильское ничего общего не имеет с самодержавием историческим... [Славянофилы] недостаточно понимали исторически-относительный характер всех форм государственности... Социальная идеология Хомякова — смесь консерватизма с либерализмом и демократизмом». Через пять лет: «Хомяков был в сущности либералом и демократом с народнической и антигосударственной окраской. Идею самодержавия он утверждал лишь в силу исторической обстановки» [29]. Кое-что в подобных суждениях просто неверно с фактической стороны: Ю. Самарин, например, неизменно подчеркивал «исторически-относительный» характер государственных форм.

Не менее путаное определение славянофильского политического учения дал историк журналистики А. Г. Дементьев: «Политические взгляды славянофилов не возвышались над уровнем умеренного либерализма, были враждебны воззрениям революционной демократии... и в сущности были близки воззрениям консерваторов и реакционеров» [30].

Подмеченные противоречия, перечень которых легко увеличить, — это противоречия исследовательской мысли. Избыток определений — результат недостаточно конкретного изучения общественно-политических взглядов славянофилов.

В оценке славянофильской политической теории опасны любые предвзятые суждения. Приведем только один пример. П. А. Флоренский, изучая совокупность воззрений Хомякова, пытался понять их в контексте религиозного православного начала, которое, по его мнению, лежит «в основе всего» у Хомякова. В результате он пришел к выводу, что в хомяковской системе «что-то неладно», и, в частности, отметил непоследовательно православный взгляд Хомякова на русскую монархию. Хомякову, как и другим славянофилам, действительно, чужда идея канонич-

ности царской власти, что, конечно, свидетельствует не о его «неправославии», а об ошибочности попытки выводить конкретные воззрения славянофилов (политические, исторические, социальные, экономические) из «религиозного сознания», которое понимается как ядро, «священный центр» славянофильства. Хомякова и его сочинения нельзя понять вне русской жизни середины прошлого века, вне социально-политической действительности предреформенной России. Неисторичен, хотя и интересен как пример сочетания крайних суждений о политических взглядах славянофилов, вопрос Флоренского: «В области государственной был ли он (Хомяков. — *Н. Ц.*) верным слугой самодержавия, этой основы русского государства, желал ли он укрепить и возвеличить царский престол, или, наоборот, в нем должно видеть творца наиболее народной и потому наиболее опасной формы эгалитарности?»[31] По нашему представлению, изучение общественно-политических взглядов славянофилов должно подвести к выводу о некорректности такой формулировки вопроса.

3

Возникновение славянофильского кружка в Москве было крупным событием русской общественной жизни. Славянофилов было немного, но они были видными, литературно одаренными представителями дворянской интеллигенции, чье участие в идейной борьбе было ярким, чьи убеждения были самостоятельны и оригинальны, а общественная позиция — принципиальна. Общие учено-литературные интересы сплачивали славянофилов, узы родства и давней дружбы обеспечивали кружку внутреннее единство, которое в свою очередь придавало заметную со стороны согласованность совместным выступлениям его членов. В 1840-е годы, в ранний период истории славянофильства, общественная деятельность его зачинателей (И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, П. В. Киреевского), их друзей и последователей (А. И. Кошелева, Н. М. Языкова, Д. А. Валуева, К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина, А. Н. Попова, В. А. Панова, Ф. В. Чижова, И. С. Аксакова, В. А. Елагина) имела важное значение, она свидетельствовала о неизжитости в среде передового дворянства либеральных настроений. В трудных условиях николаевского царствования славянофилы были хранителями либеральной традиции русского общественного движения, славянофильский кружок играл роль общественно-политической оппозиции правительству.

Вопрос о том, в какой мере славянофилы были оппозиционны николаевской правительственной системе, важен при изучении их общественно-политических воззрений и заслуживает специального разбора.

Едва возникнув, славянофильский кружок стал вызывать подозрения у властей, которые с недоверием смотрели на все проявления независимой общественной мысли. История славянофильского кружка богата примерами крайне подозрительного от-

ношения правительства и органов политического сыска к деятельности и взглядам московских славянофилов. Истоки этой подозрительности легко проследить. Они восходят к убеждению, впервые, пожалуй, открыто выраженному в 1844 г.: славянофилы — политическая оппозиция, способная к открытым антиправительственным действиям, славянофильский кружок — политическая партия. Следует признать, что николаевские власти твердо и последовательно придерживались этого мнения, которое трудно объяснить простым заблуждением.

Есть, правда, и другая сторона вопроса: насколько сознательно стремились славянофилы стать в оппозицию правительству. Общественно-литературные выступления славянофилов рано приобрели оппозиционный оттенок, но до настоящего времени остается неясным, была ли славянофильская оппозиция глубокой и принципиальной или она стала случайным следствием независимого социального положения и твердости духа первых славянофилов. Ответ на этот вопрос во многом предопределяет оценку общественной деятельности славянофилов и тех политических целей, которые они преследовали.

Ценные сведения как о подозрениях николаевского правительства в отношении славянофильского кружка, так и о настроении внутри кружка содержатся в двух интересных документах истории раннего славянофильства — в письме Ю. Ф. Самарина, посланном из Петербурга в конце 1844 г. А. С. Хомякову и К. С. Аксакову, и в ответном письме Хомякова, написанном в начале 1845 г. Письма эти, редко привлекавшие внимание историков, требуют, на наш взгляд, вдумчивого изучения.

Самарин, служивший в Петербурге, в тревожном письме, которое пролежало у него месяц, прежде чем было послано с верной оказией, ставил перед Хомяковым и К. Аксаковым принципиальный и важный «для нас всех» вопрос о целесообразной тактике общественного поведения славянофилов. В Петербурге Самарин играл роль «представителя московского направления» и поэтому просил наставить его, «что говорить и как действовать». Он вспоминал недавнее прошлое: «Мысль о современном значении Москвы, пущенная в ход Аксаковым, встретила между нами и даже в более широком кругу сочувствие и одобрение; она сделалась предметом наших разговоров, сделалась, по своей общедоступности, господствующим интересом... Толки о Москве продолжались три года; вражда к Петербургу усилилась; на каждого выходца оттуда мы ополчались толпою и вымещали на нем наше негодование. Между тем в продолжение этого времени Москва не явила ни одного плода своей умственной деятельности; таким образом, она стала известна Петербургу и вообще всей России только с одной, чисто отрицательной стороны». Считая излишним объяснять, чем было вызвано «наше негодование», Самарин переходил к событиям современным: «Теперь всем известно, что Москва имеет какие-то притязания, пока еще неоправданные, и что со дня на день в ней усиливается страстное чувство вражды против Пе-

тербурга. Появились несчастные мурмолки и святославки. Согласитесь сами, что их нельзя было не принять за условный знак соединения и что должна была пробежать мысль о политической партии, а всякую партию, всякое оппозиционное направление против правительства общее мнение у нас осуждает». Самарин хорошо передал особое (позднее Хомяков назовет его «островным») положение славянофилов в дворянском обществе, «общее мнение» которого на стороне правительства: «Мы дошли до того, что московское направление, еще ни в чем не успевшее выразиться вполне и оправдать себя, навлекло на себя сильное незаслуженное подозрение со стороны власти и недоверчивость со стороны общества. Славяне, москвичи, вообще люди, носящие мурмолки, сделались для одних предметом страха и ненависти, для других — предметом насмешек». Для славянофилов, которые были твердо уверены (мы приводим мысль Ю. Самарина в пересказе Хомякова), что «*одна любовь* может служить основою общества и общественной науки» (I, 159), страх, ненависть, насмешка были категориями крайне нежелательными, коль скоро речь шла об общественном значении славянофильства. Обращаясь к единомышленникам, Ю. Самарин продолжал: «Воля ваша, это не хорошо, как бы то ни было, а за общественное мнение об нас отвечаем мы. Вы скажете, что так смотрит на нас Петербург, но что Москва думает иначе. Едва ли. Многие из жителей Москвы любят нас и слушают охотно. Но ужели наше направление сделалось господствующим в Москве? Ужели многие, не говорю приняли, а узнали наши убеждения и требования? Ужели, если завтра власть объявит нас бунтовщиками и еретиками, многие из наших друзей не говорю станут за нас, а только внутренне усомнятся в нашей вине?» Далее Самарин передавал настроение высших сфер: «Власть убеждена, что в Москве образуется политическая партия, решительно враждебная правительству, что клич, здесь хорошо известный: «да здравствует Москва и да погибнет Петербург» — значит: «да здравствует анархия и да погибнет всякая власть». Поверьте, что это так». Общий тон письма не дает оснований заподозрить Самарина в преувеличении: именно как политическая партия, антиправительственная и анархическая, понимались московские славянофилы в 1844 г. сановным Петербургом. В петербургском обществе Самарина подозревали в том, что он «вербует в партию», расспрашивали, через кого он ведет сношения с Москвой, и какая разница между «голубою и красною мурмолкою». Выдержка и чувство юмора не изменили недавнему выпускнику Московского университета, но он вполне ощутил свое одиночество и в следующем письме Аксакову, написанном два-три месяца спустя, посетовал: «Трудно мне быть одному, обходиться без поддержки людей, одинаково мыслящих. Здесь решительно не с кем переговорить, даже поспорить» (XII, 155). Почему? Первое письмо определенно обрисовало отношение дворянского общества Петербурга к московским славянофилам, чья мурмолка была приравнена к тайным знакам итальянских карбонариев: «Общество делится на

две половины, из которых одна разделяет мнение правительства, а другая смеется над правительством и над нами и только жалеет о том, что пропадут ни про что́ ни за что́ добросовестные и невинные сумасброды». Но действительно ли славянофилы «добросовестные и невинные сумасброды»? Самарин судил иначе, и следующая пространная, но необходимая выдержка из его письма убеждает нас в этом: «Повторяю вам еще раз: я жду наставления, я ваш во всяком случае; моя участь и ваша связаны нераздельно. Решитесь на что-нибудь. Тосты и возгласы против Петербурга не могут продолжаться вечно. Они дошли до того, что все вправе ожидать после слов дела... Примитесь за дело; объявите войну Петербургу. Мало ли на это средств!» Для истории всего раннего либерализма интересно было бы знать, какие «средства» перехода от слов к делу знал в 1844 г. Ю. Самарин. Он назвал одно: «Напишите ко мне письмо по почте и изложите в нем наши убеждения. Если вы думаете, что время начать действовать наступило, что вы и Москва — одно, что Москва от старых своих грехов очистилась и купила право поднять знамя, если вы верите в возможность какого бы то ни было прямо-враждебного и чисто-отрицательного действия, начинайте!» В необходимость «начала» Самарин не верил, не верил он и в то, что его московские друзья готовы к действию, которое, несомненно, вызовет гонения на славянофилов: «Может быть и подлинно Россия много выиграет, когда нас разбросают по разным концам, прогонят профессоров и на университетские кафедры посадят учителей, набранных из кадетских корпусов... Но если вы этого не думаете и не хотите, то, ради Бога, перемените образ жизни, образ действия, бросьте мурмолки, перестаньте провозглашать тосты и не упоминайте ни о Петербурге, ни о Москве. Я вам говорю, что гроза накопилась. Не то беда, если мы пойдем против нее; жаль будет, если она разразится над нами врасплох» (XII, 149—155).

Самаринское письмо имеет для нас двоякий интерес. Во-первых, оно является одним из ранних свидетельств явной враждебности правящих кругов и большей части дворянского общества по отношению к московским славянофилам. Во-вторых, содержание письма объясняет причины этой враждебности, подтверждает неслучайный характер славянофильской оппозиции. Искренний тон письма оттеняет независимость «убеждений и требований» славянофилов, глубину их «негодования» на «Петербург», который не был, конечно, только географическим названием. Одно это письмо Самарина, став известным властям, могло «разбросать» славянофилов по разным концам Российской империи.

Готовность Самарина твердо отстаивать славянофильские убеждения, его нежелание «уронить себя в общем мнении» несомненны, несомненно и глубокое несходство направления славянофилов с направлением господствующим, общепринятым. Но к чему стремились славянофилы? Во имя чего могли они «поднять знамя»? На эти вопросы письмо Самарина не отвечает.

Самарин называл правительственные подозрения «незаслужен-

ными». Прав ли он? Славянофилы, разумеется, не стремились к анархии и свержению «всякой власти», они не были ни бунтовщиками, ни еретиками, а их кружок не имел значения «политической партии» даже в том узком смысле, какое это понятие имело в России середины XIX в. Обвинения такого рода кажутся странными, в них легко увидеть плод невежества или досужий вымысел. Правда, в данном случае Самарин передавал не общие толки, не мнения, как писал Хомяков, «моих тетушек», а точку зрения властей — «власть убеждена». Правда и то, что обвинения, высказанные в 1844 г., неоднократно повторялись и позднее. Что тревожило власти? Возможность появления в почтовой корреспонденции письма с изложением славянофильских убеждений? Едва ли... Может быть, николаевские власти раздражала неуступчивая оппозиционность славянофилов и их обвиняли, не вникая в суть славянофильских воззрений?

Письмо Хомякова Самарину дает ответы на некоторые из поставленных нами вопросов. Прежде всего Хомяков сообщал причину гонений на славянофилов: «Временная буря прошла. Ее истинная причина была не в речах и действиях того или другого из нас, а в появлении нескольких статей за границею об mouvement slave и mouvement moscovite. Истинной опасности не было до сих пор, и если ничто не переменится, ее и не будет, но при проснувшихся подозрениях можно добиться неосторожностью до опасности». Ссылкой на заграничные издания Хомяков отводил самаринские упреки в неосторожности и сам звал к осторожности. (В комментариях к письму И. Аксаков пояснил: «доносов было немало».) Разговоры о славянофилах он считал полезными для пропаганды учения: «Положение наше уяснилось во многом. Мы в одно время и признаны (полициею, «Отечеств⟨енными⟩ записками», «Библиотекою для чтения») и не сосланы. Это выгода великая и неоспоримая: руки развязаны для всякого осторожного действия. Публика, читая, будет понимать то, чего бы не поняла без этих комментариев и слухов. Цвет или, лучше сказать, общий очерк мысли определился, внимание возбуждено. Всякий высказанный принцип получает новую важность». Хомяков нашел формулу, идеально выражавшую общественные убеждения славянофилов — «осторожное действие». С большой точностью определил он и место, которое занимал славянофильский кружок в русской общественной жизни: «Надобно показать всем, что они (т. е. принципы) так же далеки от консерватизма в его нелепой односторонности, как и от революционности в ее безнравственной и страстной самоуверенности; что они, наконец, составляют начало прогресса разумного, а не бестолкового брожения». Яснее сказать о *либерализме* славянофильских воззрений трудно! «Разумный прогресс» — заветная мечта российских либералов всех поколений, а стремление отмежеваться и от консерваторов и от революционеров — характерная черта либеральной общественности. Хомяков не любил слова «либерал», избегал его в применении к славянофилам. Либерализм в его представлении был связан с «равнодушием рели-

гиозным» (VIII, 429), что предопределяло настороженное отношение глубоко верующего Хомякова к европейским либералам и их русским последователям. Для определения своих взглядов Хомяков предлагал иные названия: «торизм», «русское направление», «консерваторство». Дело, однако, не в названии. Кошелев, слова которого приводились выше, был прав, когда утверждал, что Хомяков, «никогда не высказывался против либерализма». Хомяков, был либералом в точном, социально-политическом значении этого слова, иначе как либеральную обозначить его общественную позицию в 1845 г. нельзя.

В письме Хомякова наряду с характеристикой места славянофилов в идейной борьбе было выражено убеждение в величии той роли, какую призваны сыграть славянофильские воззрения в общественном развитии России. Трезво оценивая настоящее положение славянофильского кружка, Хомяков верил во всемирно-историческое предназначение славянофильства: «Ряды наших друзей оказались необычайно редкими и дружина ничтожною. Весь университет (или почти весь, это все равно) держится другой стороны. Публика не держится покуда никого, но колыхается и должна пристать куда-нибудь. Покуда большинство глядит к Западу. Но это ничего не значит: правы будут те, которые сильнее, прямее и постояннее станут ее пробуждать от ее умственной апатии». В дни, когда писалось письмо А. Хомякова, И. Киреевский готовил к печати первый номер обновленного «Москвитянина», к сотрудничеству в журнале были привлечены почти все литературные силы славянофильского кружка, который очутился в центре общественного внимания. В глубоком и долгом воздействии славянофильских идей на русское общество Хомяков не сомневался, но его оптимизм не лишен грусти: «Мы же должны знать, что никто из нас не доживет до жатвы, и что наш духовный и монашеский труд пашни, посева и полотья есть дело не только русское, но и всемирное. Эта мысль одна только может дать силу и постоянство» (VIII, 250—253).

Высказывание Хомякова свидетельствует, что славянофилы (все они были согласны в этом) не просто высоко оценивали свою общественную деятельность и значение своих идей (славянофильство — «дело не только русское, но и всемирное»), но ставили перед собой цель «разбудить общество», стать ведущим направлением русской общественной мысли, несмотря на свою немногочисленность, противодействие властей, передовых «Отечественных записок» А. А. Краевского и беспринципной «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковского. Заметим: Хомяков точно расставил общественно-политические акценты.

«Осторожное действие» было основным средством влияния славянофилов на дворянское общество и николаевское правительство. Во имя чего действовали А. Хомяков, И. Киреевский, К. Аксаков? Зачем стремились «разбудить общество»? Каковы были их социально-политические представления, как изменялась их общественная позиция? Прежде чем продолжить изложение этих вопро-

сов, для нас главных, вкратце остановимся на тех фактах истории славянофильского кружка, которые раскрывают отношение властей к славянофильству. По нашему мнению, анализ правительственного восприятия славянофилов полезен для итоговой оценки славянофильских общественно-политических взглядов, хотя это восприятие было и односторонним и неполным.

В письме Самарину Хомяков высказал убеждение, что со временем все поймут: славянофильские принципы «ни для кого не опасны». Власти были убеждены в обратном. В том же письме содержалось известие, что статья Панова о публичных лекциях Шевырева не пропущена в газету «Московские ведомости» попечителем Московского учебного округа гр. С. Г. Строгановым. Просвещенный вельможа, покровитель молодых профессоров Московского университета, Строганов считал славянофилов «людьми опасными». «Отцы отечества», среди которых был Д. П. Бутурлин, впоследствии глава знаменитого в истории русского просвещения «бутурлинского комитета», нашли, по свидетельству Ю. Самарина, в 1844 г. в деятельности славянофилов «признаки вредного политического движения».

В 1847 г. был арестован Ф. В. Чижов, подозреваемый в заговоре в пользу австрийских славян, в связях с «Кирилло-мефодиевским обществом» и в политическом либерализме. В ответах на вопросы III Отделения Чижов должен был изложить политические взгляды славянофилов. Он особо оговаривал, что «Россия и царь слиты в одно нераздельное» и власти могут не опасаться политической революции. Чижов был освобожден, но репутация славянофилов в глазах правительства выше не стала. В дневнике А. В. Никитенко, которого Чижов посетил сразу, как был выпущен на волю, сохранился любопытный пересказ политической исповеди Чижова, сделанный автором дневника со слов «хитрейшего из всех настоящих и будущих славянофилов и не-славянофилов». Считаем нелишним привести некоторые детали, характеризующие как «исповедь» Чижова, так и взгляды тех, кто его допрашивал, на славянофилов: «Он разделил свою исповедь на две части. В первой он как бы признавался в некоторых заблуждениях, а именно относительно соединения всех славян в одну монархию под скипетром России. Само собою разумеется, что это заблуждение, как проистекающее от избытка любви, было ему охотно прощено. Во второй части своей исповеди он явился горячим патриотом, совсем в духе самодержавия, православия и народности, чуждой всего европейского и даже враждебной Европе... В заключение его почтенные духовники, Леонтий Васильевич [Дубельт] и граф Орлов, остались им вполне довольны. Конечно, он в своей исповеди не коснулся демократических начал славянофильской проповеди и вышел из допроса совершенно белым и чистым» [32].

«Дело Чижова» вызвало в славянофильском кружке серьезные опасения. О «весьма секретном» приказании арестовать Чижова на границе по его возвращении из путешествия по славянским землям Ю. Самарин узнал заранее, предупредил об этом Хомяко-

ва («имейте наблюдение за московскими») и пытался тайно предупредить Чижова. Для переписки с Москвой Самарин, служа в Риге, придумал особый шифр. «Одна капля — и все перельется», — предостерегал он Хомякова в письме, которое просил сжечь. В письме к А. Н. Попову в Петербург Самарин давал точные указания: «На всякий случай примите меры и особенно просмотрите свои бумаги; мои бумаги, в том числе стихи Аксакова, письма Гагарина, Хомякова, одно письмо Киреевского, находятся в том портфеле, который я дал вам на сохранение. Передайте его под каким-нибудь предлогом Оболенскому или Вяземскому, если они остаются в Петербурге. Худо дело...» Трудно судить, что именно содержали стихи и письма самаринского портфеля, но ясно, что их содержание опасно было доводить до сведения властей. Письмо Самарина — письмо оппозиционера, опасающегося репрессий. Лучший исход «дела Чижова», который виделся Самарину, неутешителен для славянофильского кружка: «...я почти уверен, что Чижов оправдается, но с надеждою издавать журнал надобно проститься». Хомякову Самарин выражал опасение, что «преследование падает на мнение и рискуют все». В другом письме, получив дополнительные сведения, он сообщал шифром, что «дело не важно», поскольку из всех славянофилов преследование падает на одного Чижова (XII, 279—281, 422—425).

После того как Чижов был освобожден, утешительный вывод из его «дела» пытался сделать Хомяков. Из Петербурга он писал Самарину: «Здесь видел я Чижова. Он совершил ускоренное путешествие от границы с провожатыми, потом получил квартиру на 12 дней с отоплением, освещением и столом; наконец, уехал в Малороссию, получив почти благодарность от его величества, который объявил себя его цензором вперед. Слава богу! Он писал, и государь прочел его и, разумеется, видел, как неосновательны все подозрения» (VIII, 268—269). Серьезных оснований верить в «почти благодарность» Николая I у Хомякова не было. «Император-цензор» — для Чижова это значило полный запрет журнальной деятельности.

Итогом «дела Чижова» для славянофилов стали: исчезновение надежд на продолжение «Московских сборников», отказ от планов издания журнала («Русская беседа» появилась в 1856 г., девять лет спустя), отход Чижова, который должен был стать редактором журнала, от общественной деятельности. Хомяков («для здоровья жены») весной 1847 г. уехал в заграничное путешествие.

Надежда Хомякова, что Чижову удалось убедить Николая I в «неосновательности всех подозрений», оказалась ложной. В 1849 г. «почти благодарности» императора были удостоены Ю. Самарин и И. Аксаков, арестованные и допрошенные в III Отделении. Самарина, чьи «Письма из Риги» вызвали острое недовольство остзейского дворянства, Николай I расспрашивал лично. Самаринская запись беседы, сделанная сразу после освобождения из крепости, сохранила обвинение императора, адресованное молодому аристократу, крестнику Александра I: «Понимаете, к чему вы пришли: вы

поднимали общественное мнение против правительства: это готовилось повторение 14 декабря». Обвинение, последствия которого было трудно предвидеть, вынудило Самарина нарушить этикет: «Я перебил уверением, что никогда не имел такого намерения» (VII, с. XCII). Действительно, слова Николая I не имели серьезного основания: на протяжении всей жизни Самарин был убежденным противником революции, революционного способа преобразования действительности. Обвинение императора, однако, вполне укладывалось в ту схему восприятия славянофилов («антиправительственная партия», «сторонники анархии»), которая была описана Самариным в письме 1844 г. В разговоре с Николаем I московскому славянофилу было трудно верноподданнически возразить на другое обвинение, о котором он счел уместным умолчать при записи беседы и которое дошло до нас в его позднейшей (1875) передаче. Царь считал, что идеи Самарина грозили «подорвать доверие к правительству и связь его с народом, обвиняя правительство в том, что оно национальные интересы русского народа приносит в жертву немцам» (VII, с. XCII прим.). В дневнике Никитенко та же фраза Николая I записана так, что она приобретает отчетливый антиславянофильский характер: «...Ты пустил в народ опасную идею, толкуя, что русские цари со времени Петра Великого действовали только по внушению и под влиянием немцев. Если эта мысль пройдет в народ, она произведет ужасные бедствия» [33]. Слова императора не только объясняют, что тревожило власть в идеях славянофилов, но и показывают осведомленность в них Николая I.

За арестом Самарина последовал арест И. Аксакова. Подозревая кружок московских славянофилов в противоправительственных намерениях, органы политического сыска установили тайный надзор за славянофилами, читали их переписку. Аксаковские письма стали поводом для его ареста. В письмах из Петербурга И. Аксаков возмущался арестом Самарина, клеймил «подлое петербургское общество», советовал своим московским друзьям соблюдать осторожность. Словом, выступал в роли, которую Самарин сыграл в 1847 г. В секретном полицейском донесении от 18 марта 1849 г. московскому генерал-губернатору А. А. Закревскому советы И. Аксакова оценивались следующим образом: «Предостережение брата Аксакова доказывает, что у них (славянофилов. — *Н. Ц.*) кроме известной правительству цели должна скрываться какая-нибудь другая. Если бы сего не было, то тогда зачем бы им было бояться и остерегаться». Далее — полицейская догадка, в основе которой неосведомленность: «К обществу славянофилов принадлежал тот самый Бакунин, который находится за границею. Он особенно часто бывал у Хомякова». В 1849 г. имя М. А. Бакунина было крепко связано с революционным движением. Генерал-губернатор Москвы, который, по свидетельству Кошелева, «не мог терпеть» славянофилов и называл их то «красными», то даже «коммунистами», всеподданнейше донося о сем императору 14 апреля 1849 г., присовокуплял, что употребит все зависящие от него средства «к рас-

крытию тайной цели общества славянофилов и к приведению в известность всех приверженцев и последователей этого общества». Закревским было начато полицейское дознание, которое выросло в пухлое «Дело о славянофилах» — источник по истории славянофильского кружка ненадежный, но верно отразивший отношение русского политического сыска к «обществу московских славянофилов».

Арест И. Аксакова был сделан с целью запугать славянофилов, раскрыть их тайные помыслы. Вслед за Чижовым и Самариным, Аксаков в ответах на вопросы III Отделения доказывал свою политическую благонадежность ссылками на верность идеалам русского народа, которому насилие и «революционный путь ненавистны, противны его нравственным убеждениям и основам его быта, проникнутого духом веры». Мнение славянофилов о возможности в России революции серьезно интересовало III Отделение[34].

На фоне подготовки интервенции в Венгрию и расправы с петрашевцами кратковременные аресты Ю. Самарина и И. Аксакова выглядели незначительными эпизодами репрессивной политики царского правительства, направленной против всех слоев русского общества, затронутого революционными событиями в Западной Европе. Но в истории славянофильского кружка их значение велико. Они утвердили за славянофилами значение оппозиции николаевскому правительству, поставили их под постоянный полицейский надзор, продолжавшийся до 1857 г., резко ограничили возможность участия славянофилов в журнально-литературной жизни России. Славянофилы постоянно были под подозрением. После ареста петрашевцев Хомяков сообщил Попову московский анекдот: «Рассказывают великолепное слово, сказанное гр. Закревским одному из его приятелей. «Что, брат, видишь: из московских славян никого не нашли в этом заговоре. Что это значит по-твоему?» — «Не знаю, в[аше] сиятельство». — «*Значит*, все тут; да хитры, не поймаешь следа». Это *значит* просто гениальное слово!» (VIII, 199). В дворянском обществе Москвы заподозренные славянофилы оказались в изоляции, на которую постоянно сетовал Хомяков. Ю. Самарин и И. Аксаков лишились надежд (молодой И. Аксаков их некоторое время питал) на видную чиновничью карьеру. Вскоре после 1849 г. они оба вышли в отставку.

В разгар европейских революционных потрясений 1848—1849 гг. славянофилы не дали николаевскому правительству желанных доказательств того, что их идеи «ни для кого не опасны». Более того, Николай I подозревал Самарина и его друзей самое меньшее в намерении «подорвать доверие к правительству». Власти видели тайный умысел в желании славянофилов носить русскую одежду, не брить бороду. В 1849 г. «дело о бороде» приобрело принципиальное значение, и московские власти предписали С. Т. Аксакову и К. С. Аксакову сбрить бороды как несовместимые с дворянским званием. Закревский долгое время не оставлял мысли обнаружить преступные цели славянофильского кружка. В этом отношении интересны материалы «Дела о славянофилах». К середине 1849 г.

в результате секретного дознания было установлено, что «общество славянофилов не имеет ни одной общей цели, ни намерений, особенно с того времени, когда в западных губерниях в 1847 г. было открыто общество приверженцев малороссийской стороны, вследствие чего обращено внимание правительства на партию славянофилов». В дознании, которое было проведено наспех, неряшливо, с грубыми ошибками, например С. Т. Аксакова перепутали с его сыном Константином, к славянофилам причислили М. П. Погодина, С. М. Соловьева, Н. В. Гоголя, П. Я. Чаадаева, делался успокоительный вывод: «Вообще славянофилы ведут жизнь довольно разъединенную и не имеют тесной дружбы, партия их, если только возможно назвать партиею, весьма малочисленна».

В 1852 г., когда И. Аксаков возобновил «Московские сборники», задумав превратить их в периодическое издание, с помощью усиленного секретного наблюдения была установлена цель славянофилов, о чем московский обер-полицмейстер сообщил Закревскому: «Сколько дознано под рукою, цель этого общества следующая: сделать переворот в русской литературе, не подражать иностранным западным писателям и искать своей народной литературы, исключительно из русской истории и русских нравов». Такая цель лишала славянофильский кружок значения политической партии, а потому генерал-майор Лужин считал необходимым добавить: «Не скрываются ли под личиною литературных съездов другие какие-либо побудительные причины и не бывают ли на этих вечерах толки и мнения вовсе не литературные, того по настоящее время мною не дознано». Сообщая о результатах дознания императору, Закревский 17 июня 1852 г. писал: «Хотя секретные наблюдения за членами сего общества не обнаружили до сего времени никакой преступной цели, но как принадлежащие к оному лица большею частию литераторы, то, по мнению моему, необходимо, кроме учрежденного за ними надзора, обратить особенное внимание цензуры на печатаемые ими сочинения». В письме к главе III Отделения А. Ф. Орлову от 5 июля 1852 г. Закревский добавлял, что «общество сие легко может получить вредное политическое направление». Когда в августе 1852 г. И. Аксаков представил в цензуру вторую книгу сборника, она была подвергнута двойной цензуре министерства просвещения и III Отделения. Аксаков пытался убедить цензурные власти в благонамеренности сборников, имеющих только учено-литературный интерес, он словно повторял итоги наблюдения генерал-майора Лужина. Но судьба «Московских сборников» была предрешена. По мнению III Отделения, «славянофилы смешивают приверженность свою к русской старине с такими началами, которые не могут существовать в монархическом государстве и явно недоброжелательствуют нынешнему порядку вещей». В марте 1853 г. «Московский сборник» был окончательно запрещен, славянофилы практически лишились возможности печатать свои произведения, а И. Аксакову сверх того запрещалась редакторская работа. В журнальной деятельности славянофилов вновь наступил вынужденный перерыв[35].

Запрет на журнально-литературную деятельность славянофилов был снят в конце 1855 г., когда было разрешено издание «Русской беседы», позднее были разрешены некоторые другие славянофильские издания — «Молва», «Парус», «Сельское благоустройство», «День», но и в новых, более благоприятных общественно-политических условиях второй половины 1850 — начала 1860-х годов славянофилы постоянно ощущали пристальный надзор властей. Взаимоотношения славянофильских изданий с цензурой складывались тяжело, и М. К. Лемке имел все основания назвать И. Аксакова, присяжного редактора славянофильских печатных органов, «страстотерпцем цензуры всех эпох и направлений». Власти — III Отделение, министерство внутренних дел, министерство народного просвещения, генерал-губернатор Москвы, цензурные инстанции — по-прежнему искали в сочинениях славянофилов тайный умысел, преступные цели. В 1857 г. цензор Волков нашел в передовых статьях К. Аксакова, напечатанных в «Молве», идеи «коммунизма и равенства» и сделал любопытное наблюдение над аксаковской публицистикой: «Если, держась строго цензурным правилам, понимать все написанное в этих статьях буквально, то часто замечаешь в них отсутствие здравого смысла; если же, помимо означенных правил, смотреть на эти высокопарные статьи с другой точки, то каждый раз мне кажется, что надо читать в них *между строчками*. Я уверен, что в скором времени «Молва» как-нибудь да обмолвится, и тогда можно будет видеть и цель означенных статей и вообще цель и желания славянофилов»[36].

«Чтение между строчками» было одним из основных принципов работы русской цензуры, который она применяла не только к славянофильским изданиям. Нельзя, однако, не признать, что недолговечность «Молвы», «Паруса», «Москвы», «Москвича» прежде всего объясняется цензурными условиями, в которые они были поставлены. Неизменно подозрительное отношение властей к славянофилам и славянофильству отразилось и на судьбе «Русской беседы», «Дня», несостоявшихся «Парохода», «Думы» (1859), «Денницы» (1866). Тезис, встречающийся в работах по истории русской журналистики, об изначальной нежизнеспособности славянофильских изданий, на наш взгляд, спорен, ибо он не учитывает *особые* условия, в какие начиная с 1840-х годов была поставлена литературная и журнальная деятельность славянофилов[37].

Для характеристики положения славянофильского кружка в русской общественной жизни и отношения к нему властей нелишне напомнить, что многие сочинения славянофилов (А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, А. И. Кошелева, К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина, И. С. Аксакова) были подвергнуты безусловному цензурному запрещению, которое сохраняло силу и после исчезновения славянофильства как направления русской мысли. В частности, нельзя составить ясного представления об общественно-политических взглядах славянофилов без учета брошюр А. С. Хомякова, А. И. Кошелева, К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина, которые были изданы в 1850—1870-е годы за границей, преимущественно в Бер-

лине и Лейпциге. Цензурная традиция восприятия славянофильских сочинений как замысловатых и подозрительных в политическом отношении просуществовала до 1880-х годов. Когда в 1881 г. К. Н. Леонтьев предложил запретить сборник И. Аксакова «Взгляд назад», составленный из передовых статей газеты «Русь», он поступил не только согласно своим убеждениям, но и в соответствии с обычным для московских цензоров принципом «чтения между строчками». Особые условия, в каких протекала журнальная деятельность И. Аксакова, существовали вплоть до последних месяцев его жизни, когда он получил взыскание за «недостаток патриотизма».

В подозрительном отношении царских властей к славянофильству и славянофильскому кружку была последовательность, которую можно назвать удивительной, ибо на нее почти не влияли ни изменения внутренней политики самодержавия, ни взгляды и характеры людей, осуществлявших эту политику. А. Е. Тимашев и Н. В. Мезенцов в 1870-е годы продолжали линию, начатую А. Ф. Орловым и Л. В. Дубельтом. Совершенствование практики политического сыска, перемены цензурных правил, благонамеренные поступки и высказывания В. А. Черкасского, Ю. Ф. Самарина, И. С. Аксакова, Ф. В. Чижова не меняли правительственного восприятия славянофильства как опасной политической теории и славянофилов как лиц неблагонамеренных. В разные периоды общественной жизни 1840—1870-х годов славянофилы неизменно считались находящимися в более или менее явной либеральной оппозиции правительству. Сомнений в *оппозиционности* славянофильского кружка у правительственных лиц не было, хотя глубина этой оппозиционности измерялась по-разному. В 1860-е годы редко кому из сановников приходило в голову считать славянофилов «красными» (в среде реакционного поместного дворянства, правда, такое мнение о Ю. Самарине сохранилось и позднее) или подозревать их в подготовке открытых антиправительственных выступлений. Твердая уверенность в либерализме славянофилов уживалась в правительственных сферах со снисходительным к ним отношением. Для конца 1850 — начала 1860-х годов можно указать примеры, когда правительственные органы — министерство иностранных дел, министерство внутренних дел, цензурные инстанции — использовали авторитет славянофильского кружка для достижения своих целей: установления и поддержания контактов с балканскими славянами либо для борьбы с русским революционным движением и его дискредитации.

Власти, недовольные общим направлением аксаковского «Дня», ценили его враждебность революционной демократии. Один пример. Осенью 1861 г. Аксаков написал статью, направленную против участников студенческих волнений в Москве и Петербурге. Он призывал молодежь учиться («другой цели, другой заботы, другой деятельности у вас и быть не может и быть не должно»). Аксаков предостерегал студентов от увлечения «передовейшими» западноевропейскими теориями и звал их «изучать Россию и рус-

скую народность, чтобы наполнить бездну, еще отделяющую нас от народа». Председатель московского цензурного комитета М. П. Щербинин, несмотря на правительственный запрет писать о волнениях студентов, разрешил статью к печати, как «совпадающую с взглядами правительства». Он сообщал в Главное управление цензуры: «Голос журнала, известного самостоятельностью и искренностью своих убеждений, порицающий бессмысленные и буйные порывы молодежи, должен сильно и благодетельно подействовать на умы юношей».

Сами славянофилы иногда выступали в роли сознательных пособников правительства, щепетильно ограждая при этом свою «самостоятельность». В письме министру просвещения А. В. Головнину по поводу закрытия «Дня» в июне 1862 г. Ю. Самарин убеждал: «Во всей нашей современной журналистике «День» единственное издание, основанное на началах живучего консерватизма. Я не исключаю ни казенных изданий, ни «Русского вестника», ни «Времени»... Вам предстоит решить, что лучше: сохранить искреннего и надежного союзника, *каков он есть,* со всеми его недостатками ... или остаться безоружным против «Колокола», «Современника» и «Русского слова»[38]. Ю. Самарин безукоризненно точен в главном: славянофильская оппозиция — «надежный союзник» властей в борьбе с революционными идеями.

В целом отношение властей служит важным показателем общественной позиции кружка московских славянофилов. В 1840—1860-е годы в глазах правительства славянофилы были выразителями либеральных общественных настроений, представителями либеральной оппозиции. Правительственная оценка славянофильства была, конечно, односторонней, она почти не учитывала эволюцию славянофильских общественно-политических взглядов; власти, особенно в николаевское время, склонны были придавать действиям, сочинениям и высказываниям славянофилов смысл, который был принципиально неприемлем для самих членов славянофильского кружка. Так, в 1848—1849 гг., в тревожное время западноевропейских революций, правительственное восприятие славянофильских идей как способных произвести «ужасные бедствия» далеко расходилось не только с неоднократными заявлениями славянофилов о лояльности, но и совершенно не учитывало их стремлений в меру сил помочь самодержавию в борьбе с революционными идеями в России. Правительство переоценивало значение славянофильской оппозиции, которая, по верному признанию А. И. Кошелева, была «благомыслящей и умеренной». По нашему мнению, преувеличенная подозрительность в отношении славянофилов в первую очередь объяснялась не особенностями славянофильской теории (хотя противопоставление народа и правительства настораживало многих представителей власти, начиная с Николая I), а отсутствием у самодержавия серьезного опыта в обращении с деятелями российского либерализма, ранними представителями которого были славянофилы.

Нет необходимости доказывать, что славянофильская оппозиция

в действительности не представляла серьезной опасности для правительства. Ее исторический смысл заключался в попытке найти приемлемые для правящего класса пути выхода из социально-политического кризиса, в котором находилась крепостная Россия в середине XIX в. и глубину которого ясно видели деятели славянофильского кружка. Готовность к сотрудничеству с правительством всегда была присуща славянофилам, особенно она проявлялась в трудные для самодержавия моменты — в 1848—1849 гг., в канун падения крепостного права, в период польского восстания. Их отношение к царскому правительству было *типичным* для представителей российского либерализма, которые всегда сознательно шли на сделку с властями, если ощущали угрозу благополучию своего класса. Оговорки, которые при этом делались, были достаточно обычны. К примеру, И. Аксаков в 1863 г., в разгар польского восстания, доказывал В. А. Елагину, что «необходимо стать под знамя правительства для защиты русской земли от внешних врагов» и что «любовь к России должна пересилить отвращение к казенному порядку». В письме Ю. Самарину он пытался дать «тонкое» определение своей позиции: «Признавая, с одной стороны, в настоящую минуту поддержку правительства необходимой, я не могу не видеть опасность — как раз перейти черту этой возможной поддержки правительства». Позиция И. Аксакова, надо признать, в высшей степени характерна для российских либералов.

Ю. Самарин в те годы считал опасность «перейти черту» неважной. В полемике 1864 г. с А. И. Герценом он дал исторически точную характеристику оппозиционности славянофилов: «Вы утверждаете (по-моему, несправедливо), будто бы в славянофильской школе произошла перемена фронта в отношении к правительству; в ответ мне следовало бы сказать и доказать, во-первых, что мы никогда не были систематическими врагами правительства *как таковогo;* во-вторых, что мы и теперь отнюдь не берем на свою душу ответственности за все его действия; в-третьих, что изменялась не сущность воззрения, а, так сказать, позитура наша и тон речей, и что эта перемена совершенно естественна и законна, так как ей предшествовала перемена в настроении самого правительства, которое утратило прежнюю свою уверенность в самом себе и мечется во все стороны, прося совета и помощи» [39].

В этом пункте спора с Герценом Ю. Самарин был прав. Общественная деятельность славянофилов, их социально-политические взгляды выполняли функцию «совета и помощи», которые предлагались царскому правительству. В 1840—1860-е годы общественно-политическая программа славянофилов была разновидностью либерального реформизма, пытавшегося влиять на внутреннюю политику самодержавия. Власти, говоря словами В. И. Ленина, оказались «умнее и ловчее» [40], чем воображали Ю. Самарин, А. Кошелев и их единомышленники, отделавшись меньшими уступками, чем им советовали. Но именно «ум» и «ловкость» самодержавного правительства, воплотившего в себе коллективный опыт и коллективный разум правящих классов, вынуждают с большим

вниманием отнестись к тем оценкам славянофильства и славянофилов, которые отражали официальную точку зрения властей.

4

В 1845 г. Хомяков (в цитированном выше письме к Ю. Самарину) поставил перед славянофилами задачу: «осторожным действием» пробудить публику от «умственной апатии». Свидетель внутренней жизни славянофильского кружка и один из первых историков раннего славянофильства Э. А. Дмитриев-Мамонов в 1873 г. утверждал: «Для верной оценки московского направления 1840-х годов не должно забывать весьма важное обстоятельство, именно, что оно было в опале не только у правительства, но у всего консервативно настроенного общества, что оно ставило себя, как *протест против общества и его апатии,* оставляя правительство в стороне». Во имя чего протестовали первые славянофилы? Дмитриев-Мамонов, который отлично знал сочинения и образ мыслей И. Киреевского и А. Хомякова, интересно раскрывал славянофильские общественно-политические идеалы: «Славянофилы... думали пересоздать, облагородить общество, поднять его уровень, вызвать к деятельности усыпленные его силы: тогда внешность государственная должна была бы исправляться сама собой, не сверху вниз, а снизу вверх, должна была расти и возвышаться вместе с обществом, органически соединяться с народом: она была бы всегда истинным выражением его интеллигенции и его нужд». Высказывание Дмитриева-Мамонова (смысл его последних слов не вполне ясен) обращает внимание исследователей на связь заявлений славянофилов о необходимости «воспитания общества» с характером славянофильской общественной деятельности, объясняет своеобразие общественно-политических взглядов славянофилов.

И. С. Аксаков, в полемике с Дмитриевым-Мамоновым занявший неуступчивую позицию, здесь был согласен с оппонентом, выводы которого он уточнил с точки зрения характерного для младшего поколения аксаковской семьи воинствующего славянофильства: «Что славянофильский протест не касался вопроса в тесном смысле политического, а имел характер по преимуществу общественный, это вполне справедливо, но не *апатия* общества вызвала этот протест — против апатии ратовали и западники — а *ложное* направление общественного развития и всякая деятельность в этом направлении, *тем более не апатическая*»[41].

Близкие по мысли суждения Дмитриева-Мамонова и И. Аксакова имеют для нас важное значение. Оба полемиста видят в деятельности первых славянофилов форму общественного протеста и вместе с тем подчеркивают аполитизм славянофилов. В чем был смысл этого аполитизма? Действительно ли славянофильский протест оставлял правительство в стороне? Почему попытки «разбудить» и «воспитать» русское общество были встречены властями столь подозрительно? Поиски ответов на эти вопросы обращают

наше внимание на славянофильские идеи «воспитания общества», изучение которых, на наш взгляд, уясняет социально-политические идеалы славянофильства.

Весной 1844 г., когда в славянофильском кружке стала обсуждаться возможность издания «Москвитянина», И. Киреевский писал Хомякову: «...разбирая свой образ мыслей по совести, я не нахожу в нем ничего возмутительного, ни противного правительству, ни порядку, ни нравственности, ни религии, и потому осмеливаюсь думать, что не недостоин того, чтобы молчание, наложенное на меня с 32-го года, было, наконец, снято» (II, 232). В начале следующего, 1845 г., после того как правительство усмотрело в деятельности славянофильского кружка признаки «вредного политического движения», когда Хомяков был рад тому, что славянофилы «признаны и не сосланы», И. Киреевский излагал В. А. Жуковскому, своему наставнику и другу, причины, по которым он принял на себя редакцию журнала: «Над всем этим носилась та мысль или, может быть, та мечта, что теперь именно пришло то время, когда выражение моих задушевных убеждений будет и не бесполезно и возможно. Мне казалось вероятным, что в наше время, когда западная словесность не представляет ничего особенно властвующего над умами, никакого начала, которое бы не заключало в себе внутреннего противоречия, никакого убеждения, которому бы верили сами его проповедники, что именно теперь пришел час, когда наше православное начало духовной и умственной жизни может найти сочувствие в нашей так называемой образованной публике, жившей до сих пор на веру в западные системы» (II, 236).

«Задушевные убеждения» И. Киреевского были вполне согласны мыслям Хомякова, который именно тогда мечтал «духовным и монашеским трудом» пробудить русскую публику, в распространении указанного И. Киреевским «православного начала духовной и умственной жизни» видел «не только русское, но и всемирное» дело славянофилов. В высказываниях И. Киреевского и А. Хомякова легко увидеть сходство не только в образе мыслей, но и в форме их выражения. Общественная активность славянофилов в середине 1840-х годов была основана как на вере в возможность глубокого воздействия на «образованную публику» — читателей журналов, свидетелей салонных споров, так и на общности социально-политических идеалов, которые вырабатывались, уточнялись и развивались совместными усилиями всех членов кружка. Последнее обстоятельство, согласие основных убеждений, Ю. Самарин считал даже недостатком кружка московских славянофилов. В 1845 г. он сообщал К. Аксакову: «При внутреннем единстве направления, какое господствует у нас в Москве, случается часто, что иная мысль, пущенная в ход, принимается всеми на веру, по непосредственному сочувствию. Это прекрасно... но мысль должна быть доказана и оправдана не только ради возражений, которые она встретит при своем распространении, но ради самой себя» (XII, 156).

«Единство направления» было осознанным стремлением московских славянофилов 1840-х годов, которое в славянофильском учении подкреплялось ссылками на необходимость не только «воспитания общества», но и «самовоспитания». Немногочисленность славянофильского кружка облегчала достижение «единства направления», но одновременно предъявляла высокие требования к единству действий славянофилов. В декабре 1845 г. Хомяков ответил на сомнения Самарина, высказанные годом раньше («может быть, и подлинно Россия много выиграет, когда нас разбросают по разным концам»): «Нас слишком мало, чтобы нам расходиться по белу свету. Еще нужен нам фокус, в котором сосредоточивалась бы наша мысль, согревая взаимно друг друга, укрепляя наши личные силы и устремляя их к одному направлению. Лучинки разрозненные горят да и гаснут: вместе связанные они передают огонь целому костру. Ни мы сами, ни Россия еще не дошли до той степени, в которой разрознение и рассеяние наше по ее лицу могло бы быть полезно» (VIII, 260).

«Фокусом» была Москва, ее общественная жизнь, а в ней — небольшой круг избранных: Елагины-Киреевские, Аксаковы, Хомяковы, Языковы, Самарины. В том же письме Хомяков высказывает редкий у него, но обычный, например, для К. Аксакова «москвизм»: «...есть такие направления и такой характер мысли и жизни, которые теперь нигде, кроме Москвы, невозможны» (VIII, 259). Отметим, что крайние, аксаковские формы «москвизма» обессмысливали славянофильство как направление общественной мысли. Пример подобной крайности мы находим в дневнике Е. И. Поповой, которая в феврале 1847 г., получив известие о скорой женитьбе В. А. Панова, записала: «Панов, попавшись в брачные сети, перестал быть сыном Отечества и гражданином... Бодрый труженик науки избрал себе цель животную, которая приводит к ничтожности!.. Остаемся только мы трое верными сынами православной Руси: я, простой человек, Константин Великий (К. Аксаков) и Петр Васильевич (Киреевский), т. е. Петр Пустынник! Увы! нашего полку убыло, полку вольных людей Москвы православной! О горе нам!» [42]

Славянофилов немного, и потому столь высока их личная ответственность за успех «воспитания общества». Быть славянофилом — значит прежде всего быть активным общественным деятелем, «воспитателем». В 1856 г. Хомяков видел в этом все значение деятельности славянофилов: «Все наши слова, все наши толки имеют одну цель, цель *педагогическую*» (III, 212). Нелишне подчеркнуть, что славянофильское учение было обращено к русскому обществу, оно было противоположно идеям самопознания и личного нравственного усовершенствования, которые в 1840-е годы развивал Н. В. Гоголь. «Нравственные начала», которые лежат в глубине историко-философских и социально-политических воззрений славянофильства, — это идеалы общественной нравственности, нравственного здоровья русского народа. Личное «спасение» занимало славянофилов меньше, чем Гоголя. Здесь нет

возможности подробно останавливаться на этом сложном вопросе, но одно высказывание младшего славянофила, И. С. Аксакова, привести стоит. В 1844 г. он писал родителям: «...я очень благодарен вам за предыдущие письма и за копию с письма Гоголя... Нет, сознавая истину его слов, я не могу оторваться от жизни и стремлюсь к противоположной цели... Жить, посвятив себя изучению собственной души своей, углубляться в самосознание, просветить духовные очи свои, и после долгой, трудной борьбы, после тяжкого подвига исполниться гармонии и божественной любви — высоко, прекрасно. Но это может быть уделом одного лица. Человечество живет, движется, трепещет действительностью... И так сильно сочувствие мое к человечеству, тревожно бегущему к неизвестной цели, так близки мне интересы его нравственной жизни и материальных выгод, что, охотно пожертвовав блаженством христианским, личным, я посвятил бы себя на общую пользу, согласился бы быть одним из камней пирамиды... Мне кажется, что с гоголевым настроением духа ... не будешь годиться для общественной жизни» [43].

Высказывание молодого чиновника, посланного с сенатской ревизией в Астрахань, если и не уничтожает полностью сконструированную М. О. Гершензоном схему русского общественного развития, то радикально меняет место, занимаемое в ней славянофильством.

В немногочисленности своего кружка славянофилы находили своеобразное подтверждение правоты учения, доказательство будущего всемирного предназначения славянофильства. В феврале 1849 г. Хомяков внушал А. Н. Попову: «Воспитание общества только что начинается, а покуда оно не продвинулось сколько-нибудь, никакого пути ни в чем быть не может. Из наших многие начинают сомневаться в успехе самого этого воспитания: они говорят и, по-видимому, справедливо, что число западников растет не по дням, а по часам, а наши приобретения ничтожны. Это видимая правда и действительная ложь. Вот мое объяснение. Мысль распространяется как мода. Начинается с десяти герцогинь, идет к тысяче дам салонных и падает в удел сотне тысяч горничных и гризеток. Численное приобретение и действительный упадок. Тоже и с мыслию: она переходит от десятка душ герцогинь к сотне тысяч горничных душ. Без слепоты нельзя не признать, что старая западная мысль сделалась нарядом всего горничного мира; но без пристрастия нельзя отрицать и того, что мы много выиграли места в душевной аристократии» (VIII, 197). В письме к Ю. Самарину понравившееся сравнение усилено: «Есть умственные герцогини, и, глядя на них, мы не можем сказать, что мы в упадке, тогда как видимый успех Запада у нас ясно ограничивается горничными» (VIII, 272). Ощущение избранности, принадлежности к «душевной аристократии» всегда было присуще славянофилам. После смерти Хомякова, в новых исторических условиях пореформенной России, В. А. Елагин, верный хранитель чистого славянофильства, писал в 1862 г. к И. Аксакову: «Сколько нас — это не

важно в сущности, и не может быть сочтено и взвешено статистически, и ведь не статистически спасается народ, а солью земли»[44]. Избранность как бы налагала на славянофилов обязанность и бремя обращения к русскому обществу, его «пробуждения» и «воспитания».

«Единство направления» и единство действий, вера в правоту учения и чувство принадлежности к кругу избранных, в сочетании с провозглашенной И. Киреевским благонамеренностью образа мыслей были необходимыми предпосылками целенаправленного воздействия московских славянофилов на русское общество, залогом его успешного «воспитания». «Воспитание общества» И. Киреевский, А. Хомяков, К. Аксаков понимали как его полное преобразование на началах, ими указанных. Эти начала они считали угаданными в русском народе, узнанными в русской истории. Итог «воспитания» — достижение общественного идеала, о котором мечтали славянофилы и который был, например, указан Хомяковым в статье «Об общественном воспитании в России» (1850): «Внутренняя задача русской земли есть проявление общества христианского, православного, скрепленного в своей вершине законом живого единства и стоящего на твердых основах общины и семьи» (I, 354). К достижению этого идеала, в деталях, впрочем выраженному всегда неясно, стремились и И. Киреевский, когда он в 1845 г. начинал издание «Москвитянина», и А. Хомяков, «по приказанию» «умственной герцогини» А. Д. Блудовой писавший в 1850 г. статью о воспитании, и К. Аксаков, составивший в 1855 г. для Александра II записку «О внутреннем состоянии России». Осуществление идеала «общества христианского, православного» славянофилы ожидали в будущем, но его прообраз они находили в «русском обществе древних времен», которое (слова И. Киреевского из статьи 1852 г.) «выросло самобытно и естественно, под влиянием одного внутреннего убеждения, церковью и бытовым преданием воспитанного». И далее И. Киреевский рисует картину идеальных общественных отношений, раскрывает заветные надежды славянофильской социальной теории: «Однако же — или лучше сказать *потому* именно в нем (обществе. — *Н. Ц.*) не было и мечтательного равенства, как не было и стеснительных преимуществ. Оно представляет не плоскость, а лестницу, на которой было множество ступеней; но эти ступени не были вечно неподвижными, ибо устанавливались естественно, как необходимые сосуды общественного организма, а не насильственно, случайностями войны, и не преднамеренно, по категориям разума» (I, 206).

В основе славянофильской теории «воспитания общества» лежит не новая для середины XIX в. мысль о том, что идеи (И. Киреевский предпочитал слово «убеждения», и характерно его недовольство общественными установлениями «по категориям разума») правят миром. Очевидны идеализм и антиисторизм славянофильских представлений о ходе общественного развития. Идеал славянофилов — общество сословное, классовое, «лестница, на которой

множество ступеней». «Душевный» аристократизм Хомякова легко переходил в аристократизм сословный, дворянский, и в той же статье о воспитании он писал: «Сельское училище, даже высшее, не должно вырывать селянина из его общинного круга и давать излишнее развитие его индивидуальности» (I, 355). В этом высказывании, заметим, полное отрицание тех «демократических настроений», которые некоторые исследователи находят в славянофильстве.

В исторической перспективе ясна практическая несостоятельность идеи «воспитания общества», ее утопизм. Русское общество середины XIX в. — объект «воспитания» — почти не заметило усилий славянофилов. Последнее обстоятельство, правда, может быть отчасти объяснено цензурными стеснениями. «Воспитанию общества» была посвящена принципиально важная серия статей Хомякова, написанных в 1845—1851 гг. Из них последние четыре — «По поводу Гумбольдта», «О сельской общине», «Об общественном воспитании в России», «Аристотель и всемирная выставка» (1849—1851) — не были в свое время напечатаны. После выхода в свет первых трех — «Мнение иностранцев о России», «Мнение русских об иностранцах», «О возможности русской художественной школы» (1845—1847) — Хомяков писал, что в Петербурге «всего человека три прочли их, да и те почти ничего не поняли». Но в этом же письме к Самарину повторяется призыв, который делал Хомякова подлинным центром, душой славянофильского кружка: «Не должно слабеть. Наше дело — борьба нравственная, а в такой борьбе победа покупается не днями, а годами труда и самоотвержения» (VIII, 269). Хомяков приучал своих единомышленников к мысли о медленности «воспитания общества», о необходимости предшествующего ему самовоспитания.

Высказывания Хомякова дают возможность проследить эту мысль в ее хронологическом развитии. 1845 г. — «Никто из нас не доживет до жатвы» (VIII, 252). 1846 г. — «Успехи будут медленны, и только дети наши воспользуются трудами наших современников» (I, 69). 1849 г. — «Много еще времени, много умственной борьбы впереди... Все дело людей нашего времени может быть еще только делом самовоспитания. Нам не суждено еще сделаться органами, выражающими русскую мысль; хорошо, если сделаемся хоть сосудами, способными сколько-нибудь ее воспринять. Лучшая доля предстоит будущим поколениям» (I, 173). 1851 г. — «... для нас и не существует жалобы на невозможность деятельности полезной. Эта деятельность для нас легка и неотъемлема: она состоит в том великом подвиге, в том великом труде самовоспитания, который нам предстоит... живи и мысли — вот деятельность, которая не может быть бесполезною... Скорый успех невозможен в борьбе с полуторавековым обманом, с полуторавековыми привычками» (I, 190—191, 194). Семь лет спустя, в 1858 г. Хомяков призывал Самарина вспомнить, что было четверть века назад: «Вы Акс[аковы], Кир[еевские], Кошелев и все мы, были ли возможны? Недавнее время воспитало нас, а мы, очевидно, опе-

редили других, итак — все дело в воспитании. Мы — передовые; а вот правило, которого в историях нет, но которое в истории несомненно: передовые люди не могут быть двигателями своей эпохи, они движут следующую, потому что современные им люди еще не готовы» (VIII, 298).

В последних словах слышны гордость и оптимизм. Шел 1858 г., канун крестьянской реформы, и все огромное письмо к Самарину было посвящено эмансипации, понимаемой как «явление жизни мировой». В славянофильском кружке верили, что их ожидания сбудутся. Неоднократно отмеченная Хомяковым невозможность «скорого успеха» не была простым стремлением оправдать малую известность славянофильского учения в русском обществе. Медленность процесса «воспитания общества» была естественным образом связана с хомяковским призывом к «осторожному действию», с его уверенностью, что «только медленно и едва заметно творящееся полезно и жизненно; все быстрое идет к болезням» (VIII, 297—298). Ее до́лжно признать своеобразным (как почти все в славянофильстве) выражением идеи эволюционного развития общества, идеи социального реформизма.

Правомерен ли такой вывод? Не упрощает ли он общественно-политические взгляды Хомякова? Не ведет ли к излишней «либерализации» места славянофилов в идейной жизни России? Обратимся к славянофильской идее «воспитания общества» в ее конкретно-историческом воплощении.

В 1840—1850-е годы мысль о необходимости «воспитания общества» звучала признанием неблагополучия современного дворянского общества, она предполагала неприятие и глубокую критику российских общественных отношений, а затем, в стремлении к славянофильскому идеалу, и их перестройку. Эта идея была формой общественного протеста, который шел из среды передовой дворянской интеллигенции, из небольшого кружка московских славянофилов. В этом объективный смысл идеи «воспитания общества», неоригинальность и практическая неосуществимость которой имеют второстепенное значение для ее исторической оценки. Славянофильский протест был сознательным, последовательным и принципиальным протестом либеральной оппозиции. Он не требовал немедленного перехода к активным действиям по переустройству общества, его умеренность была органическим свойством либеральной общественности, и он вполне уживался со стремлением российских либералов ладить с самодержавием, а в кризисные моменты — сотрудничать с ним.

В контексте «воспитания общества» сочетание в славянофильстве неприятия современных общественных отношений с убежденной антиреволюционностью и послушанием властям находило теоретическое объяснение в противопоставлении государства и общества, политического и социального вопросов, юридического и нравственного аспектов общественного устройства, в идеях социальной гармонии и справедливости. Идея «воспитания общества» содержала в себе мысль о возможности создания новой социальной

теории («новой науки», по словам И. Киреевского), которая должна была включить в себя чисто политические вопросы. В русской идейной жизни 1840-х годов славянофилы (вслед за В. Г. Белинским) провозгласили идею первенства задач общественных, социальных над задачами политическими, указали на связь, которая существует в решении этих задач. Эта идея была крупным вкладом в русскую общественно-политическую мысль, и несомненна заслуга славянофилов — И. Киреевского, А. Хомякова, Ю. Самарина — в ее распространении. В подчинении политических вопросов вопросам социальным заключается смысл аполитизма славянофилов, в этом — главная особенность славянофильских общественно-политических взглядов.

Первым из русских мыслителей о роли социальных вопросов заговорил В. Г. Белинский. Стесненный в подцензурной печати, он изложил свои мысли в письме к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г. Письмо — блестящий образец русской политической мысли 1840-х годов. Белинский писал: «Социальность, социальность — или смерть! Вот девиз мой. Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность... Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает его возможность?» Критика общественных отношений прошлого и настоящего («отрицание — мой бог») связана у Белинского с верой в «золотой век» будущего. Он спрашивал у Боткина: «Боткин, ведь ты веришь, что я, как бы ты ни поступил со мною дурно, не дам тебе оплеухи... и я верю, что и ты ни в каком случае не поступишь со мною так; что же гарантирует нас — неужели полиция и законы? — Нет, в наших отношениях не нужны они — нас гарантирует разумное сознание, воспитание в социальности». Вопрос Белинского, содержащий противопоставление закона и разумного сознания, сама идея «воспитания в социальности» предвосхищает позднейшие высказывания славянофилов. Сходны и дальнейшие рассуждения: «Светский пустой человек жертвует жизнию за честь, из труса становится храбрецом на дуэли, не платя ремесленнику кровавым потом заработанных денег, делается нищим и платит карточный долг, — что побуждает его к этому? — Общественное мнение? Что же сделает из него общественное мнение, если оно будет разумно вполне? К тому же, воспитание всегда делает нас или выше, или ниже нашей натуры, да, сверх того, с нравственным улучшением должно возникнуть и физическое улучшение человека. И это сделается чрез *социальность*. И потому нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу». Далее Белинский делает вывод, который был совершенно неприемлем для славянофилов: «Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови» [45]. В этих словах суть революционного подхода к решению социальных вопросов, указание на его принципиальное отличие от либеральной тактики «осторожного действия».

Решительно отстранив мысль о «насильственных переворотах», славянофилы в других вопросах близко подошли к мнениям Бе-

линского. В «Обозрении современного состояния литературы» (1845) И. Киреевский впервые (со ссылкой на западноевропейскую общественную мысль) противопоставил вопросы социальные и политические: «Заметим, что вопросы собственно политические, правительственные, которые так долго волновали умы на Западе, теперь уже начинают удаляться на второй план умственных движений, и хотя при поверхностном наблюдении может показаться, будто они еще в прежней силе, потому что по-прежнему еще занимают большинство голов, но это большинство уже отсталое; оно уже не составляет выражения века; передовые мыслители решительно переступили в другую сферу, в область вопросов общественных, где первое место занимает уже не внешняя форма, но сама внутренняя жизнь общества, в ее действительных, существенных отношениях» (I, 123—124).

Мысль И. Киреевского была воспринята и многократно повторена другими славянофилами в применении к задачам русской общественной жизни и без ссылок на западноевропейскую литературу. Право первенства было признано за И. Киреевским, и в 1847 г. Хомяков писал: «Время политики миновало. Это Киреевский напечатал тому уже два года, а люди все толкуют про старые дрожжи» (VIII, 269). В литературе не раз предпринимались попытки установить степень влияния на славянофильскую политическую мысль современных ей западноевропейских «передовых мыслителей». Кто они? Б. Нольде и сравнительно недавно Э. Мюллер указали на глубокое воздействие идей Лоренца фон Штейна на славянофилов, в частности на Ю. Самарина[46]. Действительно, в славянофильской социологии немало поразительных совпадений с выводами знаменитого немецкого ученого, например, противопоставление государства и общества. Но было и другое влияние, не столь прямое, но не менее важное — влияние современной французской литературы. Подчеркнем, не отдельных авторов, не Гизо, не Бастиа (его высоко ценил И. Аксаков), не Ламеннэ (известен отрицательный о нем отзыв Ю. Самарина), не Жорж Занд, не Луи Блана, не Прудона, а социального направления французской литературы, которое проявлялось в сочинениях исторических, экономических, беллетристических[47]. И. Киреевский следующим образом рисовал состояние литературы во Франции 1840-х годов: «Существенный вопрос настоящей минуты состоит там в соглашении *религии* и *общества*. Писатели религиозные вместо догматического развития ищут действительного применения, между тем как мыслители политические, даже не проникнутые убеждением религиозным, изобретают убеждения искусственные, стремясь достигнуть в них безусловности веры и ее надразумной непосредственности». В настоящее время мы не можем вполне достоверно установить круг чтения И. Киреевского, определить писателей, имена которых он не назвал, но которые оказали на него влияние. Важно другое. В соглашении «религии и общества» И. Киреевский видел общее направление развития французской мысли и ставил вопрос: «Родится ли от того новая наука: наука *общественного бы-*

та — как в конце прошедшего века, от совместного действия философского и общественного настроения Англии родилась там новая *наука народного богатства*?» Вывод И. Киреевского исключительно важен: «...мы замечаем, что к новым вопросам возбуждено внимание, и хотя не думаем, чтобы во Франции могли они найти свое окончательное решение, но не можем, однако же, не сознаться, что ее словесности предназначено первой внести этот новый элемент в общую лабораторию человеческого просвещения» (I, 137—139).

«Наука общественного быта», социальная теория, стоящая выше политики и основанная на примирении задач религиозных и общественных, — славянофильская мечта 1840-х годов. Славянофилы верили, что «окончательное решение» вопроса справедливого устройства общества будет найдено не во Франции, а в России. В 1846 г. Хомяков писал к А. В. Веневитинову: «Науки политические остались за людьми прежнего поколения, наше поколение увлеклось наукою социалистическою; но все это устарело... Наука должна явиться жизненная. Ее должна создать Россия; но для того, чтобы Россия создала что-нибудь, нужно, чтобы Россия могла что-нибудь создать» (VIII, 75). Теоретические искания А. Хомякова, И. Киреевского, К. Аксакова обретают смысл как попытка создания «науки общественного быта», на основе которой можно вести «воспитание общества». «Единственным средством лечения» называл Хомяков ожидаемую «новую науку», которая, как он надеялся, будет создана славянофилами. В этом он видел общественное предназначение кружка московских славянофилов и предостерегал своих единомышленников от увлечения политическими вопросами. В июле 1846 г. — он работал над третьей статьей из теоретического цикла 1845—1851 гг. — Хомяков писал к Попову: «Глупо с нашей стороны давать себе вид политических действователей. По сущности мысли своей мы не только выше политики, но даже выше социализма, который есть не что иное, как вывод и вывод односторонний, из общего воспитания человеческого духа» (VIII, 168).

Поисками «новой науки» следует объяснить странные нападки Хомякова на европейскую науку, мысль И. Киреевского о «неудовлетворительности безусловного разума» (I, 143), хомяковское «неверие в человеческий ум» (I, 135). Рационализму европейской науки славянофилы противопоставляли религиозно-нравственный опыт русской земли. И. Киреевский в 1845 г. утверждал, что современное европейское просвещение неудовлетворительно и должно «принять в себя другое, новое начало, хранившееся у других племен, не имевших до того времени всемирно-исторической значительности» (I, 144). Подразумевались, конечно, «русские начала».

Развивая мысль И. Киреевского, Хомяков мечтал о «русской науке», обличал современное состояние просвещения в России, где подражание Западу означало «невозможность науки, искусства и быта» (I, 156). Особо интересно противопоставление формально-

го права и нравственных обязанностей. Отвергая «науку права», Хомяков мечтал о «науке о нравственных обязанностях, возводящих силу человека в право» (I, 14—15). В обществе, которое развивается «не по логическим путям» (I, 20), внешние, юридические ограничения имеют второстепенное значение, более важны «законы нравственного мира», которые, считал Хомяков, «так же непреложны, как и законы физического мира» (VIII, 362). «Пожимай плечами, болонский юрист!» — восклицал Хомяков, для которого обычное право крестьянской общины (право «нравственное», «обычай») было выше классического римского права («закона») (I, 166—169; III, 75—76). О том же в 1852 г. подробно писал И. Киреевский: «Римское право имеет... внешний формальный характер, за наружною буквою формы забывающий внутреннюю справедливость» (I, 192). Можно ли видеть в подобных высказываниях (их у славянофилов немало) отрицание буржуазного права? Утвердительный ответ на этот вопрос был дан З. В. Смирновой, которая определяла славянофильство как «антипод» буржуазного мировоззрения[48]. На наш взгляд, критические замечания А. Хомякова и И. Киреевского, за которыми шли К. Аксаков и Ю. Самарин, имели ограниченное значение, в конечном счете они должны были расчистить место для «новой науки», «науки догадочной», что включает в себя данные «науки положительной», возможной на Западе («Мнение иностранцев о России» Хомякова). В частности, по мнению славянофилов, обычное право мирской сходки было более зрелым «возрастом права» (Хомяков), оно вбирало все предыдущие юридические начала. Славянофильская критика «внешних форм» западного (буржуазного) общества, лишенного «внутреннего источника жизни» («под наружною механикой задавили человека», — проницательно заметил И. Киреевский. — I, 153), действительно была очень острой. Но ее нельзя считать безоговорочным отрицанием современного западного общества, она была пронизана стремлением преодолеть «безнравственность» западных форм в будущем русском «нравственном обществе». Речь шла о морально-этическом улучшении буржуазных отношений.

В 1848 г., когда у славянофилов окончательно исчезли надежды на появление «науки общественного быта» во Франции, Хомяков в программном «Письме об Англии» попытался («при жалком состоянии общественной науки») отойти от критики западноевропейских систем и создать свою теорию общественного развития: «Всякое общество находится в постоянном движении; иногда это движение быстро и поражает глаза даже не слишком опытного наблюдателя, иногда крайне медленно и едва уловимо самым внимательным наблюдением. Полный застой невозможен, движение необходимо; но когда оно не есть успех, оно есть падение. Таков всеобщий закон». Для Хомякова, отметим, крайне характерно сочетание четких выводов с произвольным подбором или полным отсутствием доказательств. Сформулировав «всеобщий закон», он продолжал: «Правильное и успешное движение разумного общества состоит из двух разнородных, но стройных и со-

гласных сил. Одна из них основная, коренная, принадлежащая всему составу, всей прошлой истории общества, есть сила жизни, самобытно развивающаяся из своих начал, из своих органических основ; другая, разумная сила личностей, основанная на силе общественной, живая только ее жизнию, есть сила, никогда ничего не созидающая и не стремящаяся что-нибудь созидать, но постоянно присущая труду общего развития, не позволяющая ему перейти в слепоту мертвенного инстинкта или вдаваться в безрассудную односторонность. Обе силы необходимы, но вторая, сознательная и рассудочная, должна быть связана живою и любящею верою с первою, силою жизни и творчества. Если прервана связь веры и любви, наступают раздор и борьба» (I, 127—128).

Хомяков придавал немалое значение созданной им социологии, не раз ссылался на статью «Письмо об Англии», прямо цитировал приведенное нами место («По поводу Гумбольдта».— I, 152—153). На выводы Хомякова ссылались и другие славянофилы — И. Киреевский, Ю. Самарин, К. Аксаков. В статье «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» (1852) И. Киреевский развил мысль Хомякова об опасности для «разумного» общества «раздора и борьбы»: «...в обществе, устроившемся естественно из самобытного развития своих коренных начал, каждый перелом есть болезнь, более или менее опасная; закон переворотов, вместо того, чтобы быть условием жизненных улучшений, есть для него условие распадения и смерти: ибо его развитие может совершаться только гармонически и неприметно, по закону естественного возрастания в односмысленном пребывании». Такому идеальному обществу он противопоставил «общество искусственное» (европейское), где развитие совершается «по закону переворотов — сверху вниз или снизу вверх, смотря по тому, где торжествующая партия сосредоточила свои силы, и куда торжествующее мнение их направило» (I, 208—209).

Конечно, Хомяков не был создателем «новой науки». Объективное содержание его построений заключено в указании на важность социальной солидарности и в обосновании роли «разумной силы личностей», тех избранных, что призваны «воспитывать» общество и руководить им. Социология, претендовавшая на всеобщность, как будто обходит (содержание хомяковского цикла статей 1845—1851 гг. тому подтверждение) политические вопросы, но едва ли не единственное ее назначение — предостеречь от «раздора и борьбы», проявление которых Хомяков видел в русском прошлом и настоящем (I, 153—156).

«Письмо об Англии» не сразу было пропущено московской цензурой: в Англии автор побывал в 1847 г., а его статья рассматривалась цензорами в первую половину 1848 г. — года революций. Задержка с напечатанием статьи дала Хомякову повод к своеобразным авторским комментариям, которые раскрывают политические аспекты его социологической теории. В письме к Попову он возмущен недооценкой властями «разумной силы личности», чья лояльность несомненна: «Неужели не понимают, что на-

лагать молчание на самодельную мысль... то же, что готовиться к войне и запретить всякую выделку пороха для того, чтобы он не сделался орудием мятежа». Хомяков — не мятежник: «...видеть, что нет никакой возможности принести хоть какую-нибудь пользу, это несносно, а еще несноснее видеть, что этот слепой страх, которым проникнута цензура, ведет к беде». Зародыш беды — в недоверии к Москве и ее представителям. «В ней (Москве. — *Н. Ц.*) сосредоточивается и выражается сила историческая, сила предания, сила устойчивости общественной; но этой силе нужно выражение, этому выражению нужна свобода, хотя бы в свободе и проглядывало какое-нибудь, по-видимому, оппозиционное начало. Эта мнимая оппозиция есть истинное и единственное консерваторство».

Слова «свобода» и «оппозиционное начало» верно выражают общественную позицию Хомякова. Если отрешиться от своеобразия хомяковской терминологии, то нельзя не сделать вывода, что в 1848 г. его беспокоила возможность разрыва правительства с либеральной оппозицией, которая является (еще одно определение) «живой силой охранной». Оппозиция в критические моменты *полезна* правительству — вот мысль Хомякова, недаром ценившего английский политический уклад: «Теперь не только можно, но должно поощрить, развязать умственное движение в центре жизни нашей, в Москве» (VIII, 180). Хомяков звал к действию, к «войне» с революционным движением.

Оппозиция *полезна* и *неопасна* для правительства, уточнил И. Киреевский. Его письмо к Погодину (весна 1848 г.) дает возможность проследить нередкие в славянофильском кружке тактические разногласия, в данном случае между А. Хомяковым и И. Киреевским. Последний согласен, что «цензурные стеснения вредны для просвещения и даже для правительства», но — весна 1848 г.! — «не велика еще беда, если наша литература будет убита на два или на три года». Логика И. Киреевского безукоризненно либеральна: «При теперешних бестолковых переворотах на Западе *время ли* подавать нам *адресы* о литературе?» Главное — убедить правительство в лояльности, в готовности к сотрудничеству: «Правительство теперь не должно бояться никого из благомыслящих. Оно должно быть уверено, что в теперешнюю минуту мы все готовы жертвовать всеми второстепенными интересами для того, чтобы только спасти Россию от смут и бесполезной войны» (II, 249).

«Спасти Россию от смут» ... Российские либералы часто об этом думали и говорили, не замечая, к чему вела их тактика уступок, соглашений, сотрудничества с правительством.

Чем полезна оппозиция? В согласии с идеей «воспитания общества» Хомяков отвечает (письмо к Попову от 17 марта 1848 г.): «Со времен революции (1789 г. — *Н. Ц.*) торжествует (хотя, разумеется, существует издавна) нелепое учение, смешивающее жизнь общества государственного с его формальным образом. Это учение так глубоко пустило свои корни, что оно служит основанием

самому протестантству политическому (коммунизму или социализму), разрешающему задачу общества только новою формою, враждебною прежним формам, но в сущности тождественною с ними... Перевоспитать общество, оторвать его совершенно от вопроса политического и заставить его заняться самим собою, понять свою пустоту, свой эгоизм и свою слабость: вот дело истинного просвещения, которым наша русская земля может и должна стать впереди других народов» (VIII, 178).

Комментировать эти слова вряд ли нужно. Славянофильская риторика: «истинное просвещение», «русская земля — впереди других народов», «воспитание общества» — имела отчетливое антиреволюционное, антисоциалистическое звучание. Этим же целям служили аполитизм славянофилов, их осознанное, принципиальное стремление стать «выше политики, выше социализма». Революция была неприемлема для славянофилов, и одна из целей их социологии заключалась в том, чтобы доказать невозможность революции в России, особенно при условии достижения чаемого идеала «нравственного общества».

Из многих высказываний московских славянофилов о революционном преобразовании общества приведем выдержку из письма Хомякова к Попову, которое является наиболее ценным документом для характеристики общественной позиции и политических взглядов признанного теоретика славянофильства. Письмо было написано в 1852 г., когда над славянофильским кружком нависла угроза правительственных гонений из-за аксаковского «Московского сборника». Хомяков был встревожен и, адресуясь к Попову, который служил в Петербурге под началом гр. Блудова, считал полезным объясниться: «... я никогда и никак не могу заслужить справедливого упрека по своим действиям и мыслям общественным. Много имел я приятелей, которые были или скептики, или вовсе неверующие (с двадцатилетнего возраста), и почти все сделались людьми искренно верующими. Много было либералов даже в крайней степени (такова была эпоха), и они сделались монархистами». В этих превращениях Хомяков видит влияние своего всегдашнего убеждения (он повторяет мысли статей 1840-х годов): «...истинное просвещение имеет по преимуществу характер консерваторства, которое есть постоянное усовершенствование, всегда опирающееся на очищающуюся старину. Совершенная остановка невозможна, а разрыв гибелен». Далее он излагает свой взгляд на революцию, стремясь придать ему характер универсальный, равно для всех слоев общества приемлемый и затушевать его классовый, политический смысл: «Есть против переворотов ненависть политическая; она может иметь свою пользу, но она, по-моему, низка и бессильна, ибо она принадлежит только богатым мира сего. У меня всегда была... против тех же революций ненависть нравственная, которая не только благороднее, но и сильнее, ибо она также возможна в бедном, как и в богатом. Это убеждение не мешает жизни мысли. Как этого не умеют прочесть во всех моих статьях, не знаю». И — великолепное признание, которое

придает картине завершенность: «Впрочем, те умели, которые меня сызмолода величали *сервилистом*» (VIII, 211—212).

Здесь мы находим редчайшее у Хомякова воспоминание о «тех», кто не сделался монархистами, о «тех», кому он доказывал, что «из всех революций самая беззаконная есть революция военная». Кто назвал Хомякова «сервилистом»? К. Ф. Рылеев, поздним осенним вечером 1825 г. споривший с ним о конституции? А. И. Одоевский, которого Хомяков уверял, что тот «вовсе не либерал и только хочет заменить единодержавие тиранством вооруженного меньшинства»? Мы не знаем. Ясно одно: в глазах декабристов молодой Хомяков был раболепным, угодливым прислужником существующего строя, что не мешало царскому правительству и четверть века спустя видеть в нем революционера[49]. А. И. Одоевский (Хомяков прав) не был либералом, но в их беседе о революции, тирании и либерализме не был ли либералом Хомяков, противник революции, но и противник «тиранства». Ведь «сервилизм» — неполная, прежде всего этическая оценка политических убеждений.

Будучи идейными противниками революции, славянофилы не отрицали ее исторической законности, неизбежности на Западе. В начале 1840-х годов Хомяков в «Семирамиде» размышлял о причинах английской революции XVII в., Великой французской революции. В европейских революциях он видел подтверждение своим наблюдениям о роли завоевания и насилия в истории западного общества. Выводы Хомякова интересны: «Всякая революция в себе предполагает предшествовавшее беззаконие. Взрыв страсти тем сильнее, чем ужаснее было иго, против которого она восстает. Преступление ее и жестокость необходимо обусловлены преступлениями и жестокостью власти и нисколько не зависят от трудностей и опасности самой борьбы». Проблему революции Хомяков понимает прежде всего в ее нравственном аспекте, пытается связать с идеей «воспитания»: «Преступление противу гражданственности объясняется предшествовавшим преступлением противу человечества. Le vilain имел право мстить. Он мог бы простить, да зачем? Его этому не учили» (V, 115). Революция «безнравственна», убеждал Хомяков Одоевского, и этому взгляду он остался верен. В социологии Хомякова указана и другая причина неприятия революции, которая есть «голое отрицание, дающее отрицательную свободу, но не вносящее никакого нового содержания» (I, 51).

И. Киреевский в 1852 г. доказывал, что в западном обществе, основанном насилием и проникнутом духом партий, «переворот был условием всякого прогресса, покуда сам сделался уже не средством к чему-нибудь, но самобытною целью народных стремлений» (I, 193).

Избежать повторения исторического пути развития Западной Европы — смысл историко-философских исканий славянофилов. «Новая наука» должна была дать средство уберечь Россию от революции, а «воспитание» русского общества — предохранить его

от увлечения европейскими социалистическими теориями, которые, как и идеи революционные, уместны только в западном обществе. Славянофильство враждебно всем формам социализма. В ранних работах Хомякова мысль эта выражена отчетливо. В статье «Мнение русских об иностранцах» (1846) он все социалистические и коммунистические движения назвал «жалкой попыткой слабых умов», которая в западном обществе, где есть насилие, борьба и торжество «закона» над «обычаем», имеет «свое относительное достоинство и свой относительный смысл». Хомяков — в этом суть его отношения к социализму — отрицает универсальность социалистических идей, к России «жалкая попытка» неприложима, ибо «нелепы... верование в нее и возведение ее до общих человеческих начал» (I, 48—49).

Немало размышляли славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев, А. Н. Попов, И. С. Аксаков) над проблемами революции и социализма в 1848—1849 гг. Здесь нет надобности подробно рассматривать позицию славянофильского кружка в тогдашней общественной жизни. Об этом писали А. А. Михайлов, чья статья 1941 г. содержит ценный фактический материал, тонкие и верные наблюдения, А. С. Нифонтов, в недавнее время — Е. А. Дудзинская и С. Н. Носов[50]. Отметим одну, важную для нашей темы особенность — революционные события на Западе внутренне сплотили славянофильский кружок, выявили пристальный интерес славянофилов к вопросам политической теории, общественного и государственного устройства, яснее раскрыли мнимый характер славянофильского аполитизма.

События 1848—1849 гг. произвели в славянофильском кружке двоякое впечатление. С одной стороны, европейские революционные потрясения как будто подтверждали правильность историко-философских построений славянофилов: на Западе насилие, борьба, перевороты неизбежны, но Россия не Запад, ее спокойствие (относительное спокойствие крепостной России 1848 г.!) — подтверждение иного, без борьбы и насилия, пути общественного развития. Славянофилы немало об этом писали, и такой взгляд лег в основу чисто политической теории «негосударственности» русского народа, сформулированной К. Аксаковым. Об этой теории речь пойдет ниже.

Но была и вторая сторона вопроса. 1848 год породил среди славянофилов сомнения в возможности успешного «воспитания общества», заставил их четче определить средства, которые должны приблизить осуществление идеалов «новой науки». Славянофилы были поставлены перед вопросом: какие препятствия безреволюционному пути развития существуют в действительности николаевской России. Ответ именно на этот вопрос определял общественно-политические взгляды славянофилов, их место в идейной борьбе 1840-х годов.

В 1849 г. в статье «По поводу Гумбольдта» Хомяков подытожил славянофильские впечатления от времени «всеобщих потрясе-

ний»: «Постигнув значение современных движений и призвание русской земли в истории всемирной, мы приходим к глубокому убеждению, что русская земля исполнит свое призвание; но в то же время и к вопросу, как может она его исполнить и какие органы в частной деятельности она может найти в наше время для выражения и проявления своих внутренних начал.

Этот вопрос порождает невольное и справедливое сомнение» (I, 152).

5

В программном документе возникающего славянофильства, статье А. С. Хомякова «О старом и новом» (1839) выделены два начала русской земли, которые «хранили и укрепляли» ее и были чужды «остальному миру»: «власть правительства, дружного с народом, и свобода церкви». В 1839 г. Хомяков дал образец полемической критики этих основных положений славянофильского учения. В частности, он писал: «Власть дружная с народом! Не только в отдаленных краях, но в Рязани, в Калуге и в самой Москве бунты народные и стрелецкие были происшествием довольно обыкновенным, и власть царская частехонько сокрушалась о препоны, противопоставленные ей какой-нибудь жалкою толпою стрельцов, или делала уступки какой-нибудь подлой дворянской крамоле. Несколько олигархов вертели делами и судьбою России и растягивали или обрезывали права сословий для своих личных выгод» (III, 11—12).

Отвечая Хомякову, И. В. Киреевский не развеял его сомнений. «В России мы не знаем хорошо границ княжеской власти», — писал он и добавлял, что князь, «нарушавший правильность своих отношений к народу и церкви, был изгоняем самим народом» (I, 116). Изучение русской истории, историко-политические разыскания славянофилов в 1840-е годы подводили их к выводу о неверности фундаментального положения славянофильства о власти, «дружной с народом». Вопрос этот не только живо занимал славянофилов, но и вызывал в их среде большие споры. Историко-философская концепция славянофильства отмечала «раздвоение» между правительством и народом, начало которого (Стоглавый собор, Смутное время, царствование Петра I) и причины по-разному понимались в славянофильском кружке. В 1845 г., когда Самарин прислал из Петербурга теоретическую статью о князе и вече («власть» и «народ»), с его выводами были «совершенно согласны» Хомяков, К. Аксаков, В. А. и Н. А. Елагины, «вполовину согласны», как сообщал Хомяков, были Попов, Валуев (авторитет по части русской истории), Панов, «совсем несогласны» И. В. и П. В. Киреевские (VIII, 253—254). В 1847 г., в дни празднования 700-летия Москвы, И. Киреевский в письме «к московским друзьям», словно подводившем итог начальному периоду истории славянофильства, констатировал отсутствие в славянофильском кружке «единомыслия» и указал на важнейшие разногласия, ко-

торые «доказывают неразвитость нашего внутреннего сознания». Он писал: «Третье важное разногласие между нами заключается в понятии об отношениях народа к государственности. Здесь самые резкие крайности во мнениях делают всякое соглашение совершенно невозможным» (II, 248).

Разноречивость мнений о взаимоотношениях народа и государства («власти») запутывала славянофильские понятия о лучшем государственном устройстве, о «единовластии» и «самовластии», об общественном договоре и идее народного суверенитета, о правах сословий и пр. В конечном итоге это обстоятельство служило препятствием для создания собственно политической теории славянофильства, укрепляло их аполитизм и предпочтительное внимание к вопросам социальным. 1848 год не снял разногласий, но придал политическим представлениям отдельных славянофилов определенную цельность и законченность. Раньше других определил свою позицию К. Аксаков. Ему казалось, что европейские события оправдывают славянофильскую историко-философскую схему и что настало время построения славянофильской политической теории, которая объясняла бы отношение русского народа к государству.

14 марта 1848 г. был издан манифест Николая I, в котором было объявлено, что революционные события в Западной Европе есть результат деятельности умов незрелых и развращенных, неспособных воспринять евангельской истины «о несовершенстве всякого земного правления». Написанный по шаблонам официальной риторики, исполненный угроз революционерам, манифест 14 марта привел К. Аксакова в восхищение. Слова о «несовершенстве земного правления», которые должны были свидетельствовать о христианском смирении Николая I, стали для К. Аксакова отправной точкой при создании политической теории, в них он нашел наиболее точное выражение своих мыслей о взаимоотношении народа и государства.

Восторженная солидарность К. Аксакова с положениями манифеста 14 марта была столь велика, что он решился на шаг, дотоле небывалый ни в его биографии, ни в истории славянофильского кружка, да и вообще крайне редкий в тогдашней русской общественной жизни. К. Аксаков написал письмо Николаю I, в котором изложил свои взгляды на события в Западной Европе. Письмо, автограф которого хранится в архиве Аксаковых в Пушкинском доме, датировано 28 марта 1848 г. Было ли оно отослано, неизвестно, скорее всего нет, но сам факт его составления крайне важен. К. Аксаков первым среди славянофилов задумался о необходимости гласно заявить о поддержке славянофилами царского правительства в трудный для него момент. Одновременно он первым пытался довести до сведения верховной власти славянофильские идеи в надежде, что верховная власть возьмет на себя их осуществление. В письме Николаю I К. Аксаков объявляет о своей безусловной поддержке манифеста 14 марта, но его более занимают не события в Западной Европе, а внутренние русские де-

ла. На грани политического доноса он сообщает императору (или готов сообщить — в данном случае не это важно), что в русской общественной жизни есть два направления: «западное» и «русское». «Западное» направление, по убеждению К. Аксакова, соединено с революционным началом, а «антиреволюционное начало — с русским направлением». К. Аксаков не просит императора сделать выбор между «западным» и «русским» (славянофильским) направлениями: он убежден, что «в выборе колебаться нечего». К. Аксаков призывает императора уничтожить «западное» направление, проникающее в Россию с Петра I, и ярко описывает беды, от него проистекающие. Неумно и зло он характеризует восстание декабристов, которое для него — «жалкая и бессмысленная попытка 14 декабря, попытка, оскорбляющая достоинство народа, может быть, более, чем достоинство монарха». Революция пугает К. Аксакова, и он обрушивается на русское просвещенное общество, которое «подражает Западу и насильственно прививает себе его болезни и, стало быть, самые последствия его болезней». Для К. Аксакова в этом и состоит «горе и печаль нашей русской земли». Монарх, правительство и общественное мнение (безусловно, славянофильское) — вот силы, объединение которых должно уничтожить «западное» направление и предохранить Россию от революции. По сути дела, К. Аксаков готов предложить Николаю I услуги славянофилов в борьбе с революционным и демократическим движением в России, ибо несомненно, что под «западным» направлением он понимал не салонное петербургско-московское западничество, а те ростки революционно-демократической идеологии, которые он видел в деятельности В. Г. Белинского, А. И. Герцена. В заключение письма К. Аксаков дает императору совет, с его точки зрения очень важный: без пощады изгонять западные моды и западную одежду, чтобы тем вернее отвратить Россию от проникновения западных, революционных начал[51].

Письмо к Николаю I свидетельствует о том, что в революционный 1848 год К. Аксаков сразу и без колебаний определил свою позицию, был последовательнее других русских либералов. Он твердо встал в лагерь контрреволюционеров, он враждебен революционной Западной Европе и готов содействовать царизму в борьбе с западноевропейскими и русскими революционерами. События 1848 г. закрепили и усилили фанатическую, почти болезненную ненависть К. Аксакова к западноевропейским формам государственной и общественной жизни. Еще более ясно на этот счет он высказывается в письме к А. Н. Попову, написанном в конце марта 1848 г.: «События, совершающиеся на Западе, замечательны. Запад разрушается, обличается ложь Запада, ясно, к какой болезни приводит его избранная им дорога. Я радуюсь обличению лжи. Ужели и теперь Россия захочет сохранять свои связи с Западом. Нет — все связи нашей публики с Западом должны быть прерваны... Русским надо отделиться от Европы Западной... *верная порука тишины и спокойствия есть наша народность.* У нас другой путь, наша Русь — святая Русь... Вы знаете, как по-

стоянно был я против западного направления; я теперь еще более против него. *Отделиться от Запада Европы — вот все, чего нам надо*»[52].

Идеи национальной и религиозной исключительности, национализма и изоляционизма, неприятия западноевропейского общественного уклада стали наряду со страхом революции и желанием избежать ее в России любой ценой основными в теории «негосударственности» русского народа, которая в общих чертах сложилась у К. Аксакова до 1848 г., но была ясно сформулирована им под непосредственным, сильным воздействием манифеста 14 марта.

Основные принципы политической теории К. С. Аксакова были изложены в статье «Голос из Москвы», имевшей эпиграф: «Не сотвори себе кумира». К. Аксаков работал над статьей, вероятно, одновременно с письмом к Николаю I. Статья предназначалась не для печати, а для распространения в списках в кругах столичной дворянской интеллигенции. «Голос из Москвы» — первая из многочисленных статей, писем и заметок К. Аксакова, которые он писал по разным поводам и которые стали для него, особенно во время Крымской войны, главной формой участия в общественной жизни России. Над статьей К. Аксаков работал очень тщательно, сохранилось пять автографов со следами вставок, исправлений и дополнений. На наиболее полном, по-видимому, чистовом автографе автор поставил дату: «апрель 1848 года».

К. Аксаков придавал важное значение статье «Голос из Москвы», ссылался на нее в своей переписке[53]. К сожалению, сведений о ее распространенности мы не имеем, видимо, она не вышла за пределы узкого круга столичных либералов и дворян, имевших вкус к общественной жизни. Непосредственные отклики на статью нам неизвестны, но идеи, в ней изложенные, быстро стали достоянием русской общественной мысли.

Статья начинается с обозрения современного состояния Западной Европы, где — К. Аксаков повторяет свою формулу — «ложь обличается». Затем следует резкое противопоставление: «Безобразная буря Европейского Запада невольно оттеняет красоту тишины Европейского Востока». Разбор причин «безобразной бури Европейского Запада», анализ предпосылок и способов охранения «красоты тишины Европейского Востока» составляют основное содержание статьи.

Исходя из слов манифеста 14 марта «о несовершенстве всякого земного правления», К. Аксаков пишет: «Запад сотворил себе кумир из правительства, обоготворил его и поклонился перед ним, т. е. уверовал в возможность его совершенства... Путь Западной Европы, с одной стороны, есть *обоготворение* правительства, с другой — *революция*». Революция страшна и неприемлема как для К. Аксакова, так и для тех, кому адресовал он свою статью. Поэтому он готов успокоить своих читателей и сразу же подвести их к своему главному выводу: «Россия никогда не обоготворяла правительства, никогда не верила в его совершенство и совершенства от него не требовала... смотрела на него, как на дело второстепен-

ное, считая первостепенным делом веру и спасение души — и поэтому революция чужда совершенно России и существующий законный порядок в ней крепок». Русский народ не интересуется вопросами государственного и общественного устройства, его интересы — вне политической области. Русский народ — «негосударственный», как позднее сформулирует К. Аксаков, — вот основная идея статьи «Голос из Москвы». Мысль о «негосударственности» русского народа служила К. Аксакову прежде всего для доказательства невозможности революции в России, прочности в ней устоев самодержавной монархии. О всех иных формах государственного устройства К. Аксаков отзывался отрицательно: «О конституции мы не говорим, это даже не особая какая-нибудь форма: это есть осуществленная ложь и лицемерие всех государственных начал друг перед другом. Республика является для большей части Запада как совершенство, но республика есть самая вредная правительственная форма... Монархия откровенна, а республика лицемерна».

Свои выводы К. Аксаков не доказывает, заставляет принимать их на веру, смешивает вопросы политической теории и вопросы моральные, но неуклонно подводит читателей к желательным для себя выводам. Он предостерегает от безусловной уверенности в невозможности революции в России. Здесь его аргументация не лишена тонкости, хотя по-прежнему абсолютно бездоказательна. «Грех обожания» правительства, по его мнению, проник с Запада и в Россию, хотя «Россия шла иным, противоположным путем, путем веры, вера единая есть ее жизнь». И далее: «Монархия не *боготворимая,* не требующая веры в ее совершенство, но сама верующая в одно совершенство божие, *монархия православная* была издревле правительственною формою России. Но Россия подверглась влиянию Запада, и правительство, заимствуя у него материальные усовершенствования, в то же время внесло в русскую жизнь западное понятие о власти, стало изъявлять притязание решать все задачи жизни, вмешивалось в русский быт и, таким образом, стало, хотя отчасти, в положение правительства западного. Часть России, увлекшаяся Западом, ту же минуту преклонилась пред правительством, как пред кумиром — и ту же минуту начала революционные попытки. Кто становится на земле в положение кумира, тот должен ожидать падения».

Даже в статье «Голос из Москвы», в момент наибольшей, пожалуй, солидарности с действиями и идеями николаевского правительства, К. Аксаков не оставил известной оппозиционности тому порядку вещей, который он позже, в записке «О внутреннем состоянии России» (1855), назовет «угнетательной правительственной системой». В своих верноподданнических чувствах К. Аксаков тверд: «Люди, не верующие в совершенство правительства, не поклоняющиеся ему, знают, что лучшая форма из правительственных форм, есть монархическая, революция для них есть ложь по началам христианства и по выводам рассудка». Но К. Аксаков предостерегает правительство: «Народ уже портится, иностранная

мода и трактиры делают свое дело». К. Аксаков откровенно боится, что правительство не прислушается к его предостережениям. Он подчеркивает опасность разобщения высших слоев, «публики», и народа, «русской земли». Будущее России — в верности идеалам «русской земли», которые К. Аксаков рисует следующим образом: «Совершенство для нее (русской земли. — *Н. Ц.*), ее цель и знамя — вера православная, на началах которой основывает она жизнь свою. И потому, и дотоле, революция в русской земле невозможна».

Впоследствии К. Аксаков развивал и дополнял свою политическую концепцию, но главное ее содержание оставалось неизменным. Непосредственные причины возникновения теории «негосударственности» понятны. Ими были события революционного 1848 г. в Европе, под впечатлением которых у К. Аксакова возник страх революции в России и до предела обострилась неприязнь к европейскому государственному и общественному устройству. Не случайно время написания статьи «Голос из Москвы» — апрель 1848 г. Весной «ужасного», по определению И. Аксакова, года К. Аксаков был полон тревог и опасений. Для него были неясны перспективы борьбы царизма с революционными силами в России и Европе, и он стремился в меру своих сил помочь самодержавию подавить революционные идеи в России. Дальнейший ход событий его несколько успокоил, он убедился в относительной стабильности внутреннего положения в России. Ужас перед революцией 1848 г. постепенно рассеивался, хотя ненависть к революции и революционерам не ослабевала. Подобно другим славянофилам, К. Аксаков стал исподволь сетовать на царское правительство, которое, как считали славянофилы, недостаточно активно использует благоприятные возможности для укрепления позиций России в Европе. Славянофилы открыто осуждали правительство, канцлера К. В. Нессельроде прежде всего, за поддержку Австрийской империи в ущерб славянским народам.

К лету 1848 г. безоговорочная солидарность К. Аксакова со всеми действиями николаевского правительства заметно ослабела. Теория «негосударственности» постепенно усложнялась. Наряду с доказательством невозможности революции и незыблемости самодержавия в России она стала служить и иным, более широким, целям. Если в марте — апреле 1848 г. при первых известиях о революционном движении в Европе, готовом захватить и Россию, К. Аксаков в первую очередь стремился доказать принципиальную невозможность революции в России, невозможность, обусловленную «негосударственностью» русского народа, то со временем он обратился к разработке других аспектов политической теории. Его занимают вопросы взаимоотношения «земли» и «государства», «публики» и «народа», он формулирует конкретные политические выводы из теории «негосударственности».

Слабостью социологических построений К. С. Аксакова было то, что, говоря о противоположности интересов «земли» и «государства», об антагонизме «публики» и «народа», он затруднялся дать

четкие определения этим понятиям. К. Аксаков чувствовал это и пытался давать определения от противного, по принципу отрицания европейского уклада и противопоставления категорий теории «негосударственности» понятиям западноевропейской буржуазной социологии. Вслед за работой «Голос из Москвы» он написал статью «Синонимы», в которой попытался точнее определить содержание терминов «народ», «государство», «земля», «публика», разработать собственный понятийный аппарат[54]. В переработанном и сокращенном виде статья была опубликована в 1857 г. в газете «Молва» под названием «Публика-народ. Опыт синонимов». В 1857 г. ее появление вызвало значительный общественный резонанс, смелые выражения К. Аксакова шокировали некоторых представителей власти. Статья запомнилась, но ее теоретический характер был ослаблен сокращениями, сделанными автором, и не привлек внимания ни современников, ни историков славянофильства. Важное место в статье «Синонимы» К. Аксаков уделил понятию «народ» и характеристике русского народа: «Народ не имел у нас характера демократического, он не составлял низшего класса, как везде на Западе. Над народом у нас не было аристократии, которая везде была в чужих краях. У нас народ значит — все, весь мир, вся земля». Определение народа получилось расплывчатым, вопрос о «народе» оказался подмененным вопросом о демократии и аристократии, отсутствие которых в России К. Аксаков считал предпосылкой безреволюционного развития: «Отсутствие аристократии и демократии составляет важное преимущество нашего отечества, это отсутствие устраняет вражду, произведшую столько гибельных, бесплодно разрушительных революций Европы. Это отсутствие есть один из залогов мира и тишины».

Считая «народ» цельным, внутренне единым, К. Аксаков последовательно противопоставлял ему «публику», которую провозгласил «делом обезьянства», идущего со времен Петра I. «Публика» была необходимым звеном социологической схемы К. Аксакова, «публике» он приписывал все, что считал негативным в русской истории последнего столетия и российской действительности. Вводя понятие «публика», К. Аксаков существенно дополнял теорию «официальной народности», которая в принципе не могла объяснить причин появления оппозиционной общественной мысли и распространения революционного и демократического движения в России. Одновременно К. Аксаков строго следовал канонам уваровской доктрины, когда характеризовал «народ». В его характеристике вполне сказалось воззрение официальных публицистов на русский народ как на смирный, богобоязненный, патриархальный в общественном укладе и быту, покорный властям. С особой настойчивостью К. Аксаков подчеркивал «негосударственность» русского народа и его верность монархическим принципам. Он утверждал, что народ не мыслит иной формы правления, кроме самодержавной. Свою точку зрения он обосновал историческим опытом 1612 г. Народ изгнал поляков из Москвы и, по утверждению К. Аксакова, «первым его делом было избрать царя». К. Аксаков пы-

тался доказать, что самодержавие неотделимо от русского народа, его истории, его настоящего и будущего. Словно продолжая салонный спор с западниками, он писал: «Я знаю, люди, увлеченные европейскими мыслями, скажут мне, это утопия, это мечта, но историческая истина не может быть мечтою. Они скажут еще: но это было давно, этого не может быть теперь. На это я скажу: это было вовсе не так давно. Мало того, это есть и теперь, взгляните на простой народ».

По нашему мнению, приведенные высказывания показывают, что в политической теории К. Аксакова главная роль отводилась «простому народу», верному началам православия и чуждому стремлений к государственным делам. «Простой народ» превращался в главного и даже единственного гаранта существования «православной монархии», единственной, по убеждению К. Аксакова, возможной формы правления в России. «Простой народ» — та социальная сила, на которую К. Аксаков советует опираться самодержавию в борьбе с революционным и демократическим движением.

Возникает вопрос: что понимал К. Аксаков под «народом» или «простым народом»? Его сентенции («народ — все, весь мир, вся земля») страдают неопределенностью и осложняют понимание сути дела. В исторической литературе о славянофильстве вопрос этот крайне запутан, а между тем от ответа на него зависит решение важнейшей проблемы: на какие социальные силы рассчитывали опереться славянофилы в борьбе за практическое осуществление своих идеалов, идеологами каких классов и социальных групп они являлись.

В настоящее время решение вопроса об общем для всех славянофилов понимании термина «народ» представляется невозможным. К счастью, имеется материал, позволяющий судить о том, как именно К. С. Аксаков понимал термин «народ».

В 1849 г. К. Аксаковым была написана статья «Западная Европа и народность», ускользнувшая от внимания исследователей, но имеющая исключительно важное значение для понимания его политической концепции[55]. Главной задачей статьи «Западная Европа и народность», как и статьи «Синонимы», было определение понятия «народ».

Народ как социологическую категорию К. Аксаков определил несколько туманно: «Народ есть одухотворенный единством нравственного убеждения союз породы». Разъясняя свою мысль, К. Аксаков доказывал немыслимость «единства нравственного убеждения» в сотрясаемой революциями Западной Европе и строго логично заключал: «Скажем открыто нашу мысль. Мы не видим народа в Западной Европе. В Западной Европе нет народа». Некоторое время спустя мысль эта показалась ему преждевременной и чересчур смелой, и он осторожно зачеркнул приведенные слова карандашом.

Далее К. Аксаков рассуждал: «В чем же состоит, в чем может состоять это общее убеждение, связующее людей духовно и обра-

зующее народ? Что же оно? Назовем его прямо: это убеждение есть вера». Для К. Аксакова без веры нет народа. Вера есть только одна — христианская. Уступая фактам истории, К. Аксаков готов признать существование (правда, в прошлом) и нехристианских народов (древние греки, например). Русский народ он характеризует совершенно недвусмысленно: «Православная вера есть весь смысл его жизни, без нее он не имеет значения».

От этих высказываний явственно веет духом инквизиции. А. И. Герцен полагал, что К. Аксаков был готов пойти за свои убеждения на костер. Фанатизм К. Аксакова неоспорим, но в 1848—1849 гг. он, несомненно, во имя своих убеждений был готов скорее жечь, чем гореть.

В заключении статьи Аксаков сурово обвиняет «публику» и высший свет в «обезьянстве», подражании ложным образцам и выставляет решительное требование — «вернуться назад».

Наибольший интерес во всей статье представляет для нас следующее суждение: «Говоря о России, я скажу, однако же, что народом собственно называю я низшее сословие — крестьян... Я называю крестьян преимущественно народом не потому, что это сословие низшее, а потому, что это низшее сословие преимущественно сохранило и хранит веру и жизнь (образ жизни), с верою согласную, хранит в то же время свой русский облик и свой русский язык» [56].

Иными словами, «простой народ» в социологической схеме К. Аксакова — это крестьянство. Положение это представляется нам чрезвычайно важным для понимания самой сути его политической теории. Мы не ошибемся, сказав, что для политических сочинений К. С. Аксакова 1848—1849 гг. характерно несомненное стремление расширить и укрепить социальную базу самодержавия, включив в число социальных сил, на которые оно могло бы опираться, массы патриархального крестьянства. Создавая политическую теорию, К. Аксаков думал найти для нее опору в наиболее темных, отсталых слоях русской деревни. Крепостное, патриархальное крестьянство представлялось ему надежной опорой самодержавия, его главным оплотом в борьбе с революционным движением. В извращенном свете представляя экономические и социальные отношения в предреформенной деревне, Аксаков идеализировал быт, нравы, весь вековой уклад жизни русского крестьянства. Он сознательно примитивизировал социально-экономические и общественно-политические противоречия русской действительности, стремился нарисовать картину внутренней гармонии, якобы присущей общественным отношениям в России. Политическая теория К. Аксакова подменяла подлинный социальный антагонизм внутри России антагонизмом мнимым, противопоставляя Россию Западной Европе. Нельзя думать, что К. Аксаков сопоставлял феодальную Россию с буржуазной Западной Европой. Подобное противопоставление, имевшее некоторый исторический смысл, было ему совершенно чуждо. Антагонизм России и Западной Европы у К. Аксакова носил мистический характер, ничего об-

щего не имел с реальными особенностями их политического и социального развития.

С наибольшей ясностью эти идеи были раскрыты К. Аксаковым в письме, главные положения которого заслуживают быть приведенными полностью. К. С. Аксаков писал Г. С. Аксакову: «Нет, жизнь не только не уничтожила, но утвердила мысли мои о русском народе... Ах, неужели и теперь неясно будет для всей России, неясно будет для правительства, что подражание Западу — гибельно для нас? Подражание введено самим правительством, то есть Петром, и от правительства мы вправе ожидать возвращения на русскую дорогу. Нам стоит только быть русскими, чтобы удалиться от западного зла... Напрасно думают иные, что консервативность западная хороша; консервативность может обратиться в революционность, как скоро консервативность эта — западная. Надо помнить, что, будучи сторонами одной и той же жизни, они могут переходить одна в другую, ибо консервативность на Западе предполагает уже революционность и есть только ее противоположность; она вызвана врагом, против которого борется. Русская же консервативность не имеет врага, ибо в русском народе нет духа революции. Стоит нам только быть русскими — вот мы и консерваторы. Но где же враг, против которого надо быть консерватором? — спросят меня. Враг этот — Запад, уже полтораста лет старающийся увлечь Россию, но слава богу, он увлек только часть русских, да и тем становится ясно, что гибелен западный путь. Будем русскими. Погрузимся в глубину русского духа; мы найдем там неоценимые сокровища, до которых никогда нельзя достигнуть путем насильственных переворотов. Наш путь — есть путь мира, путь внутреннего, нравственного, духовного убеждения» [57].

Глубокая консервативность высказываний К. Аксакова, их идейная близость к теории «официальной народности» очевидны. В 1848—1849 гг. К. Аксаков выступал как поборник и пособник царизма. Не случайно в теории «негосударственности» столь важное место отводилось правительству, его борьбе с «западным» началом. Вместе с тем следует отметить, что К. Аксакову была присуща известная широта политического кругозора. Он думал о расширении социальной базы самодержавия, стремился к обновлению его идеологии.

В исторической перспективе эти попытки К. Аксакова были обречены на неудачу прежде всего потому, что он игнорировал принципиальную противоположность интересов крестьянства и русского самодержавия, не хотел видеть классовую борьбу в николаевской России. Не увенчались они успехом и в 1848—1849 гг. Абсолютизм к тому времени исчерпал свои возможности, его идеология и социально-политическая практика окостенели, стали неспособны к существенным, принципиальным изменениям.

1848 год стал важной вехой в истории славянофильства, в жизни К. С. Аксакова. Революция в Европе, революционно-демократическое движение в России привели к размежеванию сил в рус-

ской общественной жизни, яснее выявили консервативные стороны славянофильства, его связь со многими положениями теории «официальной народности». Откровенно контрреволюционная позиция славянофилов, и прежде всего К. Аксакова, не означала, однако, их отказа от выставленных ранее либеральных пожеланий (отмены крепостного права, свободы слова, печати, общественного мнения). В этом смысле славянофилы ничем принципиально не отличались от представителей других течений раннего русского либерализма, например западников, чья реакция на события 1848—1849 гг. почти совпадала со славянофильской.

Двойственность российского либерализма наглядно проявилась уже в деятельности его ранних представителей. В этом смысле позиция К. Аксакова характерна. В 1849 г. он как будто находился на распутье. С одной стороны, на базе теории «негосударственности» он пытался создать политическую утопию, согласную с его представлениями об идеальных социальных и общественных отношениях в России. В этой утопии с наибольшей полнотой должны были воплотиться идеи о «негосударственности» русского народа, религиозная нетерпимость и православный, доходящий до юродства, фанатизм, ненависть к Западу, отрицание индивидуальной свободы, верность консервативным, «русским началам» и самодержавию. Некоторое представление об этом замысле К. Аксакова дает его письмо к близкому славянофилам Н. Д. Свербееву[58]. К. Аксаков призывал Свербеева каяться перед «святой Русью», «сойти с ложной дороги Запада на дорогу святой Руси». Он писал: «Вот Вам мои тезисы: 1) Вера православная — единое главное начало и основание. 2) Согласие жизни с верою. 3) Существование человека в обществе, другими словами — союз естественный, живой, проникнутый единым духом, на одних началах воздвигнутый — союз народный. 4) Поглощение лица в народе. 5) Построение народной жизни на началах веры православной, поэтому исключение всех общественных соблазнов, как балов, театров и т. п. Сюда относится и отношение государственной власти к народу и жизни народной».

Картина идеального общественного устройства, нарисованная в письме к Свербееву, поражает своей нелепостью, реакционностью исходных позиций и заставляет видеть в ее авторе мрачного изувера.

С другой стороны, почти одновременно с письмом к Свербееву в своих статьях К. Аксаков высказывается иначе. Его работы «Об основных началах русской истории», «О том же», «Русская история для детей», «Краткий исторический очерк земских соборов» развивают другой аспект теории «негосударственности», ее сложная политико-историческая аргументация служит основой при формулировании практических, либеральных пожеланий. Из теории «негосударственности» К. Аксаков выводит идею о существовании неотъемлемых народных прав (свободы слова, мнения, печати, автономности внутренней жизни народа), которые он провозгласил правами неполитическими, не подлежащими контролю

со стороны государства. Идеальное «гражданское устройство России» он определял так: «Государству — неограниченное право действия и закона, земле — полное право мнения и слова»[59]. Совместная деятельность «земли» и «государства» должна осуществляться на созываемых правительством Земских соборах. В дальнейшем именно эта сторона теории «негосударственности» стала ведущей в общественно-политических воззрениях К. Аксакова. Причины такой эволюции его политических представлений ясны. Глубокий социально-экономический и политический кризис николаевской России, особенно остро проявившийся в период «мрачного семилетья» и Крымской войны, вынуждал К. Аксакова искать выход не в обращении к православно-патриархальной утопии, а в преобразованиях, имевших объективно-буржуазный характер и далеко уводивших Россию с пути, казавшегося ему единственно верным.

6

Теория «негосударственности» русского народа К. С. Аксакова давала неполный ответ на поставленный Хомяковым вопрос, как «русская земля» может исполнить свое всемирное предназначение. «Отделиться от Запада Европы» — аксаковский совет помимо практической своей неисполнимости имел с точки зрения славянофильского учения два важных недостатка. Во-первых, К. Аксакова мало заботила проблема «воспитания общества». Он обращался к правительству, к «власти», ждал от нее крутых, охранительных действий, обличал «публику» и ее «обезьянство», возлагал надежды на «простой народ». Политическая теория К. Аксакова, проникнутая прямолинейным стремлением преодолеть аполитизм славянофильства, по сути дела, отрицала необходимость решения социальных вопросов, что противоречило логике развития славянофильского учения в 1840-е годы. «Аксаков невозможен в приложении практическом», — заметил Хомяков в начале 1849 г. в письме к Ю. Самарину (VIII, 272).

Второй недостаток аксаковской теории проистекал из ее противоречия славянофильской историко-философской концепции. Теория «негосударственности» логично развивала славянофильское противопоставление России и Европы, но не могла объяснить факты русской истории. На последнее обстоятельство в 1855 г. обратил внимание Самарин. Он писал к К. Аксакову: «Ты говоришь... что между нами образовалась разница в мнениях. Я скажу большее: разница есть и была всегда, не только между нами, но у каждого из нас с самим собой. Например, ты недавно развил мне целую систему о духовных стремлениях русского народа, о его равнодушии к вопросам государственным и вообще к той стороне жизни, которая просится в юридические формы. Ты же способен восхищаться историей Новгорода, характером новгородцев, твердостью муниципальных учреждений, которыми обуздывалась власть и произвол князей, и т. д. Не ясно ли, что в тесные

рамки твоей системы не умещается многое из того, чему ты сочувствуешь в прошедшем?».

Хомяков, Самарин, И. Аксаков осторожно подошли к оценке теории «негосударственности». В сущности, она их не удовлетворила [60].

Реакция Хомякова, братьев Киреевских, Кошелева, Самарина, И. Аксакова на революционные события 1848 г. была более глубокой, чем у К. Аксакова. Они сознавали связь политических и социальных аспектов европейских движений и в духе идеи «воспитания общества» обращали внимание на «внутренние начала» русской земли, на социальные вопросы русской действительности, без решения которых хомяковское сомнение, «невольное и справедливое», сохраняло силу. Надежда, что Россия исполнит свое всемирное предназначение и встанет (слова Хомякова) «впереди всемирного просвещения» (I, 174), побуждала славянофилов к действию. «Европа будет для нас спасительным уроком», — заметил С. Т. Аксаков. Именно потому, что их взгляды были антиреволюционны, враждебны социализму, славянофилы активно искали препятствия безреволюционному пути развития России и готовы были действовать во имя их устранения. России необходимы социальные реформы — главный вывод славянофилов, итог их поисков «новой науки» и наблюдений над европейскими событиями 1848—1849 гг.

Размышления над социальными вопросами середины 1840-х годов подготовили московских славянофилов (кроме, пожалуй, К. Аксакова) к зрелому восприятию событий 1848 г. Замечателен ранний отклик Самарина на февральскую революцию во Франции. В марте 1848 г. он писал отцу, что «в основе своей революция не есть политическая, а социальная», что «не столько форма правления вызвала против себя восстание, сколько слишком долго непризнанные требования рабочего класса». Самарин осуждает «возмутителей», но — «кому же известно, сколько они перед этим выстрадали и наплакались?» Революция во Франции — результат тяжбы, которая давно «ведется между представителями капитала и представителями труда». Замечание верное, но Самарин сопроводил его оговоркой: тяжба «до нас не касается ... мы, русские, в ней не заинтересованы». В согласии со славянофильским стремлением быть «выше социализма» он писал: «Слово коммунизм служит теперь пугалом для всех; я не думаю его оправдывать, но коммунизм есть только карикатура мысли прекрасной и плодотворной. Коммунизм относится к учению об ассоциации, об организации промышленности и земледелия, о приобщении рабочего класса к выгодам производительности, как тирания к монархии, как царствование Иоанна Грозного к власти царской». Вывод Самарина полностью сообразуется с его либеральными убеждениями: нельзя сидеть «сложа руки» ... лучше признать чистосердечно необходимость коренного преобразования и совершить его правомерным порядком. Это, по-моему, лучшее и единственно возможное средство обессилить и победить коммунизм».

Победить европейский коммунизм, избавить Россию и Европу от угрозы революции должны, по мнению Самарина, «коренные преобразования», проведенные «правомерным порядком». Речь идет о глубоких социальных реформах. Самарин не просто теоретически доказывает их необходимость, он настаивает на практической осуществимости «требований устройства земледелия и промышленности», которые кажутся сейчас «несбыточною мечтою», а через сто лет будут казаться «делом самым обыкновенным и простым» (XII, 328—329).

Какие социальные реформы необходимы России? Ответ на этот вопрос не затруднял славянофилов. России необходима крестьянская реформа, необходима отмена крепостного права.

В начале 1849 г. Хомяков писал Ю. Самарину: «Наша эпоха, может быть, по преимуществу зовет и требует к практическому приложению. Вопросы подняты, и так как это вопросы исторические, то они могут быть разрешены не иначе, как путем историческим, т. е. реальным проявлением в жизни. Для нас русских теперь один вопрос всех важнее, всех настойчивее. Вы его поняли и поняли верно» (VIII, 273). Вопрос этот — крестьянский, вопрос о крепостном праве в России. «Давно уже ношусь я с ним», — добавляет Хомяков (письмо от февраля 1849 г., дата устанавливается при сравнении с текстом письма А. Н. Попову от 13 февраля 1849 г. — VIII, 195—198).

Процитированные слова Хомякова интересны во многих отношениях. Здесь и призыв к практическому действию: в том же письме он разъяснял Самарину двоякий характер деятельности славянофилов, на которую смотрел, «как на положительную обязанность», — наукообразное изложение теории с полемикою, с одной стороны, и практическое приложение — с другой. Здесь и комментарий к славянофильскому пониманию историчности («исторический, т. е. реальный»). Здесь и напоминание о заслугах славянофилов в постановке крестьянского вопроса. Заслуги эти немалые. Славянофилы рано определили свое отрицательное отношение к крепостному праву. В статье «О старом и новом» Хомяков назвал его «наглым нарушением всех прав» и высказал (шел 1839 г.) надежду: «... в наше время мерзость рабства законного, тяжелая для нас во всех смыслах, вещественном и нравственном, должна вскоре искорениться общими и прочными мерами» (III, 13, 18). В высшей степени характерное замечание богатого либерального помещика Хомякова: «тяжело для нас», для дворян-помещиков, было потом повторено А. И. Кошелевым, Ю. Ф. Самариным, И. С. Аксаковым, кн. В. А. Черкасским. В известной статье «Охота пуще неволи», которая под измененным названием была напечатана в 1847 г. в «Земледельческой газете», Кошелев предложил утонченную формулу: «Одна привычка, одна восточная (не хочу сказать сильнее) лень удерживает нас в освобождении себя от крепостных людей».

«Освобождение себя от крепостных людей» — эти слова отлично передают помещичью суть славянофильского подхода к

проблеме крепостных отношений. Хомяковское «тяжело для нас» забывать не следует. Но было и другое: славянофилы последовательно выступали *против* крепостного права. Они не скрывали своих убеждений, и в той же статье 1847 г. Кошелев заявлял: «Почти все мы убеждены в превосходстве труда свободного перед барщинскою работою, вольной услуги перед принужденною»[61]. Гласные антикрепостнические высказывания, стремление к практическому решению крестьянского вопроса определяли общественную значимость славянофильского кружка в 1840-е годы. В этом была историческая заслуга славянофилов.

Мы не касаемся здесь споров внутри славянофильского кружка об условиях освобождения крестьян, о целесообразности тех или иных помещичьих или правительственных мер. Экономические воззрения славянофилов не раз рассматривались в исторической литературе, сравнительно недавно — в книге Е. А. Дудзинской, где были детально проанализированы славянофильские проекты отмены крепостного права[62]. Для нас важно выявить связь экономических и общественно-политических воззрений славянофилов, которые были объединены убеждением в необходимости отмены крепостных отношений. Приведем несколько (из очень большого числа) высказываний членов славянофильского кружка, сделанных накануне 1848 г.

В 1847 г. в обмене мнениями с Кошелевым о путях решения крестьянского вопроса П. В. Киреевский высказал общее для всех славянофилов убеждение в «безнравственности крепостного права». Он писал Кошелеву: «Мы с вами расходимся не во мнении нашем о свойстве крепостного права, а только в оценке лекарств против этой глубокой и страшной язвы нашего государственного и общественного быта. Вы знаете, что я не защитник крепостного права»[63]. В начале 1846 г. И. В. Киреевский, делая замечания к тексту «Похвального слова Карамзину», задал его автору, М. П. Погодину, вопрос: «Можно ли сказать: *честь* и *слава веку и государству,* где *крепостной крестьянин* и пр.?» (II, 239). В том же году Самарин работал над «Историческим обозрением уничтожения крепостного права в Лифляндии», в «Заключении» к которому он сделал вывод, что крестьян в Лифляндии необходимо было освободить с землей, со всей той землей, которой они пользовались, будучи крепостными. Завершив историко-теоретические разыскания, Самарин стремится к практической реализации своих выводов. В 1847 г. он мечтал приложить свои силы к делу, «зная наверное, что оно будет иметь результаты». Он признавался: «Я бы охотно стал в самые последние, задние ряды. Шевелится один такой вопрос: это — уничтожение крепостного состояния» (XII, 373—374).

Если накануне 1848 г. Самарин выражал желание «дожить до этого времени», то в разгар революционных потрясений необходимость скорого практического решения крестьянского вопроса стала для славянофилов очевидной. Отмена крепостного права — именно то «коренное преобразование», которое может победить ре-

волюцию и коммунизм. В ноябре 1848 г. Кошелев записывал в дневнике мысли о «христианском государстве», где «французский коммунизм был бы невозможен»: «Стыдно и непонятно, как мы можем называть себя христианами и держать в рабстве своих братьев и сестер. Господин не может быть христианином, господство и христианство не могут сосуществовать. Уничтожение рабства надобно главнейше основать на Христовом учении о братстве». С Кошелевым был согласен Хомяков: «... христианин может быть рабом, но не должен быть рабовладельцем. В краях, где рабство еще существует, память об этой великой истине должна быть присуща сознанию всех людей и устремлять их мысли к решению общественного вопроса, который, какими бы затруднениями он ни был обставлен, не может быть не решен» [64].

Религиозно-нравственные аргументы против крепостного права Хомяков и Кошелев дополняли указанием на социальную опасность его сохранения. Крепостные отношения вносят разлад в русскую жизнь — Хомяков был в этом убежден: «... как бы каждый из нас ни любил Россию, мы все, как общество, постоянные враги ее, разумеется, бессознательно. Мы враги ее, потому что мы иностранцы, потому что мы господа крепостных соотечественников, потому что одуряем народ». В письме к Блудовой (ноябрь 1848 г.) Хомяков раскрывает характер славянофильского аполитизма: «Вопросы политические не имеют для меня никакого интереса; одно только важно, это вопросы общественные. Напр[имер] у нас правительство самодержавно, это прекрасно; но у нас общество деспотическое: это уж никуда не годится» (VIII, 391). «Деспотическое» общество мешает решать «вопросы общественные», необходима «переделка мысли общественной», что, по мнению Хомякова, труднее, чем «насильственная революция» (VIII, 194). Решение крестьянского вопроса замыкалось на идее «воспитания общества», практическая деятельность славянофилов сводилась к необходимости воздействовать на общественное мнение. В марте 1849 г. Хомяков объяснял Самарину главную задачу славянофилов в деле отмены крепостного права: «... не вводить и не предлагать прямо и практически полезное, но пробуждать, уяснять или вводить нормы, согласные с правдою и истинным христианством». Сообщая новости московской общественной жизни, он отмечал: «Эманципационные разговоры здесь в сильном ходу, и дело подвигается вперед в общем мнении, если можно что-нибудь назвать у нас общим мнением» (VIII, 277, 279).

Вопрос об отмене крепостного права был на острие славянофильского учения 1840-х годов. Он соединял историко-философские, общественно-политические и экономические аспекты славянофильской теории, от его решения зависел успех всемирной миссии России.

Поиски «новой науки», аполитизм славянофилов, их внимание к социальным вопросам, к задачам «воспитания общества», интерес к социальным теориям и современной общественной жизни Западной Европы — это были слагаемые славянофильской на-

дежды на создание справедливого общества, «христианского и православного», которое не будет знать сословной вражды и насильственных переворотов и к которому вслед за Россией придут остальные страны мира. Легко оценить славянофильскую мечту как «прекраснодушную утопию помещиков о справедливом общественном строе» (С. С. Дмитриев)[65]. Важно другое. Бесспорный утопизм славянофильского общественного идеала не был препятствием деятельному участию славянофилов в русской общественной жизни. Мечта о будущем пробуждала недовольство настоящим, стремление приблизить идеал будущего заставляло бороться с «язвами» настоящего. В практическом плане это означало необходимость выступления против крепостного права, за глубокие социальные реформы. Подобные выступления превращали славянофилов в представителей раннего русского либерализма, а их общественная деятельность, попытки «разбудить» и «воспитать» русское общество не могли не вызывать подозрительного отношения властей крепостной России, ибо ближайшей целью «воспитания общества» было формирование антикрепостнического общественного мнения.

В славянофильском кружке существовало два подхода к проблеме соотношения идеала и действительности. Большинство славянофилов (Хомяков, Самарин, Кошелев, И. Аксаков, Черкасский) не склонны были придавать самодовлеющего значения идеалу будущего «христианского и православного общества». В большей или меньшей степени все они видели труднопреодолимые преграды в его практическом осуществлении, уповали на «будущие поколения» (Хомяков), а свою общественную задачу видели в решении крестьянского вопроса. «Уступки в началах непозволительны», — писал Хомяков, но, добавлял он, критикуя К. Аксакова: «Будущее для него должно непременно сей же час перейти в настоящее, а про временные уступки настоящему он и знать ничего не хочет; а мы знаем, что без них обойтись нельзя» (VIII, 272).

Исторические и социологические построения этой части славянофилов направлены были к выявлению путей отмены крепостного права, конкретных условий «освобождения себя от крепостных людей». Нравственно-религиозные аргументы против крепостных отношений были недостаточны, славянофилы искали четкие юридические формы, которые позволили бы провести отмену крепостного права, сохранив и укрепив помещичье землевладение, но и предохранив Россию от революционных потрясений, от появления пролетариата.

Важная роль в общественно-политических выводах славянофилов была отведена тезису об историческом праве крестьян на землю. В литературе на это принципиально важное положение славянофильской теории было обращено внимание Н. П. Колюпановым и Е. А. Дудзинской[66]. Не повторяя наблюдений этих исследователей, отметим, что тезис об историческом праве на землю обосновал три главных положения славянофильского социального учения.

Во-первых, необходимость освобождения крестьян с землей. «Крепостные крестьяне, — писал Самарин, первым сделавший этот вывод, — твердо убеждены в своем праве на землю; они не допускают, не понимают, чтобы с приобретением личной свободы это право могло отойти от них. Можно поручиться, что предложенную им на таких условиях свободу они встретили бы как насильственную экспроприацию и что пришлось бы вводить ее с картечью и штыками» (II, 153). Самаринский вывод был безоговорочно принят всеми славянофилами, писавшими об отмене крепостного права.

Во-вторых, славянофилы исходили из представления о возможности согласного существования в русской деревне двух форм собственности: частной, помещичьей, собственности на землю и общинного земельного владения. Историческое право крестьян на землю подразумевало незыблемость земельных прав помещиков. Самарин, ведущий теоретик славянофильства по крестьянскому вопросу, писал: «Историческое развитие поземельных отношений в России и современное народное сознание ... указывают нам на неоспоримое существование двух взаимоограничивающихся прав на землю — *право владения землею, принадлежащее крестьянам, и право собственности на землю, принадлежащее вотчинникам»* (II, 153). Крестьяне, по убеждению Самарина, никогда не отрицали прав помещика на землю. Комментировать это утверждение излишне. Хомяков видел в «открытии» Самарина «истинный смысл» крестьянского вопроса в России и в 1849 г. благодарил его: «Спасибо вам за то, что вы попали на ту юридическую форму, которая выражает этот смысл с наибольшею ясностью и отчетливостью, именно на существование у нас двух прав одинаково крепких и священных: права наследственного на собственность и такого же права наследственного на пользование» (VIII, 273). Важной стороной «открытия» Самарина было стремление обосновать правовые аспекты помещичьего землевладения. Отзыв Хомякова (он подробно писал Самарину о значении юридических отношений) показывает, что славянофилы обладали тем юридизмом мышления, в отсутствии которого их нередко упрекают исследователи.

В том же письме к Самарину Хомяков указал на третий вывод из тезиса об историческом праве крестьян на землю: «В более абсолютном смысле в частных случаях право собственности истинной и безусловной не существует: оно пребывает в самом государстве (в великой общине), какая бы ни была его форма». Верховное право собственности на землю принадлежит в России государству — с этим выводом были согласны все славянофилы. Он означал признание условности права частной собственности, что противоречило классическим представлениям европейского либерализма. Не надо забывать, что либеральные убеждения славянофилов возникали на почве крепостных отношений николаевской России. Их своеобразие было исторически неизбежным. Вслед за Хомяковым на относительный характер права собственности в России

указал И. Киреевский. В 1852 г. он писал: «В устройстве русской общественности личность есть первое основание, а право собственности — только ее *случайное* отношение... Право общины над землею ограничивается правом помещика, или вотчинника; право помещика условливается его отношением к государству... Одним словом, безусловность поземельной собственности могла являться в России только как исключение» (I, 209).

Для большинства славянофилов из этого обстоятельства следовал вывод (И. Киреевский его не делал) о неизбежности, желательности и важности вмешательства государства в крепостные отношения. Славянофилы были крепкими государственниками, государству, по их представлениям, должна принадлежать решающая роль в отмене крепостного права. Об этом писал в 1847 г. П. Киреевский, к этому пришли Хомяков, Кошелев, Самарин, К. Аксаков, И. Аксаков, на этом всегда настаивал Черкасский.

Тезис об историческом праве крестьян на землю и выводы, которые были из него сделаны, обусловили главное содержание всех славянофильских проектов отмены крепостного права, определили весь характер общественно-политической деятельности славянофилов по подготовке крестьянской реформы в России. В славянофильских писаниях 1850-х годов принципы, найденные в 1840-е годы, излагались подробно, с привлечением исторического и статистического материала, но ничего нового в *теорию* внесено не было. Уклонения от основополагающих принципов славянофильского социального учения не допускались, они, по мнению славянофилов, вели Россию к гибели.

В письме к Я. И. Ростовцеву, написанном в 1859 г., в разгар правительственной подготовки отмены крепостного права, Хомяков предсказал последствия «уничтожения» крестьянских прав на землю: «Усиленная ненависть к дворянскому сословию, с которым они (крестьяне. — *Н. Ц.*) только с прошлого года начали мириться, ненависть к правительству, которому они всегда служили и служат самою твердою опорою, наконец, резня в близком или по крайней мере недалеком будущем — вот несомненный исход обращения крестьян в безземельных работников!» (III, 295—296).

Но давали ли славянофильские принципы освобождения крестьян гарантии, что в России не будет «резни»? Предохраняло ли решение социального вопроса, предлагаемое славянофилами, Россию от революционных потрясений? Славянофилы (большая их часть) отвечали на эти вопросы утвердительно. Их уверенность основана была на вере в крепость общины в России.

Поземельная община, крестьянский мир занимали немалое место в исторических размышлениях славянофилов, которые рано сделали общественно-политические выводы из факта существования русской крестьянской общины. Рассматривая идеальное общественное устройство древней Руси, И. Киреевский в 1839 г. указал на основное его отличие от западноевропейского: «...образование общества в маленькие так называемые миры... Человек принадлежал миру, мир ему. Поземельная собственность, источник

личных прав на Западе, была у нас принадлежностью общества», (I, 115). В 1842 г. в статьях «О сельских условиях» и «Еще о сельских условиях» (обе напечатаны в «Москвитянине») Хомяков выделил два обстоятельства, которые придавали общине исключительную ценность в глазах славянофилов. Первое — соображение фискального порядка, практического удобства для помещиков: «При первой неисправности каждого поселянина за него отвечает мир, которого он составляет только частицу; за каждую недоимку отвечает мир; за нерадивое и дурное исполнение обязанностей в работе отвечает точно так же вся община» (III, 71—72). Слов нет, Хомяков был опытным сельским хозяином. «Papa Grandet не забыл своих выгод», — шутливо писал он о своем отношении к крестьянам (VIII, 401). «Весело» — его любимое слово, которое вряд ли часто употребляли крепостные села Богучарово...

Второе обстоятельство, дающее общине важное значение, — в ней «русский поселянин не был, не должен и не может быть западным пролетарием», право каждого члена общины на участок земли «удаляет возможность пролетарства». Это обстоятельство настолько важно для Хомякова, что он связывает с ним надежду на всемирное предназначение России: «Принимая во многом уроки от народов, опередивших нас на поприще просвещения, мы должны и, к счастью, можем разрешать жизненные задачи лучше и вернее своих учителей» (III, 70, 83—84).

Поземельная община — гарантия безреволюционного развития России, условие, при котором невозможна в стране «язва пролетарства». Долгие размышления Хомякова на эту тему были подытожены в программной статье «О сельской общине», написанной в 1848—1849 гг. Проблему общины он ясно связал с современными европейскими потрясениями: «Всеобщее стремление во всей Европе свидетельствует об одном, о борьбе капитала и труда и о необходимости помирить этих двух соперников или слить их выгоды» (III, 467). Освобождение крестьян и сохранение общины должны, по мысли Хомякова, «слить» выгоды помещиков и крестьян, иначе Россию постигнет участь Англии, где «безземелие большинства и антагонизм капитала и труда доводят ... язву пролетарства до бесчеловечной и непременно разрушительной крайности». В Англии, пророчил Хомяков, «страшные страдания и революция впереди» (III, 463—464). Как было отмечено выше, славянофильский взгляд на социальный характер европейских революций 1848 г. не был лишен проницательности. Главным уроком, прочно усвоенным Хомяковым, Самариным, Кошелевым в 1848—1849 гг., было убеждение в необходимости *решать* (и по возможности скорее) социальные вопросы в России. По убеждению славянофилов, их скорое и верное решение исключало появление в стране «пролетарства», ибо пролетариат невозможен, если есть община. Теоретическая ошибка славянофилов несомненна, но, отметим, они разделяли ее с другими направлениями русской общественной мысли, в первую очередь с народничеством, зародыши, за-

чатки которого, как писал В. И. Ленин, «были, конечно, не только в 60-х годах, но и в 40-х и даже еще раньше» [67].

Проблема общины и общинного землевладения была одной из ключевых в идейной борьбе 1850—1880-х годов, а славянофилы, несомненно, стояли у ее истоков. Но какое место занимала община в системе славянофильских общественно-политических и экономических воззрений? Действительно ли они «исключительно упорно» (слова С. С. Дмитриева) ее отстаивали?

Славянофилы высоко ценили свой взгляд на общину, настаивали (в 1850—1860-е годы) на своем праве первооткрывателей общины в России. В 1857 г. в статье «Современный вопрос» (напечатана в «Молве») Хомяков связал постановку вопроса об общине с возникновением славянофильства: «Тому лет осьмнадцать (1839 г.! — *Н. Ц.*) теперешние сотрудники «Русской беседы» высказали, что славянское племя, и по преимуществу русское, отличается от всех других особенностью своего *общинного* быта. Этим положено было начало нового умственного движения» (III, 288). Славянофилы, в первую очередь Хомяков, обратили внимание немецкого исследователя А. Гакстгаузена на русскую общину. Содержание знаменитой книги Гакстгаузена свидетельствует, как это показано Н. М. Дружининым, о несомненном воздействии на него славянофильства. В 1847 г. В. П. Боткин указал на это обстоятельство как на недостаток исследования о сельских учреждениях в России. Он писал Герцену: «Тебе известно, что указателями автора была славянофильская партия, она составила ему точку зрения». Славянофильское «открытие» общины оказало влияние и на взгляды Герцена в период выработки идей «русского социализма». Вопрос этот детально исследован З. В. Смирновой [68].

Однако, в отличие от Герцена и других теоретиков народничества, община не была для славянофилов непременным условием достижения будущего общественного строя. Община лишена у них универсального значения. В совокупности исторических, общественно-политических, экономических и иных писаний славянофилов проблема общинности, в разных ее аспектах, занимает небольшое место. Главное же — для Хомякова, Самарина, Кошелева, Черкасского была важна *современная*, практическая роль общины как хозяйственной единицы, они ценили ее бытовое, административно-фискальное назначение, ее охранительные функции. Их высказывания о будущем общины сбивчивы и противоречивы. Приведем несколько примеров. В 1842 г. Хомяков полагал, что у общины есть глава — землевладелец, помещик (III, 70). Утверждение принципиальное и, на наш взгляд, достаточное, чтобы снять вопрос о связи славянофильства с какими-либо формами социализма. Правда, в статье «О сельской общине» Хомяков рисовал картину возникновения «общины промышленной», которая «есть или будет развитием общины земледельческой». «Общину промышленную» он прямо называл фаланстером и признавал, что не знает «ни одного примера совершенно промышленной общины в России, так сказать фаланстера, но много есть похожего». С разви-

тием в России промышленности «торговая или, лучше сказать, промышленная община образуется сама собою» (III, 467—468). Высказывание Хомякова подтверждает его хорошее знание европейской социалистической литературы. Не более. Оно не дает оснований ставить вопрос об отношении славянофильства «к системам реакционного феодально-поповского утопического социализма того времени» (С. С. Дмитриев). Ошибочно полагать, что у славянофилов «община играла роль патриархального заслона против развития в стране капиталистических отношений и социалистического движения» (З. В. Смирнова). Община в глазах славянофилов действительно была заслоном против «пролетарства», против социалистических и революционных идей. Это был заслон административно-хозяйственный (право каждого общинника на землю и помещичья опека) и нравственно-бытовой (общинное сострадание и взаимопомощь). Такое понимание роли общины вполне соответствовало общим положениям славянофильской «новой науки», социальной теории, устраняющей сословный антагонизм. Но славянофильская трактовка общины не имела антикапиталистической направленности, она уживалась с частной собственностью, помещичьим землевладением, развитием фабричной промышленности, т. е. с объективно капиталистическими отношениями. По нашему мнению, верен вывод Н. А. Цаголова: «Община была для славянофилов тем ключом, посредством которого они хотели предотвратить возникновение социальных противоречий и конфликтов в условиях буржуазного развития». Показать возможность бесконфликтного развития капитализма — в этом, объективно говоря, смысл хомяковских надежд на общину в разрешении «жизненных задач» «лучше и вернее» европейских народов. Сходной была самаринская концепция общины, которая изложена Б. Нольде следующим образом: «... община для Самарина есть, прежде всего, форма разрешения социального вопроса, русское национальное воплощение начал общественной справедливости... Но Самарин не был утопистом по своей методе. Он не был способен увлекаться социалистическими абстракциями» [69].

Идея «промышленной общины» не получила у славянофилов серьезного развития. В статье, написанной для «Московского сборника» 1852 г., И. Аксаков попытался указать неизвестный Хомякову пример общинного ремесленного союза в пяти селениях Ярославской губернии. Статья была написана под несомненным воздействием взглядов славянофилов на общину и не содержала ясных экономических выводов, хотя автор и полагал, что общинное владение внесет в науку политической экономии «новое оригинальное экономическое воззрение» [70].

Хомякова наряду с размышлением о «промышленной общине» — фаланстере занимала мысль «об нас и об нашем отношении к общине». В 1849 г. он затруднялся дать ответ на этот вопрос: «Этого решать нельзя... Личная деятельность и предприимчивость должны иметь свои права и свой круг действия» (III, 468). В 1858 г. он вернулся к мысли о помещичьей опеке (из письма к

Самарину): «Поглядите в даль: общины признаны как необходимость, а дворянство удержано. Увидите непременное последствие: их придется связать временною формою попечительства (вероятно, избирательною), и нравственная связь возникнет». Помещичью опеку над крестьянской общиной Хомяков не только считал залогом «нравственной связи» двух сословий, но ставил ее в центр необходимых после отмены крепостного права преобразований: «Я ее считаю необходимою теперь для придачи силы общине, которая в попечителе получит единство и смелость против своих собственных негодяев, которые ее пугают угрозою пожаров или порч и т. д. Все это повлечет опять полную перемену судов и администрации» (VIII, 299). Хомяков писал об отмене откупов, об отстранении «упирающегося дисциплинаризма» администрации на местах, в уездах, о переменах в жизни дворянства. «Мы с вами еще увидим хлеб в краске, — поэтично восклицал он, обращаясь к Самарину, — хоть зеленей еще настоящих не увидим».

Общественно-политические идеалы Хомякова раскрылись полно. Накануне реформы он думал об укреплении политических позиций поместного дворянства, о расширении его административно-полицейских функций в системе местного управления. Что сулила крестьянству «нравственная связь» с помещиками? Кто он — помещик-попечитель? Мировой посредник? Или — земский начальник? Помещичья суть хомяковского взгляда на общину ясна. В будущем община — удобная форма подчинения крестьян охранительной власти помещиков. Объективно близок к хомяковскому взгляд на общину К. Аксакова. Поэт общинного начала, К. Аксаков видел в нем «душу русского народа», накануне крестьянской реформы обвинял Самарина и Черкасского в неуважении к народу, в «петризме», в «душегубстве», которое, по его мнению, выражалось в выработке форм административной регламентации жизни крестьянской общины. В 1859 г. он писал Черкасскому: «Вы — враг общины и, следовательно, по моему убеждению, — враг народа ... Между нами открытая война». Свои взгляды К. Аксаков изложил в «Замечаниях на новое административное устройство крестьян в России», которые писались в 1859—1860 гг. и были изданы после его смерти И. Аксаковым в 1861 г. в Лейпциге. С его замечаниями был «почти согласен» защитник дворянских привилегий Кошелев, а Хомяков приветствовал нервные аксаковские обвинения: «Ужасно затягивает эта административная мудрость, точно в омут: закружит, да и утопит. Вся эта регуляризация, все это абсолютное большинство никуда не годятся... Аксаков, при своем лиризме, прав, и более практичен, чем практики» (VIII, 161—162). Парадокс заключался в том, что, субъективно выступая в защиту народа от «государственности учреждений», К. Аксаков от обличений произвола чиновников дошел до сомнений в том, что отмена «богопротивного» крепостного права принесет крестьянам облегчение, до апологетики помещичьей власти, которая «служила для крестьян как бы стеклянным колпаком, избавлявшим их от государственной регламентации, от наружного

административного благоустройства»[71]. Перекличка с мыслью Хомякова о помещике — попечителе общины несомненна, хотя, еще раз подчеркнем, К. Аксаков ощущал себя прежде всего «другом народа».

Была ли община обязательным элементом славянофильского идеала справедливого общественного устройства? Утвердительно ответить на этот вопрос, пожалуй, нельзя. В споре о русской общине, который накануне крестьянской реформы славянофилы вели на страницах «Русской беседы» и «Сельского благоустройства» с западниками и редакцией «Современника», Самарин, например, высказался вполне определенно: «Защищая хозяйственную общину, — *у нас в России, и в настоящее время,* я, однако же, не выдаю ее за форму безукоризненную и общеприменимую. Общинное землевладение имеет свои существенные неудобства, которых я не скрывал. В нем таится внутреннее противоречие, свидетельствующее, что эта форма не может быть вековечною, а должна измениться путем свободного развития» (III, 169). Для Самарина община — реальность современных отношений в русской деревне, средство, которое надо использовать, чтобы уберечь крестьянина от превращения в пролетария. Она лишена всякого мистического значения: «Сельская община есть факт первостепенный, самородный и бытовой. Возражать на него было бы так же бесполезно, как спорить против климата, языка или физиономии народа. Его надобно *признать»* (II, 171). Община важна *сейчас,* и Кошелев подчеркивает принципиальное отличие взглядов славянофилов от представлений Н. Г. Чернышевского: «... г. Чернышевский защищает мирское пользование или владение землей — в этом мы с ним вполне согласны, но г. Чернышевский смотрит на нынешнюю общину как на ступень к другой, где явится общинный труд со всеми принадлежностями: туда за г. Чернышевским мы следовать не расположены»[72].

Славянофильский идеал — общество «православное, христианское» — вполне мыслим без крестьянской поземельной общины. Славянофилы «исключительно упорно» отстаивали не общину (которая крайне редко вызывала у них мысль о фаланстере), а надежду на безреволюционное развитие России после крестьянской реформы. Славянофильство, повторим еще раз, было лишено социалистического оттенка. Общинное землевладение славянофилы понимали с позиций либерализма, который отвергает как крепостное право, так и социализм. Суть славянофильского либерализма, стремления стать «посередине», четко раскрыл Самарин. В августе 1849 г. он писал Хомякову: «Французские и английские экономисты вдоволь насмеялись над ateliers nationaux и прочими затеями социалистов. Им возражали обыкновенно тем, что человек трудится по нужде и по охоте... Наше общество восхищалось дельностью этих возражений. Но кому же пришло в голову, что они одинаково подрывают ateliers nationaux и крепостное состояние у нас, что наш крестьянин обеспечен со стороны нужды обязанностью помещика кормить его, а сильной охоты к труду ощущать

не может, когда трудом его распоряжается другой, нередко простирающий руку и на плоды его трудов? От этого происходит, что сельская промышленность у нас не может развиваться. В ней нет поприща для вольного труда. Мысль о свободе нераздельна с мыслью об оставлении земледелия». Всякий прогресс, сетует Самарин, происходит не в сельской промышленности, а «знаменуется оставлением ее». Острую критику крепостной России он заключает указанием на значение общины: «... на Западе, где развилась так исключительно идея личной собственности, не было середины между дроблением земли до бесконечности и пролетариатством. Желанное примирение не заключается ли в общинном владении?» (XII, 430—431). Объективный смысл последнего замечания Самарина: община предохраняет как от «пролетариатства», так и от парцеллярного хозяйства, община сохраняет крупное помещичье землевладение. Вывод, надо признать, важный для либеральных помещиков, к числу которых принадлежали славянофилы.

Отношение к крепостному праву было стержнем общественно-политических взглядов славянофилов, оно лежало в основе их суждений о назначении государства, о лучшей форме правления, о политических свободах и правах сословий. Славянофилы стояли *за отмену* крепостного права, что в их глазах было связано с глубокими социальными изменениями, проследить которые они пытались с помощью выводов «новой науки». Политическим преобразованиям они придавали несравненно меньше значения и даже настаивали на своем аполитизме. Вспоминая сороковые годы, Ю. Самарин, спустя двадцать лет, утверждал, что он и его соратники жили, «повернувшись спиною к вопросам политическим». Он видел в этом «одну из отличительных особенностей московского учено-литературного общества 40-х годов, которую не могли объяснить себе люди предшествовавшей эпохи» (VI, 240). Самаринские слова — примечательно его обращение к памяти поколения декабристов — звучат парадоксом, особенно в устах человека, рано проявившего вкус к вопросам политической мысли, но в них вложен вполне точный смысл. Политическим интересам передового русского общества 1820-х годов (конституция, республика, военная революция) Самарин противопоставлял социальные проблемы 1840-х годов (крестьянская реформа, согласие сословий, «воспитание общества»).

Другой участник славянофильских споров 1840-х годов, Кошелев, уточнил высказывание Самарина: «Хотя вера и философия были преимущественными предметами этих бесед, однако часто возбуждались и политические вопросы, и в особенности вопрос о прекращении крепостной зависимости крестьян и дворовых людей». Слова Кошелева не просто раскрывают мнимый характер славянофильского аполитизма (вопрос о прекращении крепостной зависимости крестьян — вопрос политический!), но и служат еще одним убедительным свидетельством того, как сами славянофилы понимали смысл своей общественной деятельности, ее зна-

чение в русской жизни 1840—1850-х годов. Славянофильство немыслимо вне своего времени!

7

Продолжим выписку из воспоминаний Кошелева о Хомякове: «Насчет способов и времени совершения этой реформы были между нами разногласия: Киреевские, как Иван, так и Петр, опасались радикальных и спешных по сему предмету мер; а Хомяков и я ... крепко отстаивали полное освобождение крестьян посредством одновременного выкупа по всей России. Но все мы были согласны в том, что крестьяне должны быть наделены землею, и что птичья свобода для крестьян была бы не добром, а величайшим бедствием, не шагом вперед, а страшным шагом назад»[73].

Эти строки Кошелева весьма важны. Они подтверждают *согласие* славянофилов в главном, в стремлении к «прекращению крепостной зависимости крестьян и дворовых людей», в необходимости освобождения крестьян с земельным наделом, в понимании того, что неверное решение крестьянского вопроса приведет Россию к «величайшим бедствиям». Одновременно они указывают на *разногласия,* что существовали в славянофильском кружке в вопросе отмены крепостного права, обращают наше внимание на взгляды тех членов кружка, кто иначе, чем Хомяков, Кошелев, Самарин, И. Аксаков, Черкасский, решал проблему соотношения славянофильского общественного идеала и крепостной действительности николаевской России. Кошелев выделил братьев Киреевских, которые «опасались радикальных и спешных по сему предмету мер».

В чем суть их позиции? Сразу подчеркнем, что братья Киреевские были противниками крепостного права, разделяли общеславянофильское убеждение в необходимости его отмены. «Я не защитник крепостного права», — писал о себе П. Киреевский в цитированном выше письме к Кошелеву (1847). Долгое время сами слова «крепостной крестьянин» были нестерпимы для И. Киреевского. Но в марте 1847 г. он пишет письмо сестре, М. В. Киреевской, в котором уговаривает ее отказаться от мысли об освобождении крепостных крестьян, ей принадлежащих. К письму брата сделал приписку П. Киреевский: «... я с этим мнением *совершенно согласен*». Братья советовали сестре «не спешить», составить обдуманное завещание в пользу крестьян, а в настоящем — И. Киреевский дает совет, навеянный онегинскими строками: «А покуда ты жива, продолжай управлять ими, как делала до сих пор, бери с них легкий оброк, дай им свободу управлять собою, не предай их в обиду чиновников, и они будут благословлять тебя так всегда, как теперь благословляют» (II, 244).

Очевидно, что в 1847 г. братья Киреевские были против частных сделок помещиков с крепостными крестьянами. Именно поэтому И. Киреевский отговаривал сестру, о том же писал П. Киреевский к Кошелеву. Они высказывались за общую правительственную меру, направленную против крепостного права, подчер-

кивали неизбежность других социально-политических преобразований. Аргументация братьев Киреевских почти одинакова. И. Киреевский: «... крепостное состояние должно со временем уничтожиться, когда предварительно будут сделаны в государстве другие перемены, законность судов, независимость частных лиц от произвола чиновников и многие другие, которых здесь исчислять не нужно» (II, 242). П. Киреевский: «... крепостное состояние не такого рода зло, которое бы могло быть исправлено отдельно от всех прочих злоупотреблений, полицейских и общественных». И. Киреевский: «И что такое свобода без законности? — Зависимость от продажного чиновника вместо зависимости от помещика» (II, 242). П. Киреевский: «Самые добрые цели правительства получают совсем противоположный характер, пройдя через стотысячерукую цепь чиновничества». Говоря о будущем освобождении крестьян, П. Киреевский не ставил даже вопроса о выкупе и полагал, что крестьянам «справедливо было бы отдать половину земли». Современный биограф П. В. Киреевского объясняет его позицию: «... решение вопроса о крепостном праве он ставит в зависимость от изменений существующих общественных отношений. Эта концепция делала его наиболее радикальным из славянофилов... Его взгляды соответствовали идеологии патриархального крестьянства, ожидавшего милости от царя-батюшки!» [74]

Согласиться с этим нельзя. Во-первых, *все* славянофилы видели связь крепостного права с общим строем русской жизни и понимали важность других социальных и политических реформ. Во-вторых, ожидание реформы «сверху» сближало взгляды П. Киреевского, конечно, не с «идеологией патриархального крестьянства», а с воззрениями российских либералов. В-третьих, согласие П. Киреевского с «мнением» И. Киреевского вообще ставит под сомнение его «радикализм». И. Киреевский вполне определенно был против немедленного освобождения крестьян в России, о чем писал к сестре: «... у нас теперь беспрестанно толкуют об эмансипации, Кошелев, Хомяков и другие. Но я их мнения не разделяю... в теперешнее время, я думаю, что такая всеобъемлющая перемена произведет только смуты, общее расстройство, быстрое развитие безнравственности и поставит отечество наше в такое положение, от которого сохрани его бог!» (II, 242). Отмена крепостного права несвоевременна — вывод И. Киреевского. Это убеждение было высказано И. Киреевским в 1847 г., до революционных потрясений в Западной Европе.

В дальнейшем он не изменил своему убеждению. Приведем выдержки из его писем к Кошелеву, славянофильскому «эмансипатору ex officio» 20 февраля 1851 г.: «Дай бог, дай бог, чтобы он (вопрос об эмансипации. — *Н. Ц.*) не трогался до тех пор, пока у нас не изменится направление умов, покуда западный дух не перестанет господствовать в наших понятиях и в нашей жизни, так, что остается еще русским то, что стоит, а все, что движется, подвигается к немечине. Покуда мы идем и ведемся по этой дороге, дай бог, чтобы у нас делалось как можно меньше

перемен, особенно перемен существенных» (II, 252). Весна 1851 г.: «... нет сомнения, что освобожденные крестьяне будут не только разорены, но вместе и развращены в самое короткое время, с помощью кабаков, приказных и пр. и пр. Тогда кто ручается тебе, что твои леса не будут вырублены, твои луга потравлены, твой хлеб увезен в копнах, твои лошади уведены с пастбища и пр. пр.?» (II, 255). 26 июля 1855 г.: «Если бы я имел твои убеждения о возможности и пользе скорой эмансипации, тогда бы мне было отраднее; но я, по несчастию, так ясно вижу, что от этого *теперь* может произойти только огромный вред, без всякой настоящей пользы, и может быть даже вред неисправимый» (II, 286).

Высказывания И. Киреевского столь недвусмысленны, что возникает соблазн либо объяснить их «окончательным умственным и моральным затемнением» (Н. Дорн), что оскорбительно для памяти крупного русского мыслителя; либо указанием на особый характер его общественно-политических воззрений, отделить И. Киреевского от славянофилов и славянофильства. Последнее тем легче, что о поздней статье И. Киреевского «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» (1852) И. Аксаков, например, сообщал И. С. Тургеневу: «...ни Константин (Аксаков. — *Н. Ц.*), ни я, ни Хомяков не подписались бы под этой статьею»[75]. Однако и такой подход неверен.

Взгляды И. Киреевского несомненно и сильно отличались (не только в крестьянском вопросе) от взглядов других славянофилов, но напомним верные слова Погодина: «... славянофилы никогда не составляли так называемого общества, которое имело бы свой особенный катехизис, т. е. исповедовали бы убеждения, равно для всех обязательные». Вместе с тем в главном, в принципиальном, славянофилы были согласны, и это согласие обеспечивало единство славянофильского кружка. И. Киреевский в последние годы жизни был, по нашему убеждению, славянофилом, его особая позиция в крестьянском вопросе не была уходом от славянофильства. Ключ к пониманию общественно-политических взглядов позднего И. Киреевского дает цитированное выше письмо к Кошелеву от 20 февраля 1851 г. После заклинаний — «как можно меньше перемен» — в письме говорится, что в результате несвоевременной эмансипации «родится небывалый антагонизм сословий». Причина, почему «*теперь*» освобождение крестьян может принести вред, названа. Это — боязнь классовой, сословной борьбы, стремление уберечь Россию от потрясений. То, что побуждало к действию Хомякова, Самарина, Кошелева, оправдывало бездействие И. Киреевского. Говорить о политическом предвидении И. Киреевского нельзя. Он более трезво, чем большинство славянофилов, оценивал охранительную роль общины (характерна его уверенность в быстром «развращении» крестьянина, опасном для хозяйственной деятельности помещика), но одновременно с оптимизмом, истоки которого он не объяснял, смотрел на перспективы достижения славянофильского общественного идеала. Киреевский был «убежден вполне, что не пройдет десяти или много пятнад-

цати лет, как направление умов у нас должно измениться совершенно... Вместо немецкого рационального, преобразовательного духа, дух православно-русский проникнет все наши убеждения и действия... и тогда божие благословение будет на каждом деле улучшения», а «покуда мое желание одно: чтобы нас оставили в том положении, в каком мы находимся, — хорошо ли оно, дурно ли, — только бы не тревожили переменами, и, что еще важнее, не тревожили бы угрозами перемен» (II, 253).

Письмо, в котором легко усмотреть призыв к застою, к стагнации, найти предвосхищение идей К. Н. Леонтьева (об этом писал Н. Рязановский)[76], показывает, что в последние десять лет жизни И. Киреевский не расставался с надеждой на скорое («не пройдет десяти или много пятнадцати лет») достижение идеала «общества христианского, православного». Актуальнейшим был для него вопрос своевременности крестьянской реформы, именно поэтому он был против освобождения крестьян «*теперь*», ибо без соответствующего «воспитания общества» неизбежна борьба сословий, губящая идеал.

Взгляд И. Киреевского безнадежно утопичен. Утопичен идеал «общества христианского, православного», совершенно несостоятельны надежды на его скорое воплощение в жизнь. Кроме И. Киреевского, никто из славянофилов их не разделял.

Интересный анализ политических взглядов позднего И. Киреевского был сделан Э. Мюллером. Общественный идеал И. Киреевского исследователь определил так: «Государство истинно христианского общества, члены которого соединятся на основе общности религиозных убеждений в свободную, органичную общину (Gemeinwesen) социальной солидарности, где государство, как сила порядка, будет основываться на абсолютных постулатах христианства». Мюллер счел подобный идеал «прогрессивным», в глазах И. Киреевского (его Мюллер называет либералом) он стоял выше освобождения крестьян, которому зачинатель славянофильства противился потому, что в условиях николаевского полицейского государства оно «неизбежно должно было привести к типично западному антагонизму классов». Мюллеровское объяснение позиции И. Киреевского в крестьянском вопросе представляется нам верным, равно как и указание на ее связь «с классическим протестом русской дворянской интеллигенции против коррупции государственного аппарата и юстиции, с реалистической оценкой правительственной политики и с критикой господствующего социального образа мыслей русского дворянского общества»[77].

Однако идеал «общества христианского, православного» у Киреевского, кстати, более туманный, чем видится Мюллеру, носил, бесспорно, консервативный характер.

Отыскивая причины обращения И. Киреевского к христианской утопии, следует, вероятно, сравнить его высказывания с мыслями, которые Кошелев развивал в дневнике в бурный 1848 год: «Французский коммунизм должен был возникнуть, потому что деньги

сделались идолом всех и каждого; чрезмерное богатство некоторых и совершенная бедность прочих должны были породить нелепую мысль французского коммунизма. В христианском государстве французский коммунизм был бы невозможен; он силится взять то, что каждый христианин по совести должен сам положить к ногам своей братии. Христово учение должно теперь перейти в жизнь и совершенно изменить все общественные отношения, правила, удовольствия»[78].

У Кошелева ясно видны побудительные мотивы обращения к идеям «христианского общества». Если И. Киреевского вера в идеал обрекала на бездействие, на бесплодную мечту — «русский Дон-Кихот» (определение Д. И. Писарева), то Кошелеву утопия не препятствовала быть ревностным поборником освобождения крестьян. В конечном итоге особый подход И. Киреевского к решению крестьянского вопроса выявил одно важное обстоятельство: идеал «общества православного, христианского» не имел для большинства славянофилов самостоятельного значения. Он отходил на задний план, когда речь шла о необходимости скорейшей отмены крепостного права.

К концу жизни И. Киреевский в этом вопросе остался в одиночестве. П. Киреевский, который долгое время разделял позицию брата, в годы Крымской войны сблизился с остальными славянофилами. В феврале 1856 г. в связи с либеральными веяниями нового царствования он торопит события: «Дай-то бог, чтобы оправдались слухи об эмансипации! Во что бы то ни стало, а это потребность всех вопиющей»[79]. Изменились и взгляды К. Аксакова, который в годы создания теории «негосударственности» как будто не замечал крепостного права. В 1855 г., работая над запиской «О внутреннем состоянии России», он предусмотрел в черновом ее варианте план ликвидации крепостных отношений, по которому за помещиками оставалась усадьба и не более 10 десятин земли. Предложение радикальное! Аксаков пояснял: «Дворянство, оставшись с капиталами, без земли и крестьян, без сомнения пустит их в ход, и, вероятно, большая часть займется хлебопашеством, нанимая земли и работников... Хлебопашество разовьется на новых основаниях, и отсутствие произвола заставит думать о сокращении издержек, о машинах, изобретениях, улучшениях». Интересно отметить, что К. Аксаков усвоил славянофильский взгляд: земля в России «должна принадлежать государству или государю, как единому представителю России»[80].

Подведем некоторые итоги. Не подлежит сомнению, что к середине 1850-х годов вопрос об отмене крепостного права был наиболее разработанной частью общественно-политических взглядов славянофилов. С крестьянской реформой славянофилы связывали надежды на особый, безреволюционный путь социального развития России. Такой подход к решению крестьянского вопроса определял место славянофилов в кругу либеральных деятелей дореформенной России. В николаевские годы славянофилы осторожно подходили к обсуждению других социальных и политических во-

просов, ограничивались неясными указаниями на необходимость их решения в будущем. Чаще всего они касались проблем местного управления, судоустройства и судопроизводства, гласности и цензуры, взяточничества чиновников. Славянофилы не имели сколько-нибудь единой политической теории и были сдержаны (исключение — К. Аксаков) в суждениях о формах государственного устройства. Общественно-политические идеалы славянофильства сводились к туманной проповеди переустройства государственных и общественных отношений в соответствии с произвольно очерченными «народными» и «православными» началами Древней Руси. Общественная борьба кануна падения крепостного права привела славянофилов к необходимости дать теоретическое обоснование тем либеральным реформам (земской, сословной, судебной, цензурной, финансовой), которые они предлагали. В писаниях Ю. Самарина, А. Кошелева, И. Аксакова, В. Черкасского, Ф. Чижова, В. Елагина разрабатывался славянофильский вариант политической теории российского либерализма, фундамент которой был заложен А. Хомяковым, И. Киреевским и К. Аксаковым

Глава четвертая

ОСОБЕННОСТИ СЛАВЯНОФИЛЬСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА

1

Важной вехой в истории славянофильства были годы Крымской войны. Дипломатическая изоляция и военные поражения царизма вскрыли глубину социального и политического кризиса крепостной России, сделали очевидной несостоятельность правительственной системы, созданной Николаем I. В русском обществе окрепли оппозиционные настроения. Заметным центром либеральной оппозиции был кружок московских славянофилов.

Нарастание сопротивления крепостных крестьян помещичьему гнету, застой экономической жизни, коррупция и неэффективность военно-полицейского аппарата самодержавия вызывали беспокойство и недовольство среди славянофилов. События Крымской войны окончательно утвердили славянофилов в мысли о необходимости скорейшей отмены крепостного права, в сохранении которого они видели «зло» (К. Аксаков) и «ложь» (А. Кошелев) русской жизни. Теоретические искания 1840 — начала 1850-х годов подготовили членов славянофильского кружка к серьезному, практическому обсуждению вопросов отмены крепостного права, и деятели славянофильства (А. Хомяков, Ю. Самарин, К. Аксаков, А. Кошелев, В. Черкасский) стремились стать инициаторами либерального движения за освобождение крепостных крестьян. В их практической повседневной общественной деятельности наиболее полно раскрылись особенности славянофильского либерализма. В условиях, когда открытое, гласное обсуждение крестьянского вопроса было невозможно, славянофилы использовали любые формы целенаправленного воздействия на русскую общественность. Свою главную задачу деятели славянофильства видели в создании и укреплении либерального общественного мнения, настроенного против крепостных отношений, в подготовке условий, обеспечивающих его влияние на правительство. Этой задаче было подчинено активное участие славянофилов в русском общественном движении, оживление которого началось в годы Крымской войны. С осени 1853 г., когда Ю. Самарин начал работу над запиской «О крепостном состоянии и переходе от него к гражданской свободе», в славянофильском кружке составляются многочисленные

проекты, записки, письма, мнения, в которых излагаются разные аспекты крестьянского вопроса. Рукописная литература славянофилов широко расходилась по России и была важным фактором формирования антикрепостнических настроений в русском обществе. К середине 1850-х годов Ю. Ф. Самарин, В. А. Черкасский, А. И. Кошелев, авторы детальных славянофильских проектов упразднения крепостных отношений, выдвинулись в первый ряд либеральных дворянских деятелей, готовивших крестьянскую реформу.

Позиция славянофилов в крестьянском вопросе — это позиция дальновидных представителей поместного дворянства, убежденных в обреченности крепостных отношений и готовых путем реформ предотвратить взрыв недовольства крепостных крестьян.

В годы Крымской войны в суждениях И. Аксакова, Ю. Самарина, А. Кошелева, В. Черкасского явственно звучало опасение, что дальнейшее сохранение крепостных отношений ведет к крестьянскому возмущению. В силу этого славянофильские высказывания против крепостного права стали обдуманнее и смелее, славянофилы осуждали царское правительство за непонимание опасности положения, за неумение скоро решить крестьянский вопрос. «Единственное средство спасения для России» видел И. Аксаков в немедленном (шел последний год войны) освобождении крепостных крестьян[1]. Картину политического положения в стране после заключения Парижского мира (1856) накануне правительственного приступа к вопросу «о крепостном состоянии» Ю. Самарин рисовал следующим образом: «Итак, триста тысяч помещиков, не без основания встревоженных ожиданием страшного переворота; одиннадцать миллионов крепостных людей, твердо уверенных в существовании глухого, давнишнего заговора дворянства против царя и народа и в то же время считающих себя заодно с царем в оборонительном заговоре против их общего врага, дворянства; законы, в которых народ не признает подлинного выражения царской воли; правительство, заподозренное народом в предательстве и не внушающее ему никакого доверия, — вот чем мы обязаны крепостному праву в отношении политическом» (II, 36). Это понимание расстановки сил в стране отражало славянофильское убеждение в общности интересов русского царя и русского народа. Объективно оно глубоко неверно, но хорошо передает то чувство тревоги, которое овладевало славянофилами при мысли о возможности дальнейшего сохранения крепостных отношений.

В годы Крымской войны крестьянский вопрос стал в славянофильском кружке главным предметом бесед и конкретных, осязаемых действий. В предвидении скорых социальных перемен И. Аксаков в июле 1854 г. предложил собрать «все описания способов эмансипации земледельческого сословия на Западе». Отметим, что тщательное изучение опыта западноевропейских государств было примечательной чертой социально-политических проектов славянофилов не только в крестьянском вопросе. Осенью 1854 г. славянофилы собрались в имении Хомякова, чтобы (эпи-

столярное иносказание И. Аксакова) «потолковать о систематическом хозяйстве», составить план подготовки русского общественного мнения к восприятию идеи эмансипации. Горячий И. Аксаков торопил события, скептически оценивал действенность славянофильских бесед, доказывал, что «общими толками ничего не столкуешь». Он предлагал Кошелеву: «Условимтесь-ка мы с Вами вдвоем относительно разных мер по сельскому хозяйству, да и начнем дело: тогда к нам пристанут и другие» [2].

Авторитет И. Аксакова в крестьянском вопросе не был высок (в отличие от остальных славянофилов братья Аксаковы не были самостоятельными помещиками-хозяевами), и его подход к возбуждению дворянского общества личным почином не был поддержан. В славянофильском кружке господствовало убеждение, что инициатива в деле отмены крепостного права должна принадлежать не частным лицам, не помещикам, а правительству. В предстоящей крестьянской реформе правительство должно было стать главным действующим лицом. Хомяков, Самарин, Кошелев не верили в могущество русского общественного мнения и отводили его влиянию сравнительно скромную роль. Самые горячие, самые восторженные речи К. Аксакова, воспевавшие общественное мнение, в конечном итоге должны были убедить правительство в необходимости действовать, они содержали обещание полной поддержки правительственным действиям (в крестьянском вопросе, в области иных внутренних реформ) со стороны либеральной оппозиции. Славянофилы были готовы к сотрудничеству с правительством.

Военные неудачи Крымской кампании убедили деятелей славянофильства не только в слабости и отсталости крепостной России, но и в слабости, бездарности царского правительства. Подготовка и проведение крестьянской реформы предъявляли высокие требования к администрации, и таким образом проблема отмены крепостного права сплеталась с вопросом о лучшей форме государственного устройства и управления. Знаменательно, что настоятельная необходимость «эмансипации земледельческого сословия» с особым вниманием обсуждалась в славянофильском кружке с осени 1854 г., когда внимание русского общества было приковано к Севастополю, осада которого союзными войсками стала свидетельством бессилия существующего режима. Давняя иллюзия непобедимости николаевской России исчезла. С появлением союзного флота на Черном море рухнула надежда славянофилов (Хомякова, братьев Аксаковых, Гильфердинга) на то, что итогом Восточной войны будет освобождение балканских славян, «страждущих братьев за границей». Осада Севастополя в глазах славянофилов означала, что пришло время лечить «внутренние язвы». Восхищаясь мужеством русских войск, славянофилы не верили в возможность отстоять Севастополь. Их тогдашние настроения хорошо переданы известными словами из «Записок» Кошелева: «Высадка союзников в Крым в 1854 году, последовавшие затем сражения при Альме и Инкермане и обложение Севастополя нас не слишком огорчили; ибо мы были убеждены, что даже пораже-

ния России сноснее и даже для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время».

Славянофилы разделяли надежды русских либералов, которые полагали, что военные поражения царизма ослабят силы крепостнической реакции, заставят правительство прислушаться к либеральному общественному мнению, приведут к эволюционному обновлению России. Оставление русскими войсками Севастополя в августе 1855 г. было воспринято в славянофильском кружке как закономерный итог тридцатилетнего правления Николая I. И. Аксаков сообщал родным: «Севастополь пал не случайно... он должен был пасть, чтобы явилось на нем дело божие, т. е. обличение всей гнили правительственной системы, всех последствий удушающего принципа» [3].

Славянофилы оставили немало резких суждений о «ложной системе» (А. Хомяков), об «угнетательной системе» (К. Аксаков), созданной Николаем I. Неизменно критически отзывались они о личности императора, о котором И. Аксаков сказал: «... Я считаю Николая Павловича просто душегубцем: никто не сделал России такого зла, как он» [4]. Николай I умер 19 февраля 1855 г., но и несколько месяцев спустя Хомяков грустно размышлял: «Наследство des incapacités, оставленное покойным государем своему преемнику, тяжело отзывается для России, что-то бог даст вперед?» (VIII, 421).

Злые отзывы об императоре, твердое убеждение в гнилости созданной им правительственной системы неизбежно подводили славянофилов к необходимости определить свое отношение к самодержавной власти и проблеме ее ограничения, к монархии — исторической форме государственного устройства России. К середине 1850-х годов славянофилы не имели ясных ответов на вопросы, как и прежде вызывавшие в их среде большие разногласия. Кроме того, вопросы государственного устройства, отношения народа к верховной власти, правильной политической организации общества занимали скромное место в славянофильском учении (исключение — теория «негосударственности» русского народа К. Аксакова), решались достаточно неопределенно. В годы Крымской войны славянофилы ощутили недостаточную цельность своей общественно-политической теории, увидели ее пробелы и осознали важность ее дальнейшей разработки.

2

Зимой 1854/55 г., когда все почти члены кружка славянофилов находились в Москве, они наряду с проблемой отмены крепостного права живо обсуждали вопросы государственного устройства России. Итогом обсуждения стала написанная Ю. Самариным статья о русском самодержавии, о пределах его власти и об отношении к нему русского народа.

Самарин давно готовил себя к роли политического писателя и мыслителя. По взглядам своим он был монархист. «Робеспьером

монархии» назвал его Герцен. О глубоких корнях монархических воззрений Самарина верно писал Б. Нольде: «Условия, в которых он рос, семейная традиция, шедшая из павловского дворца, и традиция общественная, вытекавшая для верхов русского общества из трагических воспоминаний о бесплодной попытке 14 декабря, — все это делало из Самарина монархиста»[5].

Раннее высказывание Самарина о самодержавии относится к 1840 г. Юный студент, он написал тогда историко-теоретическое рассуждение «о двух началах нашей народности, православии и самодержавии», как резюмировал он его в письме к К. Аксакову (XII, 19). Рассуждение было адресовано депутату французской палаты Могену, приехавшему в Россию. В то время Самарин не примыкал к славянофилам, находился под сильным влиянием своего университетского профессора Погодина, который, прочитав письмо к Могену, «с удовольствием» увидел в нем «плод своих лекций»[6]. Действительно, излагая погодинское понимание русской истории, студент Самарин повторял официальные идеи о благодетельности самодержавия («Принцип монархический — великое дело нашей истории»), о преимуществах неограниченной монархии перед иными формами верховной власти. Он, в частности, писал: «Неограниченная власть, единая и народная, действующая во имя всех, идущая во главе нашей цивилизации и совершающая у нас, без ужасов революции, то, что на Западе является результатом войн междоусобных, религиозных смут и общественных переворотов — такова форма правления, которую создал для себя русский народ; она — священное наследство нашей истории, и мы не хотим другой формы, ибо всякая другая была бы тиранией» (XII, 60—69, русский перевод — 447—457).

Письмо Могену — не лишенная парадоксов ученическая апология самодержавия. К славянофильской политической мысли оно отношения не имело.

Около 1843 г. Самарин сблизился со славянофилами, испытал сильное воздействие Хомякова. Юношески восторженное восприятие самодержавия было им утрачено. Выразилось ли в этом влияние Хомякова? Несомненно.

В николаевское время Хомяков был крайне сдержан в политических суждениях, в изложении своих политических взглядов. «Политическую храбрость» он отделял от «храбрости литературной» (VIII, 344). При удобном случае он подчеркивал монархизм своих убеждений. Между тем хомяковское понимание монархии, ее роли в русской жизни вовсе не совпадало с теорией божественного права, которая была составной частью официальной триады: «православие, самодержавие, народность». У Хомякова монархия не имела религиозной санкции, возникновение самодержавия в России он понимал как акт народного суверенитета. В 1850 г., в отзыве на одну из политических статей Ф. И. Тютчева, он писал: «... попеняйте ему за нападение на souveraineté du peuple. В нем действительно souveraineté supreme. Иначе что же 1612 год? И что делать мадегасам, если волею божию холера унесет семью

короля Раваны? Я имею право это говорить, потому именно, что я анти-республиканец, анти-конституционалист и проч. Самое повиновение народа есть un acte de souverainêté!» (VIII, 200—201).

Самарин твердо усвоил уроки Хомякова. Позднее он называл богохульством утверждение, что в силу божественного закона верховная власть принадлежит какой бы то ни было династии. Не без иронии он писал: «Спаситель и апостолы создали церковь и дали человеку учение об отношении человека к богу; но они не создавали государственных форм и не писали конституций» (VI, 557). Отрицание славянофилами теории божественного права, которая в середине XIX в. выглядела устаревшей, не требовало особой научной или общественной смелости, но вполне очевидно свидетельствовало об отличии их политических взглядов от теории «официальной народности».

Для характеристики политических идеалов Хомякова уместно привести высказывание Кошелева, который вспоминал о Хомякове: «Он был душою предан свободе, всегда имел ее в виду и крепко за нее ратовал, и вместе с тем он отстаивал самодержавие. Многим казались такие его речи софизмами; а между тем тут, в его понятиях, не было ничего противоречащего. Хомяков пуще всего ненавидел ложь, а именно такою представлялась ему всякая западноевропейская конституция, переложенная на нашу почву. Он был глубоко убежден... что у нас должна быть иная, более полная, более человечная свобода, и иная, более сильная, более действительная власть; и что мы сумеем согласовать самодержавие с широкою гласностью и со всенародным представительством» [7].

Мысль о совместимости самодержавия и свободы со временем сделалась ведущей в политических размышлениях Самарина. Влияние Хомякова сказалось в понимании Самариным желательности предоставления подданным самодержавного царя гражданских свобод, гласного судопроизводства (в 1840 г. Хомяков восклицал: «Ради бога введите публичность в суды, господа законодатели! Это будет корнем всякого добра», — VIII, 48), ограничения полицейско-бюрократического произвола.

С этими мыслями, обогащенный опытом общественной и служебной деятельности Самарин в разгар Крымской войны приступил к работе над статьей, которая не получила названия и начиналась словами: «В инструкции, недавно изданной...» В статье, которая стала одной из первых попыток развернутого изложения славянофильской политической теории, Самарин высказался против теории божественного права, против представлений, насаждаемых официальной идеологией, о самодержавии как единственно правильной форме правления. Он подчеркнул, что мировая история не знает какой-либо одной истинной формы правления, что и монархия, и олигархия, и демократия имеют право на существование в конкретных исторических условиях: «Легко и вместе бесполезно превращать всемирную историю в предисловие к какой бы то ни было форме правления».

Формой правления, достойной России середины XIX в., Сама-

рин считал самодержавие. Силу правительства он видел в верности народным началам, каковыми признавал православие и народность. Самарин писал: «Отношение правительства к основным началам его союза с подданными есть отношение подчиненности, иначе отношение служебное... Оно (правительство. — *Н. Ц.*) не полновластно потому, что подданные признают над собою власть правительства православного и русского; перестав быть православным и русским, оно бы перестало быть для них правительством». Ограничив самодержавную власть служением «православной церкви и России», Самарин высказывается против закрепления этого ограничения в форме конституции или хартии, видя в этом «отличительный признак русского народа или настоящей эпохи исторического его существования в сравнении с другими народами и эпохами». Но, добавляет Самарин, «русский человек, хотя он и не домогается юридического, формального ограничения верховной власти, может быть, также ясно сознает ее назначение, ее естественные пределы, как и англичанин, вычитавший все это в своей конституции, ибо кто признает определенное назначение власти, тот полагает тем самым ее пределы».

Далее Самарин выясняет вопрос, что такое законная власть и почему русский народ повинуется своему государю. На большом материале русской истории он доказывает, что царский престол наследуется не по закону, а по праву силы: «Нет такого гражданского устройства, которое бы не могло хоть изредка быть потрясено торжеством силы над правом, но в нашей истории поражает не нарушение формальной законности, даже не малое к ней уважение, а совершенное и, может быть, единственное в мире отсутствие всякого о ней понятия».

Окончательный итог исторических и политических наблюдений Ю. Самарина таков: «Не обаяние отвлеченной власти, иначе силы, и не формальная законность связывает в России подданных с государем. Русский народ видит и любит в своем государе православного и русского человека с головы до ног. В основании любви подданных к государю лежит вера и народность; такой широкой и твердой основы не имеет ни одно правительство, и вот почему оно у нас так сильно... Россия и правительство тесно сплелись, потому что растут на одном корню, оторвать корень правительства от корня народного и пересадить его на другую, искусственно составленную почву — об этом могут помышлять только враги правительства и России, или те близорукие друзья его, для которых наше прошедшее непонятно, настоящее мертво, а будущее страшно»[8].

Последние слова Самарина — опровержение известной фразы А. Х. Бенкендорфа, прямое несогласие с теорией «официальной народности». К чему сводилась политическая теория российского либерализма, изложенная Самариным в последний год царствования Николая I? Самарин ясно видит историческую конкретность и многообразие форм правления, его суждения по истории самодержавия беспощадно злы, но основная его мысль: самодержа-

вие — явление надсословное, отвечающее интересам всех слоев русского народа. К формальному ограничению самодержавия, к конституции он относится отрицательно, выдвигая идею изначальной ограниченности самодержавной власти православными и народными началами, преступать которые правительство не вправе. Остается неясным, правда, что Самарин понимал под «началами народности», в какой мере и в чем именно «народность» и православие сужали поле деятельности правительства. Выводы Самарина имели для славянофилов важное успокоительное значение, они утверждали крепость устоев самодержавной власти в России и, следовательно, позволяли надеяться на успех правительственных действий в предстоящей крестьянской реформе.

Самаринская мысль о надклассовой, надсословной природе самодержавия была воспринята славянофилами. В конце 1854 г. начал составление записки о русских финансах Кошелев. Работу свою он хотел представить Николаю I. Характерное для российских либералов двусмысленное положение: мечта о военном поражении царизма сочеталась у Кошелева с работой над проектом изыскания денежных средств, необходимых для дальнейшего ведения войны. В записке, которая в конечном итоге была послана весной 1855 г. новому императору Александру II, Кошелев писал: «Доселе правительство и народ составляли две силы, хотя связанные чувствами любви, но часто разъединенные видами, интересами и способами действия. Слияние этих двух сил теперь нужнее, чем когда-либо». Средство соединения правительства и народа для решения конкретных задач внутренней жизни Кошелев видел в собрании выборных: «Пусть царь созовет в Москву, как настоящий центр России, выборных от всей земли русской; пусть он прикажет изложить действительные нужды отечества — и мы все готовы пожертвовать собою и всем своим достоянием для спасения отечества». Первым из славянофилов Кошелев предложил царскому правительству обратиться к опыту земских соборов XVI—XVII вв., возобновление которых стало славянофильской мечтой 1850-х годов. Кошелев внимательно разобрал возражения против созыва выборных, подчеркнул, что условия работы и представительство от сословий должны зависеть «совершенно от воли правительства», что в подобном собрании никогда не проявится «дух оппозиционный». В глазах Кошелева, созыв выборных от сословий — альтернатива конституционному ограничению самодержавия, условие внутреннего спокойствия и победоносного окончания войны: «Созвание выборных в Москву в теперешнее крайне важное и грозное время оживит всю Россию, скрепит союз царя с народом и воздвигнет такую силу, которая в состоянии будет сокрушить все замыслы искусственно соединенной Европы» [9].

Кошелев, усвоивший мысль К. Аксакова о собрании выборных, о земском соборе, как будто не желал ограничения основ самодержавной власти, был противником конституционных гарантий. В этом он согласен с Самариным. Объективно, однако, указание на необходимость созыва выборных для совещания с правитель-

ством являлось свидетельством недоверия к самодержавию, скомпрометированному Николаем I, имело характер политической оппозиции.

Отметим, что не все славянофилы проявили интерес к политическим размышлениям Самарина и Кошелева. В последние годы жизни И. Киреевский был углублен в религиозно-философские искания, вопросы государственного устройства его интересовали мало. В 1853—1854 гг. в переписке с Кошелевым, Хомяковым и И. Аксаковым по поводу богословской книги Винэ он отстаивал идею первенства интересов церкви над интересами государства: «Государство есть устройство общества, имеющее целью жизнь земную, временную. Церковь есть устройство того же общества, имеющее целью жизнь небесную, вечную. Если общество понимает свою жизнь так, что в ней временное должно служить вечному, то и государственное устройство этого общества должно служить церкви» (II, 271). Именно такими должны стать отношения церкви и государства в России, когда в ней утвердится идеал общества «христианского, православного». Понятие о политической свободе И. Киреевский выводил непосредственно из религиозных начал и убеждал Кошелева: «... если ты хочешь, чтобы государство признало его (понятие о политической свободе. — *Н. Ц.*), то оно должно признать и производящие его начала за свое законное основание» (II, 280). Идеал «общества христианского, православного» довлел над И. Киреевским, и он упрекал Кошелева, поглощенного реалиями общественно-политической жизни николаевской России: «Для тебя главное основание государства, причина его такого или такого направления и образования — одним словом, его *душа,* — есть *общественное мнение,* или *мнение большинства. Для* меня душа государства есть *господствующая вера народа*» (II, 278) [10].

Совершенно особый характер имели политические воззрения П. Киреевского. Он был убежденным противником полицейско-бюрократического строя и, единственный из славянофилов, принципиально высказывался против самодержавного правления: «Говорят, что не может быть народ без единого, самовластного правителя; как стадо не может быть без пастуха, но пастух над стадом — *человек;* он по самому естеству выше стада, а потому и законный его правитель... Не ясно ли, что это уподобление ложно? И кто же, кроме бога, во столько выше человека по самому естеству своему, во сколько человек выше стада животных? — Чтобы человеку стать на это место, нужно — либо ему возвыситься до бога, либо народу унизиться на степень животных».

Недостаток данных — мы привели отрывок из неоконченной работы «Равенство всех вер» — не позволяет оценить характер антисамодержавного протеста П. Киреевского. Несомненно, что под религиозной оболочкой скрыта глубокая неприязнь к самодержавию, к деспотизму. Положительные политические взгляды П. Киреевского, однако, неясны. Высказанное М. О. Гершензоном мнение, что политическим идеалом П. Киреевского была теокра-

тическая республика, не представляется нам достаточно убедительным [11].

3

С началом царствования Александра II в славянофильском кружке связывали надежды на почетный выход из проигранной войны, на либеральное изменение внутренней политики. Характер славянофильских настроений в первые дни нового царствования передает дневниковая запись В. С. Аксаковой от 20 февраля 1855 г., когда в Москве было получено известие о смерти Николая I: «Может быть, теперь единственная минута действовать, новому государю можно многое высказать, написать адрес с изъявлением общих желаний другой политики, или что-нибудь в этом роде». О «величавой смене эпох» торжественно писал И. Аксаков [12].

Славянофилы тонко почувствовали изменение общественных настроений. Общее недовольство итогами николаевского правления утверждало их в вере, что скоро произойдут давно ожидаемые перемены правительственной политики. Славянофилы не останавливались на критике прошедшего царствования и его неспособных представителей, им казалось, что наступил час торжества славянофильских идей в русском обществе. А. Хомяков, Ю. Самарин, К. Аксаков, А. Кошелев, И. Аксаков, В. Черкасский обдумывали, как завоевать общественное мнение, исполнить задачу «воспитания общества». В письме к К. Аксакову Хомяков поставил принципиальный вопрос: «Но теперь что же?» И ответил, более прежнего убежденный в притягательной силе славянофильского учения. Он звал к действию: «Все молчавшие, все рабствовавшие в то время, как мы одни смели небезопасно для себя просить свободы и протестовать против официального одурения, все встрепенулись и кричат, и поют про свободу мысли... Верьте мне, все, что мы сделали для пробуждения общественного сна, весь наш протест или забудется, или же забыт. Если мы теперь не выступим с силою, наш нравственный авторитет (хоть и небольшой, но все-таки приобретенный) пропадет вмиг ... Да: теперь дело идет завоевать Россию, овладеть обществом, и все это не невозможно» (VIII, 351).

«Завоевать Россию»... Хомяков ставил задачу, непосильную для узкого кружка единомышленников, чьи идеи были достоянием правительственных кругов и либеральной общественности. И. Аксаков, много ездивший по России, убедился, что «о славянофильстве в провинции слыхом не слыхать... да оно и не может возбуждать сочувствия молодежи». Одновременно он с горечью писал о распространении демократических идей: «... нет ни одного учителя гимназии, ни одного уездного учителя, который бы не был под авторитетом русского запада, который бы не знал наизусть письма Белинского к Гоголю, и под их руководством воспитываются новые поколения» [13].

Даже в период расцвета славянофильства, в середине 1850-х годов, Хомяков и его последователи были бесконечно далеки от того, чтобы «завоевать Россию». Но хомяковский призыв «овладеть обществом» был услышан. Особую активность проявили младшие (по степени их влияния) члены кружка: Ю. Самарин, А. Кошелев, И. Аксаков. Они задумали обращение к правительству — со временем этот путь «завоевания России» стал традиционным для российских либералов — с изложением важнейших вопросов внутриполитической жизни России. Инициатива принадлежала Ю. Самарину и И. Аксакову, признанным практическим деятелям славянофильства. В марте 1855 г. Самарин извещал К. Аксакова: «Переговоривши с Иваном Сергеевичем, мы положили, что не худо бы было изложить в виде докладной записки современное состояние тех частей государственного управления, которые нам знакомы по опыту. Тогда же условились мы не касаться общих начал — так как здесь каждое слово может быть предметом спора и поводом к недоразумениям — и ограничиться критикою того, что есть, не вдаваясь в предположения, так как цель наша — пробудить внимание и поставить вопросы». Были намечены актуальные темы и определены авторы: Самарин брался за обзор «государственной службы вообще» и положения крепостных крестьян, И. Аксаков должен был осветить состояние судоустройства и судопроизводства, Черкасский — положение казенных крестьян, Кошелев — финансы и откупа.

Характерна цель начинания: «пробудить внимание и поставить вопросы». В ней отразилось стремление воздействовать на правительство и общественное мнение, привлечь симпатии русского общества к славянофильству. Отказ от изложения «общих начал» не был случаен, он предполагал наличие разногласий среди авторов, необходимость уточнения политической теории славянофильства.

Проект Самарина и И. Аксакова не был осуществлен. Не удался и план Кошелева обличить «дрянность нашей административной системы и... ложь нашего положения». К писанию записок против «лжи» правительственной, церковной, помещичьей, цензурной Кошелев хотел привлечь Хомякова, И. Киреевского, Ю. Самарина, Погодина[14]. Главным препятствием к исполнению этих замыслов стало сосредоточение усилий основных авторов — Самарина, Черкасского, Кошелева — на составлении проектов отмены крепостного права. Единственным памятником славянофильским надеждам «завоевать Россию» в первые месяцы царствования Александра II осталась записка К. С. Аксакова «О внутреннем состоянии России».

Вопреки распространенному в литературе убеждению, «Записка» К. Аксакова не была «типичным» и «программным» документом славянофильства. Она была написана по личной инициативе К. Аксакова и представляла собой развитие его идеи «негосударственности» русского народа. В этом и заключается ее интерес. История создания «Записки» свидетельствует, что, написан-

ная в обстановке глубокой тайны, специально предназначенная для царского чтения и известная узкому кругу лиц, она не имела серьезного общественного значения и не могла повлиять на ход общественной борьбы того времени [15].

К. Аксаков был недоволен тем, что Самарин, И. Аксаков, Кошелев отстраняли его от участия в совместных славянофильских проектах. Самарин напрасно уверял его (в цитированном выше письме), что в записках вопросы должны рассматриваться с точки зрения практической, К. Аксакову неизвестной: «Неужели я буду неправ, если и скажу, что службою ты не занимался и что служба тебе незнакома; что ты не изучал ни прав состояний, ни организации сословий, ни финансового управления, ни общественного, ни частного хозяйства». К. Аксаков твердо решился изложить *свое* понимание внутреннего положения России. К началу апреля 1855 г. «Записка» была готова. Через Д. Н. Блудова она была осенью передана Александру II. Известно, что император прочел «Записку», с удовольствием отметил те места, где шла речь о «неполитическом характере» интересов русского народа, после чего она осела в секретном архиве III Отделения. На титульном листе «Записки», читанной Александром II, кто-то из близких ему лиц написал: «Некоторые мысли справедливы, но вообще ни с чем не сообразно, пустые бредни».

В сопроводительном письме к Д. Блудову Аксаков объяснял мотивы своих действий: «В настоящее время всеобщего испытания народов... внимание всякого русского устремлено более, чем когда-нибудь, на внутренний смысл, на основы бытия России. Меня это внимание, постоянное и прежде, привело к убеждениям, выяснившимся в настоящую минуту более, чем когда-нибудь. Строгое время, в которое мы живем, требует откровенного слова» [16].

В «Записке» К. Аксаков подверг суровой критике современное состояние России («внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью»), назвал крепостное состояние, раскол и взяточничество чиновников «внутренними язвами». Он обличал начавшееся с Петра I «*иго* государства над землею» и рисовал идеальные отношения правительства и народа: «Правительству — неограниченная свобода *правления,* исключительно ему принадлежащая, народу — полная свобода *жизни* и внешней, и внутренней, которую охраняет правительство. *Правительству* — право *действия* и, следовательно, закона; *народу — право мнения* и, следовательно, слова. Вот русское гражданское устройство! Вот единое истинное гражданское устройство!»

К. Аксаков считал, что народу принадлежат «неполитические» права: свобода слова, печати, общественного мнения. Последнему он придавал огромное значение: «*Общественное мнение* — вот чем самостоятельно может и должен служить народ своему правительству». Для уяснения общественного мнения страны правительство должно по своему усмотрению созывать земские соборы, где были бы представлены все сословия. В отличие от Кошелева К. Аксаков предостерегал от немедленного созыва земского собора, ибо

считал, что в настоящую минуту сословия разобщены последствиями петровских преобразований: «Созвать в настоящее время земский собор было бы делом бесполезным. Из кого состоял бы он? Из дворян, купцов, мещан и крестьян. Но стоит написать имена этих сословий, чтобы почувствовать, как далеки они в настоящее время друг от друга, как мало единства между ними». В дополнении к «Записке» К. Аксаков уточнил, когда станет возможным услышать общественное мнение на земском соборе: «Времена и события мчатся с необычайною быстротою. Настала строгая минута для России. России нужна правда. Медлить некогда. Не обинуясь, скажу я, что, по моему мнению, свобода слова необходима без отлагательств. Вслед за нею правительство с пользою может созвать земский собор.

Итак, еще раз:

Свобода слова необходима.

Земский собор нужен и полезен».

К. Аксаков был истинным поэтом свободного слова. В защите свободы слова и мысли он далеко превзошел всех деятелей российского либерализма. Он завещал брату Ивану: «Лучшее средство уничтожить всякую вредность слова — есть полная свобода слова... Какой недостойный страх свободы! Все злое исчерпывается одним словом: *рабство*. Всякое благо исчерпывается одним словом: *свобода*. Надо, наконец, понять, что *рабство* и *бунт* неразлучны, это два вида одного и того же. Надо понять, что спасение от бунта — свобода» [17].

Можно твердо заключить, что практические пожелания «Записки» — отмена крепостного права, прекращение преследования раскольников и свобода совести, снятие цензурного гнета, свобода слова, печати, общественного мнения, ограничение произвола бюрократии и борьба со взяточничеством в административном аппарате — разделялись другими славянофилами. Яркая литературная форма выделяла аксаковскую «Записку» среди многочисленных писаний российских либералов.

Наименее ясным в «Записке» остается основной аксаковский тезис: «Русский народ есть народ не государственный, т. е. не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя политических прав, не имеющий в себе даже зародыша народного властолюбия». Исторические примеры, приводимые К. Аксаковым (призвание варягов, 1612 год), банальны и ровно ничего не доказывают. Между тем выводы, делаемые из этого центрального тезиса, весьма значительны. Теория «негосударственности» противоречива. Широкие либеральные пожелания, которые она была призвана обосновать, как будто находятся в несогласии с «общими народными основаниями», на первый взгляд производящими впечатление неприкрытой апологии самодержавия. Не случайно к ним благожелательно отнеслись Александр II, Д. Блудов.

Внимательный анализ «Записки» позволяет уточнить характер монархизма К. Аксакова. В V разделе К. Аксаков дал определение правительства: «Вне народа, вне общественной жизни, может

быть только *лицо* (individuum) ... только лицо может быть неограниченным правительством, только лицо освобождает народ от всякого вмешательства в правительство. Поэтому здесь необходим государь, монарх». По логике К. Аксакова, любая другая форма верховной власти не может обеспечить важнейший принцип «*взаимного невмешательства*» в отношениях между правительством и народом. Очевидно, что для К. Аксакова «государь», «монарх» и «правительство» суть синонимы. В другом месте, однако, он понимает русское правительство как «устройство» и говорит о «правительственных лицах». Его суровые обличения «угнетательной системы нашего правительства», которая, «если бы могла успеть, то обратила бы человека в животное, которое повинуется не рассуждая и не по убеждению», относятся как к административно-полицейской практике самодержавия, так и к самому принципу самодержавной власти.

В области политической теории К. Аксаков убежденный монархист, но в суждениях о современной России он — обличитель самодержавия. Его возмущает «лесть», видящая в царе «земного бога», по его мнению, «правительство, а с ним и верхние классы, отделилось от народа и стало ему чужим». Со времени Петра I самодержавие — знаменитый аксаковский парадокс! — ведет страну к революции: «Чем далее будет продолжаться петровская правительственная система — хотя по наружности и не столь резкая, как при нем, — система столь противоположная русскому народу, вторгающаяся в общественную свободу жизни, стесняющая свободу духа, мысли, мнения и делающая из подданного раба... тем более будут колебаться основы русской земли, тем грознее будут революционные попытки, которые сокрушат, наконец, Россию, когда она перестанет быть Россией. Да, опасность для России: одна *если она перестанет быть Россиею,* — к чему ведет ее постоянно теперешняя петровская правительственная система»[18].

По нашему мнению, политическая теория К. Аксакова неоднозначна, она не только монархична, но и в очень большой степени направлена против политики современного самодержавия. Истоки теории «негосударственности», которую, напомним, не разделяли другие славянофилы, могут быть поняты при ее сопоставлении с социально-политическими идеалами русского патриархального крестьянства. Идеализация прошлого, наивный цезаризм, вера в «доброго» царя и объявление под различными предлогами действительного царя «неистинным», «неприродным», враждебность к «верхним классам» («публике», «изменникам-боярам»), культ замкнутой деревенской общины и боязнь правительственных чиновников — вот положения, общие представлениям К. Аксакова и патриархального крестьянства.

Социально-политические идеалы и стремления патриархального крестьянства оказали воздействие на теорию «негосударственности» К. Аксакова. Его многолетние занятия русской историей, фольклором, русским языком и литературой содействовали восприятию этих идеалов. В письме к И. Аксакову он прямо указы-

вал, что «без русского народа нельзя было прийти к мысли о земле и государстве»[19].

Теорию «негосударственности» К. Аксаков целенаправленно разрабатывал с 1848 г. Долгие годы он пытался с ее помощью объяснить разнородные впечатления русской и западноевропейской жизни. В ней он стремился связать воедино неприязнь к революции, к представительным учреждениям, к деспотизму, к военно-полицейскому государству и к крепостничеству с преклонением перед идеальными свойствами русского патриархального крестьянина, его бытом и верованиями. В результате возникла оригинальная утопия, в которой своеобразно переплелись черты либеральные, нередко радикальные, и черты консервативные, даже охранительные. Теория «негосударственности» отражала противоречия эпохи, и одновременно в ней в наиболее концентрированном виде отразились противоречия славянофильской политической мысли. Самодержавный произвол, традиционные ценности западноевропейского либерализма, революционное движение — все это, по убеждению Аксакова, чуждо внутренней жизни русского народа и потому должно миновать Россию. Логически стройная, политическая теория К. Аксакова бесконечно упрощала русскую социальную и политическую действительность, входила в непримиримое с ней противоречие.

С противоречиями теории «негосударственности» не умел справиться и ее создатель. Жизнь вынуждала К. Асакова быть непоследовательным, и даже в своем неприятии конституционных ограничений, налагаемых на верховную власть, — разительное отличие от обычных догматов либерализма! — К. Аксаков не был стоек. Общеизвестно его восклицание в статье «Об основных началах русской истории» (1849): «Гарантия не нужна! Гарантия есть зло. Где нужна она, там нет добра; пусть лучше разрушится жизнь, в которой нет доброго, чем стоять с помощью зла. Вся сила в идеале ... и что значат условия и договоры, как скоро нет силы внутренней?» Сказано определенно. Однако в одном из рукописных вариантов «Записки» он допускал возможность «присяги»: «Если народ обещал присягою не посягать на государство, то и государство могло бы также обещать присягою не посягать на народ, соблюдать те разграничения, которые лежат между государством и землей»[20].

Реальный ход общественного развития предреформенного времени опровергал упрощенные схемы теории «негосударственности». В определенной мере К. Аксаков это сознавал. В 1857 г. он приступил к изданию газеты «Молва». Передовые статьи газеты (их автором был К. Аксаков) должны были составить свод основ славянофильского учения, выявить ключевые моменты идеологии славянофильства. К. Аксаков написал 21 передовую статью. В них он впервые отчетливо сформулировал для публики историко-философскую концепцию славянофилов, подробно разобрал вопрос о самостоятельности русской жизни и русской мысли, заявил себя поборником свободы слова, печати, совести, противником крепост-

ного труда. Он подчеркнул важность общественного мнения: «Общественное мнение есть великое благо и великая сила». Свобода общественного мнения — залог успешного развития России, ее возвращения к полной независимости от западноевропейского «нравственного ига». В передовых статьях «Молвы» К. Аксаков иногда дословно повторял свои ранние формулировки, поэтично воспевал «простой народ», который «есть основание всего общественного здания страны», но о «негосударственности» русского народа он умолчал [21].

Было ли это отказом от теории «негосударственности» — судить трудно.

4

В записке «О крепостном состоянии и переходе от него к гражданской свободе», которая была завершена осенью 1856 г., Ю. Самарин дал продуманную оценку причин политической и военной слабости крепостной России. Он писал: «Мы сдались не перед внешними силами западного союза, а перед нашим внутренним бессилием... Мы должны обратиться на себя самих, исследовать коренные причины нашей слабости, выслушать правдивое выражение наших внутренних потребностей и посвятить все наше внимание и все средства их удовлетворению. Не в Вене, не в Париже и не в Лондоне, а только внутри России завоюем мы снова принадлежащее нам место в сонме европейских держав; ибо внешняя сила и политическое значение государства зависят не от родственных связей с царствующими династиями, не от ловкости дипломатов, не от количества серебра и золота, хранящегося под замком в государственной казне, даже не от числительности армии, но более всего от цельности и крепости общественного организма». Россия слаба, и причина расстройства ее «общественного организма» — крепостное право, которое необходимо уничтожить: «Во главе современных домашних вопросов, которыми мы должны заняться, стоит как угроза для будущего и как препятствие в настоящем для всякого существенного улучшения в чем бы то ни было — вопрос о крепостном состоянии» (II, 17—19) [22].

Во второй половине 1850-х годов деятели славянофильства сосредоточили свои усилия на подготовке отмены крепостного права. В 1858 г., когда стало возможно печатное обсуждение предполагаемой крестьянской реформы, славянофилы начали издание журнала «Сельское благоустройство», специального органа, посвященного вопросам отмены крепостного права. Ю. Самарин, В. Черкасский, А. Кошелев работали в губернских комитетах, Самарин и Черкасский — в Редакционных комиссиях. «В жизнь мою не работал я так усиленно», — признавался Самарин, рассказывая о своей деятельности в Самарском губернском комитете, где был признанным авторитетом.

Деятельность славянофилов по подготовке крестьянской реформы детально изучена в книге Е. А. Дудзинской [23]. Повторять ее

наблюдения нет необходимости. Выделим основные для нашей темы вопросы.

Прежде всего следует подчеркнуть, что активное участие славянофилов в подготовке отмены крепостного права стало возможным потому, что они в течение долгого времени сознательно готовили себя к этой деятельности. Принадлежность к славянофильскому кружку подразумевала наличие антикрепостнических убеждений. Еще в 1840-е годы славянофилы осознали остроту политического положения в стране, глубину кризиса крепостных отношений и иллюзорность надежд на их сохранение. Славянофильство — целостное мировоззрение, которое возникло в условиях распада крепостной системы и в основе которого лежало недовольство социально-политической действительностью николаевской России. Высказываясь за крестьянскую реформу, славянофилы отстаивали интересы своего сословия, поместного дворянства, но, как верно отметила Е. А. Дудзинская, «сама идея отмены крепостного права буржуазна»[24]. В славянофильстве отразилась попытка идеологов раннего российского либерализма создать концепцию буржуазного преобразования России, которая учитывала бы опыт развития европейских буржуазных государств и была бы способна предохранить страну от социальной борьбы и революционных потрясений.

Славянофильские проекты крестьянской реформы в основе своей были схожи. (Мы не рассматриваем здесь глубоких расхождений по частным вопросам предлагавшихся практических мер. Разногласия в славянофильской среде, острые, обидные споры не имели принципиального значения. Это были споры, порожденные *совместной* и *согласной* в главном работой. В разгар споров между деятелями Редакционных комиссий и дворянскими депутатами Кошелев, депутат, крайне обиженный тем, что не попал в состав Редакционных комиссий, писал Черкасскому: «Мы можем находиться случайно в разных положениях, но, в сущности, мы хотим одного и расходиться действительно не можем».)

В канун крестьянской реформы славянофилам — всем, без исключения — присуще было давнее стремление избежать появления в России «язвы пролетариатства», осуществление славянофильских планов упразднения крепостных отношений — в этом были убеждены А. Хомяков и К. Аксаков, А. Кошелев и Ю. Самарин, В. Черкасский и И. Аксаков, В. Елагин и А. Гильфердинг — уводило страну с пути подражания Западной Европе, с пути, движение по которому грозило характерными для западноевропейского развития революциями. Активно отстаивая идею крестьянской реформы, славянофилы, по сути дела, предлагали поместному дворянству сделать сознательный выбор — реформа или революция. Реформа требовала действий, пассивное ожидание событий, «дворянская лень», которую неистово осуждал Ю. Самарин, вели страну к взрыву крестьянского возмущения.

Опровергая толки консервативного дворянства о том, что освобождение крепостных людей вызовет в стране бунт, Кошелев

доказывал, что, напротив, промедление в осуществлении крестьянской реформы приведет к «беспорядкам и даже резне». Об этом он писал в «Записке по уничтожению крепостного состояния в России», поданной на имя Александра II в начале 1858 г. Рассуждение Кошелева заслуживает внимания: «Если история и личная наша опытность свидетельствуют, что представление людям свободы *никогда* и *нигде* не сопровождалось беспорядками и убийствами, то они же нас научают, что восстания для прекращения рабства и получения больших прав *всегда* и *везде* сопровождались такими ужасами, что страшно об них вспомнить, и что правительство, сословия и лица, удерживавшие во что бы то ни стало противоестественное владение людьми, дорого платили за свое корыстолюбие, жестокосердие и ослепление. Именно в отвращение таких бедствий необходимо приступить к немедленному полному и общему уничтожению крепостного состояния»[25].

С отменой крепостного права деятели славянофильства связывали надежды на достижение созданного ими общественного идеала, при котором возможно примирение всех сословий России, согласие помещиков и крестьян, «капитала» и «труда». В предреформенные годы, в губернских комитетах и Редакционных комиссиях славянофилы хранили верность социальным и историко-философским построениям сороковых годов, их вера в достижимость идеала «общества христианского, православного» не была поколеблена. Если сохранение крепостных отношений пагубно для России, то их уничтожение — залог обновления страны, событие, призванное, быть может, изменить характер европейской истории, воплотить в жизнь идеи славянской цивилизации. Эта мысль сквозила в писаниях А. Хомякова, Ю. Самарина, К. Аксакова, в меньшей степени, но ее разделяли А. Кошелев, И. Аксаков, А. Гильфердинг, Ф. Чижов.

Накануне крестьянской реформы славянофилы не только испытывали тревогу, как и все представители правящего класса, но и были полны сдержанного оптимизма. Казалось, что заветные мечты И. Киреевского и А. Хомякова близки к осуществлению, надлежало лишь тщательно оберегать продуманную в деталях славянофильскую программу освобождения крепостных крестьян, следить за ее правильным исполнением. С особой настойчивостью славянофилы — в печати, в губернских комитетах, в Редакционных комиссиях — отстаивали мысль о невозможности безземельного освобождения крестьян, об «историческом праве» крестьян на землю. После опубликования рескрипта на имя виленского генерал-губернатора В. И. Назимова, в котором правительство впервые гласно объявило о намерении решить крестьянский вопрос, И. Аксаков озабоченно писал: «Сохрани бог, если оно (освобождение крестьян. — *Н. Ц.*) совершится так, как в Литве, т. е. без земли, с выкупом одной усадьбы... Так вот мы и вступаем в кризис: это важнейшая минута для России. От правильного решения задачи зависит будущность России. Вопрос имеет не местную, но всемирно-историческую важность»[26].

Два года спустя, в 1859 г., когда подготовка крестьянской реформы вступила в решающую стадию, Хомяков обратился с письмом к председателю Редакционных комиссий Я. И. Ростовцеву, в котором выразил программную мысль славянофилов: «...целая будущность России ставится на ставку. Разумное решение обеспечивает навсегда счастье народа, ошибка же может быть неисправимою: все основы общества могут быть ею потрясены; все вещественные и нравственные отношения сельских сословий друг к другу и к государству могут быть искажены навсегда, и длинный ряд неотвратимых волнений и революций может быть последствием меры, задуманной для самой благой и человеколюбивой цели» (III, 292).

Боязнь крестьянских волнений, общероссийского крестьянского восстания, которое легко перечеркнет надежды на грядущее «счастье народа», постоянно примешивалась к размышлениям славянофилов. В мае 1860 г. Кошелев писал из деревни к Черкасскому, который играл видную роль в Редакционных комиссиях: «Решить вопрос как можно скорее становится с каждым днем большею необходимостью. Решайте, хоть недостаточно, хоть неполно, но решайте скорее. Народ спокоен, но наши хозяйства, наши отношения к крестьянам портятся все более и более... власть помещика ослабла значительно, а полиция еще менее имеет силы. Нет! Решайте, как можно скорее и шире, иначе беда. Если замедлите, то может выйти бунт».

Всеми мерами предотвратить «бунт», успеть в проведении реформы — главная забота славянофилов. Русский крестьянский бунт страшен российским либералам, и тот же Кошелев утверждал: «Мы столько стоим за предоставление людям свободы, сколько против того, чтобы люди у нас ее выхватили» [27].

Отношение славянофилов к отмене крепостного права было насквозь пронизано идеей реформизма. Четкое осознание этого принципа было особенно присуще Ю. Самарину, «человеку реформы», одному из ее инициаторов и творцов. Будучи членом Редакционных комиссий, Самарин, как и его сподвижник Черкасский, нередко подвергался критике со стороны Хомякова, Кошелева, братьев Аксаковых за отход от славянофильских принципов освобождения крестьян. Их обвиняли в тяготении к бюрократическим методам воздействия на народ, регламентации жизни крестьянской общины, забвении интересов дворянства и т. д. Высказывания единомышленников-славянофилов не производили впечатления на Черкасского и Самарина, они, как правило, оставляли их без ответа. Однажды, правда, Черкасский кратко назвал замечания Кошелева на труды Редакционных комиссий «пасквилем» [28].

Весной 1861 г., когда крестьянская реформа стала свершившимся делом, Самарин получил от И. Аксакова письмо, где «Манифест 19 февраля» — самаринское детище — был назван «безобразным исчадием письменности», какого «еще не видала Русь». Самого Самарина Аксаков упрекал в том, что он «слишком легко» подчиняется «требованиям той среды, в которой призван действо-

вать». С позиций чистого славянофильства, хранителем которого он счел себя после смерти Хомякова и К. Аксакова, И. Аксаков обвинял Самарина в отречении от требований славянофильства, выставленных задолго до крестьянской реформы. Попав в «среду бюрократическую», Самарин, по мнению Аксакова, счел эти требования «роскошью, принадлежностью непрактицизма, незаконным гостем на чужом пиру».

Самарин почувствовал себя задетым и счел нужным ответить. Его письмо к Аксакову — изложение принципов реформизма, которыми он неизменно руководствовался. Самарин писал: «Первое и самое существенное условие всякой практической деятельности заключается в умении держаться твердо своих убеждений, как бы радикальны они ни были, и в то же время понимать, что осуществление их возможно только путем целого ряда сделок с существующим порядком вещей». Для Самарина это оправдание либерального оппортунизма имело силу закона: «Таков закон всякого *прочного* развития, побеждающего *окончательно* и *безвозвратно* то, что стоит на пути его». Поверхностным нападкам Аксакова была дана твердая отповедь: Самарин отлично понимал значение проделанной работы для всего дворянства. Он не пощадил аксаковского пустословия: «Вы, литераторы и издатели газет или кандидаты на издателя, пожалуй, преклоняетесь перед законами филологии, а до законов сословного и общественного быта, финансовых и административных, Вам нет дела. Вы, кажется, дали себе слово игнорировать их, а чтобы подчас не смущала Вас совесть за такое сознательное невежество, Вы придумали для себя бессмысленную терминологию, которая от собственных Ваших глаз скрывает сущность дела. Например, обрезывать свои требования в меру возможности в данную минуту — это значит, на Вашем языке, «угождать Петербургу» и т. п.» Опытный журналист, И. Аксаков редко подвергался столь язвительной критике, тем более меткой, что она исходила от славянофила. В конце письма Самарин обвинил Аксакова в страшном грехе — «дворянской лени»: «Ваше отвращение к так называемым полумерам, сделкам и т. п. есть не что иное, как инстинктивное отвращение к тяжелому процессу вырабатывания положительных результатов» [29].

Письмо Самарина, на наш взгляд, исчерпывающе характеризует суть славянофильского реформизма. Оно как бы обобщало приобретенный российскими либералами в ходе крестьянской реформы опыт «сделок с существующим порядком вещей». Самаринское «в меру возможности» поистине великолепно!

Славянофилы понимали, что отмена крепостного права поведет к переустройству всего уклада русской жизни. Крестьянская реформа делала неизбежными другие реформы, которые должны были привести русские общественные институты в соответствие с новыми социальными отношениями. В ноябре 1857 г., до обнародования рескрипта Назимову, Самарин следующим образом определял причины, делающие реформы необходимыми, и характер самих реформ: «Политический удар, нанесенный нам, и под кото-

рым мы до сих пор еще находимся, вынуждает нас стать откровенно на путь прогресса в нашей внутренней политике... не в том дело, чтоб исправить некоторые вопиющие несправедливости или раздать некоторые подачки; надо пробудить от сна все производительные силы страны, как нравственные и умственные, так и материальные, уничтожив рабство (казенное и помещичье крепостное право), возвратив слово церкви, дав более широкое основание народному просвещению, преобразовав нашу подушную подать и тоже рекрутскую. Одним словом, необходим определенный план, надо знать, чего хотим, а не пробавляться изо дня в день разными изворотами». Последние слова — прямая критика политики Александра II [30].

В общих чертах план, начертанный Самариным (его печалило, что никто не понимает необходимости продуманного плана), воплотился в реформах 1860-х годов. Самарин не случайно имел репутацию прозорливого реформатора. Правда, в перечне реформ у него отсутствовало упоминание о реорганизации органов местного управления. Между тем вопрос этот представлялся славянофилам вторым по важности после крестьянской реформы. Совершенствование местного управления они понимали как развитие системы самоуправления, с чем склонны были связывать далеко идущие надежды.

Вдумчивый исследователь славянофильства Н. П. Колюпанов придавал этой стороне славянофильских общественно-политических взглядов первостепенное значение: «В окончательном результате славянофильское учение формулируется таким образом: с одной стороны, возобновить взаимные отношения между правительством и местным русским самоуправлением — не в качестве враждебных сторон, а в смысле мирного объединения; а с другой стороны, освобождением крестьянского мира и участием его в выборном начале создать естественную гарантию против всякого личного произвола» [31].

Действительно, проблема самоуправления во взглядах славянофилов неотделима от крестьянского вопроса. Начало обсуждению состояния местного управления положил В. А. Черкасский. В записке «О лучших средствах к постепенному исходу из крепостного состояния» (конец 1856 г.) он высказался за преобразование местной административной системы, создание новых органов «приходского управления» (взамен «долженствующей исчезнуть власти помещичьей»). Мечта Черкасского — «призвание местного дворянства к истинному сериозному контролю над деятельностью губернских властей».

Во втором выпуске «Русской беседы» за 1857 г. Черкасский поместил рецензию на книги М. Монталамбера «О политической будущности Англии» и А. Токвиля «Старый порядок и революция», вызывавшие большой интерес в дворянских кругах. Статья Черкасского «О сочинениях Монталамбера и Токвиля» — блестящий образец славянофильской публицистики.

В сочинениях Токвиля и Монталамбера Черкасский находил

сходство с идеями славянофильства и выражал надежду: «... авось общество наше, равнодушное или враждебное к исторической теории, взращенной дома, потому только, что она была плодом самостоятельной народной мысли, поспешит принять ее хоть на веру, как скоро появилась она под фирмою и за рукоприкладством французских мыслителей»! Черкасский щедро цитировал высказывания западноевропейских авторитетов против административной централизации, разрозненности и антагонизма сословий, в пользу политической свободы и особенно свободы слова. Подобно Токвилю и Монталамберу, Черкасский — враг деспотизма. Вслед за Монталамбером он считает, что развитие цивилизации ведет к торжеству демократических учреждений. Черкасский выделяет два вида демократии: либеральную демократию, «ищущую для граждан своих лишь гражданской свободы», и «демократию унитаризма, алчущую всеобщего во всем равенства и повсеместного однообразия учреждений». К последней он относится с нескрываемым раздражением. Черкасский сдержанно раскрывает свои политические идеалы, его симпатии на стороне самоуправляющихся областных учреждений, ибо «только с их помощью, при благотворном их воздействии и влиянии на местное управление, может принести какую-либо пользу сознательно и бессознательно ныне требуемое везде и всеми отменение административной централизации». Свершить этот «подвиг» призван русский государь. Еще один парадокс славянофильской политической мысли: самодержавный монарх — творец административной децентрализации.

Статья создала Черкасскому в Английском клубе Москвы славу «публициста-философа». В его идее децентрализации и независимого местного самоуправления усматривали обоснование первенства дворянской аристократии в общественной жизни. Некоторые частные высказывания Черкасского действительно проникнуты духом аристократизма [32].

Остальные славянофилы, признавая авторитет Черкасского в практических вопросах местной администрации, не разделяли его аристократических пристрастий. Ю. Самарин в карандашной заметке на обертке книги Токвиля указал на различие позиций славянофилов и мыслителей типа Монталамбера: «Токвиль, Монталамбер, Риль, Штейн — западные славянофилы. Все они по основным убеждениям и по конечным своим требованиям ближе к нам, чем к нашим западникам... Но вот разница: Токвиль, Монталамбер, Риль и другие, отстаивая свободу жизни и предание, обращаются с любовью к аристократии, потому что в исторических данных Западной Европы аристократия лучше других партий осуществляет *жизненный торизм*... Напротив, мы обращаемся к простому народу, но по той же самой причине, по которой они сочувствуют аристократии, т. е. потому, что у *нас* народ хранит в себе дар самопожертвования, свободу нравственного вдохновения и уважение к преданию. В России единственный приют торизма — черная изба крестьянина» (I, 402—403).

Думается, что приведенное высказывание (его нередко цити-

руют в разных контекстах) не дает оснований для широких суждений о демократизме политического идеала Самарина. Прежде всего оно служит необходимым коррективом к статье Черкасского с ее аристократическими пристрастиями. Преувеличенные отзывы Самарина о русском крестьянстве, «простом народе», напоминают известные сентенции К. Аксакова, его противопоставление «публики», аристократии и «народа». Подлинного демократизма в славянофильстве не было.

Отношение К. Аксакова к аристократизму Черкасского аналогично самаринскому. Он резко писал Черкасскому в ноябре 1859 г.: «Для меня нет ничего богопротивнее аристократии... Аристократ — враг народа и христианства» [33].

С 1857 г. славянофилы приступили к разработке проектов местного самоуправления. Позднее их проекты и предложения были использованы при подготовке земской реформы. Авторы проектов — И. Аксаков, А. Кошелев, Ю. Самарин, В. Черкасский — стремились предотвратить возможность социальной розни, высказывались за сближение сословий на почве повседневной земской работы. И. Аксаков был сторонником бессословного земства. В. В. Гармиза, в работе которого славянофильские проекты местного самоуправления изложены подробно, справедливо считает славянофилов наиболее прогрессивными представителями дворянского общества [34].

Выступления за широкое местное самоуправление сочетались у славянофилов с нападками на бюрократию и централизацию. Критика бюрократического строя, всегда приметная у славянофилов, особенно усилилась с 1859 г., когда началась работа Редакционных комиссий. В славянофильском кружке произошел раскол. Хомяков, Кошелев, братья Аксаковы обрушились на «правительственных бюрократов», на чиновничий произвол и административную регламентацию местной жизни. В письме к Ю. Самарину от февраля 1860 г. А. Кошелев утверждал, что только в дворянстве «заключается элемент порядка и преуспеяния», поэтому оно и должно «принимать преимущественное участие в управлении». Расстановку политических сил в стране он понимал своеобразно: «Мы все за самодержавие, ибо признаем его необходимость для России, но мы все также против бюрократии, ибо считаем ее злейшим врагом России и самого правительства. Самодержавие — вне области борьбы; в схватке теперь — бюрократия и земля». В защите интересов поместного дворянства Кошелев не чужд демагогической фразы, он стремится противопоставить бюрократии «землю», в критике чиновничества взывает к самодержавию. Отметим, что «земля» Кошелева — узкий слой поместного дворянства, к «земле» социологии К. Аксакова она не имеет отношения [35].

Членам Редакционных комиссий Самарину и Черкасскому было свойственно широкое понимание дворянских интересов, которые они отстаивали в ходе подготовки крестьянской реформы. Смысл своей деятельности в Самарском губернском комитете Ю. Самарин видел в том, чтобы «путем правильных законодательных пре-

образований, а не революционных мер» свести дело к уступкам, «которые может сделать дворянство, не подвергая себя конечному разорению, а государство социальному банкротству» [36].

Работа в Редакционных комиссиях убедила Самарина и Черкасского в несостоятельности традиционных славянофильских противопоставлений дворянства и чиновничества, «земских людей» и правительственных бюрократов. Несколько позднее, в 1864 г., в статье «Крестьянское самоуправление, чиновничество и искомое третье» Самарин лаконично и верно писал: «Дворянство и чиновничество — это не два сословия, не две среды, а одно и то же, один общественный орган, одно юридическое лицо. Пожалуй, можно различать в нем две стороны, но они так неразрывно связаны, что на практике не отделяются одна от другой, даже в частном быту» (IV, 505). Самарин и Черкасский не скрывали своего сочувствия бюрократической системе, которая могла более гибко, чем поместное дворянство, реагировать на изменение настроений народных масс, отстаивать дворянские, помещичьи интересы, прикрываясь неизжитой в крестьянстве верой в добрые намерения царя и связанными с этим ожиданиями «царской воли». В этом заключается идейная основа их сближения с группировкой либеральной бюрократии, возглавляемой Н. А. Милютиным.

В основе славянофильских нападок на бюрократию и чрезмерную централизацию административного аппарата, проектов широкого местного самоуправления лежала мысль о создании «гарантии против всякого личного произвола» (Н. П. Колюпанов), скрытая идея уменьшения прерогатив самодержавной власти. Высказывания Черкасского против «деспотизма» были понятны его либеральным читателям.

В предреформенные годы, однако, славянофилы затушевывали связь между развитием местного самоуправления и необходимостью преобразования высших органов власти. В суждениях о самодержавии они постоянно проявляли сдержанность, подчеркивали свои верноподданнические чувства. Все славянофилы были убеждены, что только самодержавная власть может обеспечить эффективное проведение крестьянской реформы.

Именно в эти годы славянофилы утвердили себя в представлении передовой общественности как сторонники и апологеты монархического правления, царской власти. В 1857 г. в «Русской беседе» была помещена работа профессора Московского университета Н. И. Крылова «Критические замечания на сочинение г. Чичерина «Областные учреждения России в XVII веке». Статья была наполнена пространными рассуждениями о сущности верховной власти, характеристиками политических типов монархии. Крылов писал: «Мы наследовали от двух великих монархий одни *государственные* типы... От Византии мы наследовали *канонический* тип, а от монголов — светский, самодержавный, преобразовавши его сообразно своему национальному элементу».

Славянофилы всегда отрицали теорию каноничности, божественного происхождения царской власти, но когда И. Аксаков, да-

лекий от редакционных дел «Русской беседы», высказал недоумение по поводу статьи Крылова, Кошелев резко отвел аксаковские возражения: «Статья эта с начала и до конца одобрена мною, Хомяковым и Самариным... Статья Крылова вполне выражает русское воззрение на царскую власть, и если не принять этого воззрения, то мы на всех парусах пойдем в европейский революционизм, от чего боже нас упаси» [37].

Почему политическая теория каноничности царской власти была одобрена руководителями славянофильского журнала? Крылов никогда не был славянофилом, а его статья была напечатана в «Русской беседе» потому, что должна была отвести от славянофилов подозрение в политической неблагонадежности, которое вновь пало на них после появления летом 1856 г. в Париже книги иезуита кн. И. С. Гагарина «La Russie sera-t-elle catholique».

Книга Гагарина имела успех в консервативных слоях европейского общества. В 1857 г. в Мюнстере вышел ее немецкий перевод с сочувственным предисловием А. Гакстгаузена. На русский язык книга была переведена иезуитом И. Мартыновым и издана в Париже в 1858 г. Гагарин, мечтавший о союзе римского папы и русского царя для борьбы с революционным движением в Европе, старался запугать царизм внутренними врагами. Славянофилов, «старую московскую партию», он объявил приверженцами революции, сравнил их с «молодой Италией», хотя «сомнительно, чтобы западные демагоги, не исключая и итальянских, выдумали для несомненного действия на массу народную что-либо лучше панславизма».

Тайные помыслы славянофилов Гагарин определял так: «В глазах представителей помянутой партии самодержавие не что иное, как путь к победе, орудие, необходимое для битвы, диктатура, обязанная соединить в одно целое все славянские племена и всех восточных христиан. Но когда пробьет для самодержавия роковой час, тогда, чтобы сбыть его с рук, выведут без всякого затруднения из этой же самой народности начала политические, как нельзя более республиканские, коммунистические, радикальные. Покамест эти начала стоят на втором месте, в тени, но они тем не менее важны в мнении людей, посвященных в тайны этой партии» [38].

В среде славянофилов редко ослабевало опасение правительственных преследований. Книга Гагарина вызвала у них желание оправдаться, гласно заявить о своей преданности самодержавию. Назвав Гагарина «подлецом-иезуитом», Хомяков подчеркнул: «Отвечать на это я конечно не стану потому, что оправдание я считал бы уже унижением» (VIII, 328). Опытные тактики общественной борьбы, славянофилы использовали для оправдания перо Крылова, статья которого, правда, не улучшила репутации славянофильства в правительственных кругах (тогда же московская цензура подозревала аксаковскую «Молву» в «коммунизме»). Демократическая общественность, далекая от тактических расчетов славянофильского кружка, увидела в статье Крылова защиту самодержа-

вия, подтверждение идейного, безоговорочного монархизма славянофилов. Характерная для российских либералов осторожность, политическая трусость помешали славянофилам полнее выявить в предреформенные годы свои общественно-политические идеалы.

5

Деятели славянофильства искренне приветствовали крестьянскую реформу 19 февраля 1861 г. В передовой статье первого номера газеты «День» Аксаков писал, не скрывая упований на пробуждение народа: «19-м февраля 1861 года начинается новое летосчисление русской истории». Сказано точно!

Обращаясь к читателям, Аксаков указывал, что новая газета будет продолжать традиции славянофильских изданий 1840—1850-х годов: «Знамя нашей газеты есть знамя «Русской беседы», знамя русской народности, понятой и определенной Киреевскими, Хомяковым, Аксаковым Константином и всей так называемою славянофильскою школой». «День» должен был обсуждать все вопросы современной русской жизни с точки зрения славянофильства. Поздравляя читателей с новым, 1862 г., Аксаков подробно очертил круг тем, в первую очередь занимавших славянофилов. Русскому обществу, по его мнению, предстояло решить следующие «самые положительные, насущные вопросы: вопрос крестьянский, вопрос дворянский, вопрос об отношении государства к правам жизни общественной, вопрос о свободе совести и ее выражении в слове, вопрос о народном образовании, вопрос об отношении образованного общества к народу и народности» [39].

Внимание славянофилов в первые годы после крестьянской реформы привлекал прежде всего комплекс политических проблем, вызванных отменой крепостного права и переустройством всей социальной структуры русского общества. В конце 1861 — начале 1862 г. особую актуальность имели выступления, в которых ставился вопрос о роли дворянства в новых исторических условиях.

В первые пореформенные годы, когда процесс оскудения, разорения помещичьих хозяйств, не приспособившихся к капиталистическим отношениям, только начинался, значение дворянства в жизни страны было велико. Дворянство сохраняло господство в политической сфере, значительным было его влияние в экономике России. В кругах реакционно настроенного дворянства господствовало убеждение, что правительство, проведя отмену крепостного права и тем самым лишив дворян важных привилегий, должно поступиться частью своей власти в их пользу. Своеобразным выражением этого убеждения стало дворянское конституционное движение, лидеры которого в ограничении самодержавной власти видели путь к закреплению преобладания дворянства в политической жизни страны. Идеологи дворянского конституционного движения (В. П. Орлов-Давыдов, А. П. Платонов, Н. А. Безобразов и другие) критиковали правительство справа. Дворянский конституционализм стал выражением настроений влиятельной части дворян-

ского общества, недовольной изменениями, происходившими во всех областях русской жизни. Движение за ограничение самодержавия олигархической дворянской конституцией носило глубоко реакционный характер, но диалектика исторического развития заключалась в том, что в условиях 1860-х годов мечты об олигархической конституции были явно неосуществимы, в то время как в требовании конституционного ограничения самодержавия, вне зависимости от целей, которые стремились достичь этим требованием, содержались положительные моменты, отвечающие общему развитию России.

В общественной жизни 1860-х годов дворянский конституционализм играл заметную роль. Среди русских либералов выступления вождей дворянского конституционного движения вызывали осуждение. Желание ограничить самодержавие в пользу сравнительно небольшой общественной группы — поместного дворянства — делало уязвимой позицию либералов-конституционалистов. Наличие дворянского конституционализма компрометировало либеральные пожелания конституции (например, тверской адрес 1862 г.). Видные либеральные деятели (К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, Ю. Ф. Самарин) подвергали критике все вообще конституционные проекты. Их антиконституционная аргументация в конечном счете сводилась к предпочтению неограниченной монархии конституционным переменам, не сулившим, как казалось, ничего, кроме «российского парламента» с неизбежным перевесом дворянства — самого образованного, сплоченного, политически активного сословия. Такое представительство вместо стабилизации положения в стране могло привести к взрыву крестьянского недовольства. Линия Кавелина — Самарина доминировала в русском либеральном движении, она объединяла большинство западников и славянофилов.

Решительными противниками дворянского конституционализма были славянофилы, для которых борьба против дворянских конституционных проектов стала одним из основных направлений общественной деятельности. Славянофилы, исходя из своего учения, доказывали, что дворянская конституция подорвет веру народа в царя, приведет к новому разобщению сословий и к обострению социальных противоречий в стране. Ведущая роль в борьбе с дворянским конституционализмом принадлежала Ю. Самарину, которого его биограф назвал «лидером противников конституционной программы», и И. Аксакову. В начале 1860-х годов славянофилы продолжали считать самодержавие социальной силой, которая может возглавить движение страны по пути преобразований. Отрицательно относясь к деятельности Петра I, они фактически мечтали о подобном же сильном выразителе «самодержавной воли», хотя и понимали, что новые общественные отношения требуют от самодержавия большей способности к политическому лавированию. Славянофилы разделяли присущую всем либералам того времени мысль: «Сильная власть и либеральные меры».

В октябре 1861 г. Ю. Самарин в письме к И. Аксакову изло-

жил привычную славянофильскую точку зрения на самодержавие и на его роль в общественной жизни России. Самарин написал свое письмо, узнав о движении в среде либеральной московской интеллигенции, вызванном деятельностью А. Бенни, который собирал подписи под адресом к царю с пожеланием конституции. В исторической литературе письмо Самарина известно как статья «По поводу толков о конституции» [40]. Взгляды Самарина во многом повторяют более ранние политические воззрения славянофилов. Он отвергает теорию божественного права, подчеркивает «народный» характер русского самодержавия: «У нас есть одна сила историческая, положительная, — это народ, и другая сила — самодержавный царь. Последний есть также сила положительная, историческая, но только вследствие того, что ее выдвинула из себя народная сила и что эта последняя сила признает в царе свое олицетворение, свой внешний образ».

Против конституции Самарин выдвигает два довода: во-первых, народ «верит добрым намерениям самодержавного царя и не верит решительно никому из тех сословий и кружков, в пользу которых могла бы быть ограничена самодержавная власть», во-вторых, безграмотный народ не способен «принять участие в движении государственных учреждений». Нелестно, но верно оценивая характер оппозиционности либералов («Все современные толки о перемене формы правления не что иное, как пустая болтовня»), Самарин заявляет: «Народной конституции у нас пока еще быть не может, а конституция не народная, то есть господство меньшинства, действующего без доверенности от имени большинства, есть ложь и обман». К сожалению, можно только гадать, что понимал Самарин под «народной конституцией», но очевидно, что его никак нельзя считать «рьяным поборником самодержавной власти и противником конституционного устройства» (Н. Г. Сладкевич). Всегда подчеркивавший историческую неизбежность смены форм государственного устройства, Самарин не считал самодержавную власть вечной. Оставляя в стороне многочисленные косвенные доказательства, приведем слова самого Самарина из его работы 1867 г.: «Политические формы изменяются и должны изменяться ... в жизни каждого народа наступает пора, когда участие его в собственной политической судьбе (всегда предполагаемое или подразумеваемое) делается явным и гласным, облекается в определенную форму, требует себе признания как права... дальнейший ход развития ведет к постоянному расширению этого участия... Безрассудно было бы это отрицать и одинаково безрассудно было бы, забегая вперед, требовать немедленного осуществления на практике необходимого в будущем и очевидно невозможного в настоящем» (VI, 556—557) [41].

Осторожным либералом предстает перед нами Ю. Самарин, а его высказывания служат великолепной иллюстрацией к ироничным словам А. С. Пушкина: «Что нужно Лондону, то рано для Москвы».

Обосновывая невозможность «ненародной» конституции в Рос-

сии, Самарин предлагал самодержавию провести дальнейшие реформы, чтобы превратить страну в ту идеальную «народную» монархию, о которой мечтали славянофилы. Он перечислял необходимые для России преобразования: прекращение полицейского гонения раскольников, веротерпимость, гласность и независимость суда, свобода книгопечатания, упрощение местной администрации, преобразование налоговой системы, свободный доступ к просвещению, сокращение придворных штатов и т. п. «И все это, — утверждал он, — не только возможно без ограничения самодержавия, но скорее и легче совершится при самодержавной воле».

В сущности, Самарин отстаивал либеральную точку зрения: его идеал — реформы, проведенные сверху и без участия народа. В самодержавной власти он ценил прежде всего ее способность, доказанную Петром I, действовать быстро. Самодержавие должно было максимально ускорить проведение предложенных Самариным либеральных преобразований.

В отличие от Самарина Аксаков в этот период не верил в созидательные возможности самодержавия. В борьбе с дворянским конституционализмом он сосредоточил усилия на обличении сословных преимуществ. С первых номеров «Дня» Аксаков настойчиво проводил мысль о том, что с отменой крепостного права дворянство лишилось своей «главнейшей и существеннейшей привилегии». Он призвал российское дворянство: «Во 1-х, вникнуть в исторический ход дворянского учреждения и проникнуться сознанием, что *дальнейшее существование дворянского сословия как сословия*, на прежних основаниях, после великого дела 19 февраля 1861 г., *невозможно*; во 2-х, отрешиться от прежних воспоминаний, бесплодных сожалений и от всякого духа сословной гордости и исключительности; в 3-х, устранить все перегородки, которые отделяют его от народа, как в политическом, так и в нравственном смысле; в 4-х, определить свои отношения к прочим сословиям». Аксаков считал, что дворянство должно «обратиться домой, в земство, внести в него новые элементы». В земстве, по его мнению, произойдет искреннее сближение крестьян-общинников и личных землевладельцев-дворян. Их «взаимный союз» он считал залогом «богатого будущего развития»[42]. Аксаков не желал видеть глубочайшего антагонизма интересов дворянства и крестьянства, по-маниловски мечтал о внеклассовой идиллии, не имевшей никаких оснований в русской действительности.

В этом вопросе Аксаков был не одинок. Вера в будущее сближение дворянства и крестьянства была присуща почти всем славянофилам. Ю. Самарин, дальновидный защитник своего класса, остро чувствовавший накал классовой борьбы в русской деревне, считал эту борьбу «процессом всенародного воспитания». Он писал Аксакову: «Вся надежда на подъем народного духа, на развитие в нем общественного навыка и гражданского смысла, наконец, на сближение сословий, то есть народа с грамотным людом, основана на предстоящей, теперь уже открывшейся борьбе между интересами крестьян, владельцев земли, и помещиков, собственников

земли... эта тяжба между двумя сословиями одна только и может сблизить их, научить их понимать друг друга». Эти слова нельзя счесть наивным самообманом, истоки столь глубокого политического просчета находились в самой основе славянофильской доктрины, отрицавшей возможность классовой борьбы в России и утверждавшей некий незыблемый стереотип русского крестьянина, якобы неспособного к самостоятельным политическим выступлениям.

Аксаков разделял это убеждение, он полагал, что именно дворянство, утратив значение привилегированного государственного сословия, внесет в земство «новый элемент просвещения, сознания и личности». В крестьянской реформе он, подобно Ю. Самарину, видел начало пробуждения народа, которое давно предсказывали и ждали славянофилы. Он шел дальше Самарина, утверждая, что славянофилы должны возглавить народное движение, помочь сближению народа с другими сословиями: «Мы переживаем теперь громаднейшую социальную революцию. Крестьянское дело — это такая реформа, которая по важности своей равняется только петровскому перевороту... Земская жизнь пробудилась, в этом нет сомнения. Народ тронулся, как вешний лед. Навстречу этому движению можем идти только мы (славянофилы. — *Н. Ц.*)... Все прочие, как бы они ни либеральничали, все наши столичные либералы и демократы, все остальные органы не могут сочувствовать пробуждающейся народной жизни»[43].

В пробуждении народа, в возрождении народной, «земской» жизни славянофилы видели залог возвращения к историческим началам допетровской Руси, залог осуществления своих заветнейших идеалов. Крестьянскую реформу они рассматривали как этап в сближении сословий в «земстве», отношение которого к «государству» будет повторять идеальные отношения допетровской Руси. Призывая дворянство вернуться в «земство», Аксаков рассчитывал, что именно таким путем установятся гармоничные отношения между всеми слоями русского общества. «Земство», просвещенное дворянством, должно было приступить к исполнению функций, которые оно, по учению славянофилов, осуществляло до петровских реформ.

Нежелание большинства дворян расстаться со своими привилегиями нарушало выработанную славянофилами схему сближения сословий. В конце 1861 г. в связи с приближающимися губернскими дворянскими съездами в среде дворянства усиленно обсуждались вопросы о необходимости «ограничения произвола бюрократии» и созыва общероссийского собрания «народных представителей» из дворянской среды. К январю 1862 г. Кошелев, единственный славянофил, сочувственно относившийся к олигархическим притязаниям дворянства, приурочил выход своей брошюры «Какой исход для России из нынешнего ее положения?», где в традициях раннего славянофильства обрушивался на бюрократию, которая «заключает в себе источник происшедших, настоящих и еще (надеемся, недолго) будущих бедствий для России», и требовал со-

зыва Земской думы «в Москве — в сердце России, поодаль от бюрократического центра». Спустя полгода, в новой брошюре «Конституция, самодержавие и Земская дума» Кошелев разъяснил, что в основе его нападок на бюрократию лежит убеждение в ее неспособности справиться с революционным движением. Настоящее страшило его: «Разве мы не на всех парусах уже идем по морю революции!» Он опасался, что в стране возникнет, «незаметно для земской, городской и тайной полиции, под влиянием раскола согласие между крестьянами и мещанами, к которым присоединятся молодые и немолодые люди, сочинители и приверженцы «Великорусса», «Молодой России» и пр.» [44]

В. И. Ленин следующим образом характеризовал тактику Кошелева: «...истребить «отчаянные головы» и приверженцев «согласия между крестьянами и мещанами», а «благомыслящую умеренную оппозицию» удовлетворить и разъединить уступками? Только правительство оказалось умнее и ловчее, чем воображали гг. Кошелевы, и отделалось меньшими уступками, чем «совещательная» Земская дума» [45].

Кошелев был убежден, что его взгляды далеки от требований конституции, но объективно его политические идеалы были наиболее удобной формой реализации планов олигархического дворянства. В своих выступлениях на столичных дворянских съездах вожди дворянской фронды Н. А. Безобразов и А. П. Платонов с успехом использовали идеи Кошелева, их фразеология напоминала славянофильскую.

Славянофилы отвергли кошелевскую идею созыва Земской думы. Черкасский писал Кошелеву в феврале 1862 г.: «Я не верю в пользу собирания в теперешнее время земских дум». Земская дума несвоевременна — эта мысль повторяла вывод К. Аксакова, сделанный в 1855 г. [46]

И. Аксакову была близка славянофильская доктрина, легшая в основу брошюры Кошелева, многое в ней отвечало заветным идеалам К. С. Аксакова. Но именно в январе 1862 г., во время московских дворянских выборов, И. Аксаков продолжил развитие мысли о потере дворянством старого сословного значения и выдвинул проект самоупразднения дворянства как сословия. Его высказывания в пользу бессословного общества объективно были направлены против конституционных притязаний дворянства и, в частности, против сословной Земской думы Кошелева.

В форме проекта обращения дворянства к правительству Аксаков писал: «Дворянство, убеждаясь, что отмена крепостного права непреложно-логически приводит к отмене всех искусственных разделений сословий, что распространение дворянских остающихся привилегий на прочие сословия вполне необходимо, считает долгом выразить правительству ... единодушное и решительное желание:

Чтобы дворянству было позволено: торжественно, пред лицом всей России, совершить великий акт уничтожения себя *как сословия*. Чтобы дворянские привилегии были видоизменены и распространены на все сословия в России».

Место дворян в обществе должно определяться по роду их теперешних занятий.

Выступление Аксакова за ликвидацию дворянства как привилегированного сословия, при всей туманности его формулировок, имело прогрессивный характер. Требование упразднения сословных различий по своему объективному значению было требованием последовательного буржуазного либерализма.

Против идей Аксакова выступали влиятельнейшие публицисты — Б. Н. Чичерин, В. П. Орлов-Давыдов, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, с разных точек зрения, но одинаково настойчиво отвергавшие возможность упразднения сословных перегородок. Царское правительство сочло необходимым официально отвергнуть предложение Аксакова.

В истории русского либерализма выступление Аксакова не прошло бесследно. Н. Г. Сладкевич справедливо отметил, что известное решение об отказе от сословных привилегий, принятое либеральным тверским дворянством в феврале 1862 г., последовало «не без влияния аксаковского «Дня». Было бы, однако, неправильно думать, как это делал Б. Нольде, что 6 января, день опубликования статьи Аксакова, является датой, которая «должна быть отмечена, ибо она есть исходный пункт возобновившегося конституционного движения». И дворянский конституционализм, и конституционное либеральное движение возникли до появления статьи Аксакова, которая являлась только откликом на дворянские толки о конституции. Вместе с тем Нольде верно отметил, что Аксаков по существу предлагал русскому дворянству повторить знаменитую «ночь французской конституанты», когда в августе 1789 г. депутаты Учредительного собрания провозгласили отмену наиболее одиозных дворянских привилегий [47].

В 1861 — первой половине 1862 г. И. С. Аксаков выдвинулся в среде русских общественных деятелей как один из самых последовательных сторонников социально-политических преобразований. Причиной, побудившей Аксакова к активной деятельности, была его вера в то, что в обстановке распада старых общественных отношений, становление которых славянофилы связывали с реформами Петра I, стало возможным возвращение на путь идеального развития допетровской Руси. Известная неопределенность социальной структуры общества в первые пореформенные годы, когда процесс превращения старых феодальных сословий в классы буржуазного общества не получил своего завершения, подкрепляла надежды славянофилов. Их выступления за утверждение новых общественных отношений носили прогрессивный характер.

Аксаков скоро понял, что после крестьянской реформы 1861 г. развитие России пошло по пути, не предусмотренному схемами дореформенного славянофильства. В связи с этим для него потерял остроту вопрос о самоупразднении дворянства. Осенью 1862 г. он уверял Ю. Самарина: «Дворянство в своем сословном значении уничтожается так быстро, как снег на солнце, и теперь было

бы просто бессовестно на него нападать. Не с кем и бороться. В прошлом году я мог поставить вопрос о самоуничтожении дворянства, в нынешнем году и поставить этого вопроса нельзя!»[48]

Разумеется, суть дела не в мнимом «уничтожении» сословного значения дворянства, не в отсутствии противников (расцвет дворянского конституционализма приходится на 1863—1865 гг.), а в том, что в конце 1862 г. Аксаков уже не верил в возможность через «самоупразднение» дворянства прийти к желанной для него общественной идиллии.

Более полно отношение к конституционным требованиям дворянства И. Аксаков раскрыл в статье, написанной в феврале 1862 г. для № 17 «Дня», но не пропущенной цензурой. Старые славянофильские представления («наша единственная конституция: свобода слова и мысли, и в печати и гласно, без нее невозможно самодержавие») сочетались в статье с признанием того, что власть, изменившая «живому союзу с народом», должна подвергнуться «внешнему» ограничению («неизбежна конституция, хотя и не дай бог»). И. Аксаков считал, что требуемая дворянством конституция чужда народному духу, народ ее не примет; конституция будет означать окончательный разрыв народа с царем: «Вряд ли народ теперь и временно подчинится порядку, столько противному его духу... Народ до сих пор находился в заблуждении, в той уверенности, что отношения царя к народу не изменились, как не изменились отношения народа, земли, к царю. Но когда раз увидит, едва ли захочет потерпеть это изменение долго; народ скажет: царь не мой»[49].

У идеологов дворянского конституционализма (В. П. Орлов-Давыдов, А. П. Платонов, Н. А. Безобразов, Г. П. Бланк и др.) требования конституционного ограничения самодержавия были неразрывно связаны с критикой крестьянской реформы и других преобразований 1860-х годов (судебная, земская, финансовые реформы, новые законы о печати и т. п.), носивших буржуазный характер. Поэтому антиконституционные выступления славянофилов неизбежно сочетались с защитой новых, буржуазных по сути, форм социального устройства общества, и свидетельствовали об их политической дальновидности, более широком понимании интересов господствующих классов. Отрицательное отношение к дворянскому конституционализму славянофилы сохранили и в дальнейшем.

В январе 1865 г. московское губернское собрание приняло адрес, где выражалось пожелание довершить «государственное здание созванием общего собрания выборных людей от земли», из «лучших людей» столбового дворянства. Январский адрес был высшей точкой дворянского конституционализма 1860-х годов.

Славянофилы с поразительным единодушием осудили действия московского дворянства. В самом дворянском собрании против дарования конституционных привилегий дворянству выступил Д. Ф. Самарин: «Всякая привилегия, всякое исключительное право порождает раздражение и мешает единению. Избирая этот

путь, чтобы соединиться между собою, вы еще более отдаляете себя от народа». Совершенно в духе старого славянофильства он предлагал московскому дворянству: «Будем же просить о том, чтобы удовлетворили потребности нашей высказать правду, будем просить о том, чтобы расширена была свобода печатного слова... Постараемся же скрепить заветную связь нашу с царем, но будем стараться и о том, чтобы восстановить нарушенную связь нашу с народом; единство с царем и народом — вот то знамя, которое должно поднять дворянство».

Московское дворянство не поддержало Д. Самарина, но славянофилы одобрили его поведение. Аксаков с сочувствием отозвался о его действиях. Ю. Самарин негодовал, что «в целом собрании только два человека решились, и то довольно робко, подать голос против дури, напущенной Орловым-Давыдовым и Безобразовым». Сходные мнения высказывали В. Елагин, Черкасский и даже Кошелев [50].

Высказываясь против дворянских проектов ограничения самодержавия, славянофилы вместе с тем сознавали, что новые общественные отношения требуют от самодержавной власти большей гибкости, способности лавировать между интересами различных классов и социальных групп, отказа от опоры исключительно или преимущественно на дворянство.

Старая мысль славянофилов о том, что самодержавие должно быть «народным» или вовсе не быть, особенно отчетливо звучит в их политической публицистике 1860-х годов. В январе 1862 г., во время своих активных выступлений против сословных привилегий дворянства, Аксаков убежденно писал своему брату Григорию: «Наш добрый государь... есть наш царь — представитель народа, носитель исторической народной идеи. Таким явился он в крестьянском вопросе. Так — везде, во всем действует он к благосостоянию крестьян, снимая с них тяготы рекрутства и проч. и проч. Он и не думает этого, быть может, а он выходит, самый демократический царь» [51]. Суть вопроса заключалась в том, что временами славянофилы считали действия «демократического царя» вредными для России, ибо, во-первых, этот царь не знает интересов русского народа («немецкое самодержавие»), во-вторых, и это главное, самодержавие «сковывает прогрессивную роль общества».

В начале 1860-х годов славянофилы все яснее сознавали несбыточность надежд на то, что самодержавие может идти во главе прогрессивных сил страны. В их глазах самодержавная власть оказывалась неспособной исполнить свое историческое назначение. Отсюда для славянофилов вытекала необходимость поисков какой-либо силы, способной возглавить общественное движение.

6

После крестьянской реформы возникла объективная потребность привести славянофильское учение в соответствие с новыми

историческими условиями, дополнить его, сделать более убедительным и приемлемым для новых социальных сил. В 1860-е годы, в период своего заката, славянофильство, живое, действенное общественное течение, сумело создать социологическую теорию, удачно сочетавшую убеждения старших славянофилов с изменениями, происходившими в политической и общественной жизни России.

Историко-социологическая сторона славянофильства была подробно развита в работах К. С. Аксакова, написанных после 1848 г. В набросках «Об основных началах русской истории», «О том же», «О русской истории», в разборах исторических сочинений С. М. Соловьева К. С. Аксаков обосновал свое понимание процесса русского исторического развития: «Две силы в ее основании, два двигателя и условия во всей русской истории: земля и государство». Взаимоотношения «земли» и «государства» Аксаков отчетливо сформулировал в статье «О земских соборах», написанной в начале 1850-х годов: «Первый царь созывает Земский собор... Земля получила вполне подобающий ей смысл совета, мнения, мысли и слова, смысл, изъятый от всякой государственной примеси, не имеющий ни тени принудительной силы, но силу убеждения, духовную, свободную».

В 1850-е годы теория К. Аксакова была широко известна; славянофилы не принимали его тезиса о «негосударственности» интересов русского народа, но почти все они были согласны с принципиальным противопоставлением «земли» и «государства».

В условиях пореформенной России, когда происходило утверждение буржуазных отношений, историко-социологическая схема К. Аксакова быстро и безнадежно устарела. Механизм отношений «земли» и «государства» оказался не столь простым, как ему рисовалось. Понимали это и славянофилы. Если раньше они мечтали о совместной «дружной» работе «земли» и «государства», народа и правительства, то в начале 1860-х годов многие из них стали склоняться к мысли, что предоставление государству «неограниченного права действия» может оказаться губительным.

Когда в 1862 г. Кошелев выпустил свои брошюры, в которых доказывал в полном согласии с учением К. Аксакова (Б. Нольде верно отметил, что идеи Кошелева основывались на «классической доктрине К. Аксакова») необходимость созыва Земской думы для совещания правительства и народа («земли» и «государства»), Самарин указал на опасность предлагавшегося сближения этих двух сил: «При настоящих обстоятельствах Земская дума поставила бы весь тот кружок, в котором сосредоточено русское просвещение, всю грамотную Русь между двух огней; ее бессилие и изолированность высказались бы самым очевидным образом, и, благодаря ее глупым замашкам, последовало бы неудержимое сближение между властью и массами — сближение на счет серединной России, во имя произвола и невежества».

Представление о «грамотной Руси», «образованном сословии» или об «обществе» как ведущей силе общественного развития России стало отличительной чертой политической теории славяно-

фильства в первые пореформенные годы. Не самодержавная власть, не верящие в нее крестьянские массы, а русская интеллигенция, вернее, те круги ее, которые могли определяться понятием «общества», стали для большинства славянофилов двигателем прогресса и просвещения. Ведущая роль в этой трансформации славянофильской идеологии принадлежала И. Аксакову.

Оппозиция «немецкому» самодержавию, убежденность в его враждебности русскому народу, неверие в его творческие способности стали побудительными причинами создания теории «общества»; однако новая социологическая схема И. Аксакова призвана была отразить в первую очередь изменения, происшедшие в социальной структуре русского общества в пореформенный период.

И. Аксаков неоднократно подчеркивал, что исходным пунктом его теории было учение К. Аксакова о «земле» и «государстве». Ю. Самарин, указывая на оригинальность построений И. Аксакова, вместе с тем авторитетно утверждал, что к ним нельзя было прийти, «не имея понятия о земле»[52].

Теория «общества» удачно дополняла историко-социологическую схему К. Аксакова, позволяя с позиций славянофильства теоретически объяснить новые общественные отношения. Именно внешняя близость двух учений позволяет выявить глубокие изменения, происшедшие в славянофильстве в пореформенный период.

Теорию «общества» Аксаков изложил в серии передовых статей, опубликованных в марте — апреле 1862 г. в «Дне». Он придавал огромное значение своей работе: настойчиво боролся за статьи в цензуре, используя свои обширные связи, не колебался печатать статьи из номера в номер, хотя ясно понимал, что читателям газеты подобные теоретические изложения скучны. В славянофильской среде теория «общества» сразу получила полное признание, статьями Аксакова были довольны Ю. Самарин, Гиляров-Платонов, В. Елагин, крупнейшие знатоки славянофильской теории. Так, Ю. Самарин писал Аксакову о его статьях: «Они превосходны, и я должен тебе сказать, что, читая их, я удивился тому, как никто из нас до сих пор не догадался осветить эту сторону вопроса. Именно потому, что она оставалась до сих пор в тени, к коренному разномыслию между нашими и не нашими примешивались недоразумения, которые теперь отпадают».

Значение теории «общества» в идеологии славянофильства обстоятельно раскрыл сам Аксаков: «Эти статьи восполняют некоторый пробел в славянофильском учении Константина о государстве и земле. Там не было места обществу, литературе, работе самосознания. Непосредственность народного бытия и деятельность сознания, безличность единиц, народ составляющих, и личная деятельность их в обществе — все это не было высказано, а потому сбивало с толку публику и читателей; потому что понятия эти и представления, как не разграниченные, постоянно смешивались. В представлении нашем о допетровской Руси нет и места обществу, да и вообще нет места всем этим вопросам»[53].

И. Аксаков, в полном согласии с учением К. Аксакова, указывал на ограниченный характер государственной власти: «Государство, какое бы оно ни было, самодержавное, конституционное или республиканское, не может, по самому существу своему, действовать и совершать свои отправления иначе, как посредством разных бюрократических форм и порядков, захватывая область *внешней* правды, *внешнего* действования и *внешних* отношений». В своих действиях государство неизбежно опирается на силу и принуждение, отчего все его предприятия обречены на «производительность чисто внешнюю». Только в «обществе» заключается сила, «ведущая народы к совершению предназначенного им подвига в истории человечества».

«Общество» Аксаков определял как «народ самосознающий», как ту среду, в которой «совершается сознательная, умственная деятельность известного народа». «Общество» возникает из народа, оно есть «не что иное, как *сам народ,* в его поступательном движении». «Общество» находится между «народом в его непосредственном бытии» и государством — «внешним определением народа».

Аксаков считал, что «общество» не имеет какой-либо политической организации, оно бессословно и образуется «из людей всех сословий и состояний, соединенных известным общим уровнем образования; чем выше умственный и нравственный уровень, тем сильнее общество». Орудием деятельности «общества» является слово, «по преимуществу печатное и, разумеется, *свободное*». Свободу слова И. Аксаков, в полном согласии с учением К. Аксакова, провозглашал свободой не политической, а нравственной. Печать стоит выше представительных народных учреждений. Аксаков заключал: «Стеснение печатного слова, когда явилась в нем потребность, когда, стало быть, в народе возникло общество... *опасно* для самого государства, допускающего такое стеснение... Никакие в мире либеральные учреждения не заменят *свободы* общественного слова, никакие консервативные охраны не заменят охранительной силы свободного слова».

«Общество» по существу своему всегда имеет прогрессивный характер, отсутствие общественной жизни обрекает народ на беззащитность ... государство на несостоятельность; «истинное обеспечение силы и свободы лежит в существовании общества... вне свободы нравственной, неполитической, вне свободы духовной общественной жизни — нет истинной свободы, ничтожна всякая политическая свобода». «Общество» едино, в нем нет места политическим партиям. В России, по мнению Аксакова, понятия «охранительные начала, консерватизм, прогресс» лишены смысла: «Вопрос не в том, что принадлежит к ведомству охранительному, что — к прогрессивному, а в том, что народно и что не народно». В русском обществе могут существовать только «направления, школы, учения, но никак не партии»[54].

По мнению Аксакова, отсутствие «общества» в допетровской Руси, слабость и неустроенность «земли» диктовали необходи-

мость крепкой государственной власти. «Земля» не только облекла «царя всею своею собственною властью и возложила на него весь труд своего устроения — она предоставила царю больше чем власть, *инициативу,* начальное передовое движение во всяком общем деле внутренней жизни».

Проблема «самодержавной инициативы» и возможность ее ограничения должны были стать стержнем теории «общества».

В русской истории «самодержавная инициатива» первоначально играла, по мнению Аксакова, положительную роль. Неустроенная земля требовала «могучей самодержавной власти». «Народ, однажды сознав ее необходимость, решился на всякие жертвы и испытания, способные упрочить силу строительного снаряда. Народ не обманывал себя никакими призрачными обольщениями, и с самого же начала мог предвидеть, какой тяжкий предстоит ему подвиг. Постановив самодержавие, он узнал его, на первых же порах изведал его в лице мучителя Иоанна и не поколебался... потому что тиран и деспот был в то же время мудрым строителем». Здесь И. Аксаков почти повторяет суждения К. Аксакова, который считал, что самодержавие возглавило устроение Русского государства. Однако характер этого устроения рисовался И. Аксакову не таким, как его брату: «Самодержавная инициатива, крепкая доверием народным, встретила полный простор для своего разгула и скоро, смешав все области государственной, частной, земской и общественной деятельности, достигла своей апогеи в лице Петра, пред которым бледнеет деспотизм и тиранство царя Ивана, достигла апогеи, а вместе с тем вызвала реакцию народного духа, пробудив деятельность самосознания».

Присущее всем славянофилам требование избавиться от подражания Западной Европе, начавшегося со времен Петра I, и вернуться на путь развития допетровской Руси всегда означало косвенную критику современного им самодержавия. У Аксакова эта тенденция проступает особенно отчетливо. По его мнению, с Петра I самодержавие стало враждебным народу: «Связанная в начале единством нравственным и духовным с русским народом, власть уважала землю и действовала не противно духу русской народности, но с ослаблением связи явилась враждебность народным началам; такое ее непомерное и уродливое развитие подействовало, наконец, спасительно на почву народного духа, вызвав его к отпору в области самосознания»[55].

Аксаков думал продолжать развитие теории «общества», подробно обосновать, как со времен Петра I, когда возникло «общество», оно начинает играть сдерживающую «самодержавную инициативу» роль. Однако в архивах семьи Аксаковых не удалось обнаружить окончание трактата об «обществе». Оставшись незавершенной, теория «общества» тем не менее явилась новой ступенью развития славянофильской политической мысли. Объективно утверждение ведущей роли в развитии страны бессословного, доступного выходцам из всех слоев, высокообразованного «общества» означало идейное обоснование первенства в обще-

ственно-политической жизни страны интеллигенции, свободной от воздействия бюрократического государственного аппарата. Теория «общества» была одним из наиболее цельных социологических учений, созданных русской интеллигенцией в первое пореформенное десятилетие.

Сопоставление теоретических изысканий Аксакова с его конкретными общественно-политическими требованиями приводит к выводу о внутреннем единстве его политической программы. Теория «общества» стала идейной основой выступлений Аксакова за самоупразднение дворянства как сословия, за бессословное земство, за свободу совести, слова, печати и общественного мнения, против вмешательства государства в земские и церковные дела. Высказываясь за нравственное ограничение «самодержавной инициативы», Аксаков последовательно развивал мысль, свойственную русским либералам всех времен, о необходимости для самодержавия поступиться частью своих прав, своей власти в пользу либерального «общества» с тем, чтобы консолидировать все силы правящих классов в борьбе с революционным движением. Туманная славянофильская терминология Аксакова, недосказанность его теории не должны мешать пониманию того, что по своему объективному значению теория «общества» призвана была ограничить не только «самодержавную инициативу», но и самодержавную власть.

Однако представляется неточным вывод Н. Г. Сладкевича, что в построениях И. Аксакова «...просвечивается мысль об «обществе», как о некоем подобии представительных учреждений, видна тенденция, расходившаяся с принципами ортодоксального славянофильства»[56]. Теория «общества» была связана прочными нитями с политическими воззрениями дореформенного славянофильства, а И. Аксаков в 1862 г. был слишком правоверным славянофилом, чтобы думать о формальном ограничении самодержавия в духе западноевропейского парламентаризма. Его «общество» было не «подобием представительного учреждения», а широким слоем интеллигенции, который воздействовал на самодержавие непосредственно, с помощью печати и общественного мнения. Теория И. Аксакова именно потому стала явлением славянофильской политической мысли, что умело приспосабливала традиционные славянофильские представления к новым историческим условиям. Связь теории «общества» с политическим учением раннего славянофильства несомненна. В славянофильстве как системе логических построений Аксаков произвел немного изменений, но славянофильство как исторически обусловленная классовая идеология было подвергнуто им существенной переориентации. Если дореформенное славянофильство в конечном счете было идеологией либерально-помещичьей, если политическое учение К. Аксакова, по нашему мнению, испытало на себе воздействие общественно-политических идеалов патриархального крестьянства и было связано с уходившим в прошлое патриархальным укладом русской жизни, то И. Аксаков, формулируя свою теорию, учиты-

вал новое соотношение классовых сил в условиях перестройки всей социальной структуры в стране.

Разумеется, субъективно Аксаков не стремился к созданию теории, выражающей интересы какого бы то ни было класса или сословия, он искренне считал себя выразителем настроений всего русского народа, но в действительности в его интерпретации пореформенное славянофильство становится разновидностью идеологии господствующих классов, какими они начинали складываться в 1860-е годы. В известном смысле оно было разновидностью буржуазного либерализма со своеобразными и специфическими чертами, характерными для того этапа исторического развития, когда тенденции буржуазного развития проявились еще недостаточно, не осознавались современниками, а превращение дворянства в класс буржуазного общества еще только начиналось. Именно в этих условиях и складывалась концепция И. Аксакова, которая, по его мнению, указывала России путь прогрессивного развития и одновременно давала возможность избежать «гибельного» пути Запада с его революционными потрясениями. Теория «общества» стала идейной основой сближения Аксакова с представителями московских капиталистов. Косное в быту, робкое в политике московское купечество как нельзя лучше устраивала общественно-политическая доктрина, в которой обосновывалась неизбежность роста влияния «общества», т. е. в конечном счете в перспективе — буржуазии и буржуазной интеллигенции, в жизни страны и одновременно сохранялось благоговейное отношение к привычным формам государственного устройства, патриархальному быту русской старины.

Подчеркнутая аполитичность теории Аксакова, чисто нравственная роль «общества» казались представителям некоторых кругов купечества и дворянства особенно привлекательными, ибо аморфность, неопределенность, своеобразная внеклассовость «общества» в известной степени соответствовали положению этих слоев на крутом переломе общественного развития.

Теория «общества» ни в коей мере не носила антидворянский характер. Дворянство в понимании Аксакова становилось главной интеллектуальной силой «общества», навыки общественной деятельности и высокий уровень образования обеспечивали дворянству определенные преимущества перед другими сословиями. Объективно Аксаков выступал за скорейшее превращение дворянства из класса феодального общества в слой общества буржуазного. Теория «общества» как бы была призвана ускорить процесс приспособления дворянства к новым историческим условиям. Она была не менее идеалистична и произвольна, чем предыдущие социологические схемы славянофилов, но при ее создании Аксаков учитывал изменения, происходившие в жизни пореформенной России. Носителем идеи прогресса, источником самобытного развития России Аксаков провозглашал не народ, «землю», не самодержавную власть, «государство», к «самодержавной инициативе» которой он относился резко критически, а «обще-

ство», под которым понимал определенные, верные «народным» началам круги русской интеллигенции.

Теория «общества» имела буржуазную окраску, была разновидностью российского либерализма того переходного времени, когда современники отмены крепостного права не склонны были связывать это событие с утверждением буржуазных отношений. Эта теория позволяла Аксакову выделить в изменившейся социальной структуре силы, которые, по его убеждению, были способны направить развитие России по желанному для славянофилов пути.

В условиях пореформенной России Аксаков и его единомышленники, в первую очередь Чижов, предприняли попытку расширить социальную опору славянофильства. Славянофильство в интерпретации Аксакова приобретает черты буржуазного учения, приспособленного к нуждам богатого московского купечества.

7

Распад старой социальной структуры, сдвиги в процессе общественной борьбы и особенно рост революционного движения, откровенная слабость русского либерализма вынуждали Аксакова постоянно вносить изменения в теорию «общества». В статьях 1863—1865 гг. он часто развивал мысли о «бессилии общества».

В передовой статье первого номера «Дня» за 1863 г. он упоминал об «общественном бессилии, нравственном и материальном», и признавал, что русское общество не имеет того значения, которое он отводил ему в своей социологической схеме. В России общество бессильно, ибо оно не народно и имеет характер полугосударственный.

«Общество» не стало действительно *«народною* интеллигенцией в высшем значении этого слова... *не-народность* есть уже первое, и, конечно, главное условие нашего общественного нравственного бессилия». Отсюда Аксаков делал вывод: «Мы должны признаться, что факторами или действующими силами в нашем общенародном организме являются покуда только простой народ и государство. Наше так называемое «общество» не есть еще сила и принадлежит скорее к стороне правительственной, даже составляет его часть в лице служилого дворянского сословия». Аксаков полагал, что «необходимо *перевоспитание* нашего общества в духе русской народности, который в то же время есть дух высшей истины и свободы».

Но если в целом «общество» безнародно и бессильно, то незначительная его часть, верная народным началам, является истинным выразителем народных стремлений. Эта часть — деятели славянофильского направления. Для большинства членов «общества» стало привычным сохранившееся со времен Николая I «отрицательное отношение к жизни», они неспособны к практической деятельности. Лишь славянофилы верно поняли, что «время досужей отвлеченности миновало», и оказались на уровне современных тре-

бований. «Люди, разрабатывавшие путем науки и умозрения наше народное самосознание, явились свершителями величайшего народного дела, освобождения крестьян, соразмеряя сознательно и добровольно, хотя и не без боли, требования возвышенных, выработанных ими принципов, с практической возможностью. Место философских трактатов заняли проекты об улучшении народного быта; благородные идеологи поступили в мировые посредники. Но, повторяем, таких было немного. Большинство нашего общества очутилось *за штатом,* сбилось со старой позиции и еще не нашло себе никакой новой и твердой, да, вероятно, и не найдет». Дворянское оскудение, неспособность дворянства стать главной интеллектуальной силой «общества», отсутствие общественной активности в среде «народа» (купечества в первую очередь) приводили Аксакова к выводу: «Старое общество отстранилось, нового общества еще нет, надо ждать, пока оно народится, и народится оно без сомнения, но когда и из каких элементов? Не пришло еще время народиться ему из элементов народных, а те элементы, какие у нас имеются в виду, могут ли они дать здоровое общество? Наша молодежь, воспитывающаяся с детских лет за границей, наши легкомысленные отрицатели (нигилисты) — вот покуда залоги близкого будущего»[57].

Теория «общества» быстро потеряла свой первоначально целостный, оптимистический характер. Место «общества» в социологической схеме Аксакова оказалось пустым. Он пытался подменить «общество» славянофильским кружком, что фактически означало отказ от принципиальных положений теории, ее превращение в произвольную концепцию о необходимости призвания славянофилов к управлению государством. Только славянофилы становились представителями интересов народа перед правительством.

Некоторое время Аксаков мечтал даже о таком правительстве, куда вошли бы Н. Милютин, Ю. Самарин, В. Черкасский, А. Кошелев и другие деятели, близкие славянофилам.

Надеждам Аксакова не суждено было сбыться. Царское правительство обошлось без привлечения славянофилов (иными словами, либеральной общественности) к министерским постам, а разногласия по польскому вопросу привели к распаду славянофильского кружка.

В 1865 г. Аксаков отказывается от надежд на «общество». Народ вновь, как в теории раннего славянофильства, оказывается для него носителем благодетельной консервативной силы: «Что было бы с Россией, если б у нее не было устоя в русском народе!.. Вспомним все фазисы, через которые прошло развитие нашей общественной мысли, и поблагодарим бога, что у нас есть простой народ, есть такое зерно, которого не удалось нам раздробить молотом дворянской заемной цивилизации»[58].

Разочарование в «обществе» и превознесение охранительной силы народа означали отказ от теории, сформулированной в 1862 г. Распад славянофильского кружка неизбежно привел к

краху политических идеалов славянофильства. Раньше Аксакова это понял Ю. Самарин, который писал: «Тому назад лет 10 или 15 как все казалось просто и легко: переехать из Петербурга в Москву, ослабить туго натянутые поводья, дать простор местной жизни, умственной и промышленной — и мы думали, что жизнь заиграет сама собою. Теперь странно и вспоминать об этих увлечениях нашей молодости. Опыт доказал несостоятельность разрешений, которыми мы так долго довольствовались». Он же доказывал, что славянофильство еще не выработало «идеалов государственного строя, представительства» («Ответы наши не готовы, кроме неопределенных и идеальных воззрений»)[59]. Самарин думал о разработке конкретных практических рекомендаций, в которых содержалось бы изложение славянофильской политической доктрины.

В передовой статье последнего номера «Дня» Аксаков также вынужден был признать недостаточность славянофильских идеалов. Сделал он это с присущим ему своеобразием. Если раньше он всегда твердо знал, что нужно для России, то теперь спрашивал: «Куда идти, к чему идти, какая ее задача — вот над чем приходится задумываться России». В статье, представляющей как бы свод его теоретических выводов и практических наблюдений, Аксаков закрепил свой вывод об отсутствии подлинного «общества»: «И где общество? И какие у общества православной России церковные, политические, социальные — русские идеалы? Наше старое общество разлагается, а нового мы еще не видим. Потому что к старому обществу должны мы отнести и все наше молодое поколение, в котором нет ничего, кроме более искренней и энергичной силы отрицания»[60].

В годы правительственной реакции последние из видных славянофилов, Ю. Самарин и И. Аксаков, попытались уточнить свои политические идеалы, яснее определить отношение к самодержавию, ибо именно здесь было наибольшее отличие славянофильских воззрений от традиционно либеральных. Их попытки наглядно свидетельствуют о необратимых изменениях, происшедших в пореформенном славянофильстве.

Ю. Самарин в середине 1860-х годов работал над серией статей, которые он объединил в книге «Окраины России». В обращении «К читателю», написанном в 1867 г., Самарин писал о себе: «Как русский, желающий посильно служить *моей* Родине и в *мое* время, я не принадлежу ни к какой политической партии... Я не революционер и не консерватор, не демократ и не аристократ, не социалист, не коммунист и не конституционалист». Самарин полагал, что для России не наступило еще время думать об изменении формы правления, «историческое призвание самодержавия еще не исполнилось» (VIII, 5).

Появление книги «Окраины России» дало ее автору неожиданную возможность определеннее раскрыть свое понимание самодержавной власти. В книге Самарин выступал против господства немецкого юнкерства в Прибалтике. Своих взглядов Сама-

рин никогда не скрывал и открыто высказывал их еще в 1840-е годы. Но в 1868 г. он получил за них высочайший выговор после напечатания двух первых выпусков «Окраин России» за границей. Самарин обвинялся в том, что он стремился обойти закон, «подрывал доверие к правительству» (вспомним его беседу с Николаем I в 1849 г.), косвенно касался авторитета верховной власти и «провинился против величества».

В письме, которое он адресовал Александру II, Самарин подробно опровергал все обвинения (VIII, с. XI—XXVII). Для нас представляет особый интерес высказанная им теория самодержавной власти [61].

Самарин прежде всего протестует против теории солидарности самодержавного правителя с действиями последнего царского чиновника, требует отличать слугу от государя и действия слуги от державной воли, ибо слияние образа самодержца «с преходящею и изменчивою толпою временных правителей... затемняет в понятиях общества светлое олицетворение верховной власти».

Самарин рисует свою теорию «здравого политического консерватизма, выразившуюся во всей нашей истории и единственно возможную в настоящее время». Действия верховной власти, неограниченной и безответственной, не безошибочны. Даже Петр I и Николай I признавали свои ошибки. Для того чтобы верно судить о своих поступках, самодержец должен допускать правдивую оценку правительственных действий, их критику и даже выражение ропота, которые «не только не противоречат верно понятым пользам власти, но положительно ими требуются. Ибо, чем свободнее обсуживаются законодательные и административные меры, чем безбоязненнее заявляются злоупотребления, ошибки и упущения, более неизбежные у нас, чем где-либо, тем менее остается в руках злонамеренности благовидных поводов простирать обвинения до престола». Свобода критики действий, даже прикрытых именем верховной власти, должна показать, что верховная власть заботится об общем благе и правде.

Самарин противопоставляет верховную власть и правительство. Последнее, по его мнению, умаляет авторитет самодержавия, выступая от его имени по самым незначительным вопросам. По мнению Самарина, чем больше свобода критики правительства, тем меньше возможность критики самодержавия. В противном случае «самодержавная форма правления была бы немыслима, ибо никогда никакое правительство не вознеслось бы на ту высоту, на которой стоит в наших понятиях верховная власть, а, напротив, эта власть, ниспав на степень правительства, утратила бы немедленно благотворное обаяние своей нравственной силы». Самарин против формального ограничения верховной власти, но независимо от ответственности, основанной на статье конституционного учреждения, существует в мире ответственность нравственная, от которой никакая власть на земле уклониться не может.

Теория «здравого политического консерватизма», изложенная

Самариным, в чем-то близка бонапартизму, в чем-то она развивает его ранние воззрения на верховную власть, надсословную и народную. Характерно полное отсутствие в теории Ю. Самарина славянофильских противопоставлений «земли» и «государства». В целом самаринская попытка примирить либеральные ценности (личные свободы, общественное мнение, свободу критики правительственных действий) с идеей сохранения самодержавия находилась в русле идейных исканий русских либералов, она отразила особенности славянофильского либерализма пореформенного времени.

Не без влияния письма Самарина к Александру II в начале 1869 г. Аксаков написал статью, не предназначенную для печати, где также излагал понимание сущности самодержавной власти. Внешне Аксаков мало отошел от традиционных схем славянофильства, и тем более интересны сделанные им выводы[62].

Начало статьи И. Аксакова составлено в духе ранних высказываний Ю. Самарина и К. Аксакова. И. Аксаков опровергает теорию божественного права и высказанную Н. И. Крыловым идею «канонического» царя (на полях оригинала прямая ссылка на статью Крылова в «Русской беседе», Аксаков не забыл своего спора с Кошелевым по поводу этой статьи): «Самодержавие не есть религиозная истина или непреложный догмат веры. Это есть истина практическая, не имеющая никакого абсолютного значения, подлежащая всем условиям места и времени, имеющая все свойства истин *относительных*. Отнявши у самодержавия навязанный ему религиозный ореол и сведя его к самому простому выражению, мы получим только одну из форм управления».

Следующий отрывок мы приведем целиком, чтобы наглядно выявить, как, исходя из классической теории К. Аксакова, И. Аксаков приходил к новым выводам: «Самодержавие — такая политическая форма, где во главе управления государством стоит одно *лицо* (живое человеческое лицо, человек), где единый личный разум и единая личная воля — верховные решители всех вопросов внешней и внутренней *политики*. Действие самодержавия простирается только на *государство:* вот его область. Все, что лежит вне этой области (в нравственном смысле), лежит вне круга действий самодержавия. Если самодержавие преступает эти пределы, вторгаясь в сферу церковную и частную, в область личной совести и личной свободы человека, то оно переходит в уродство, становится узурпацией, тиранией. Таково оно и есть в России со времен Петра».

Подобно брату разграничивая сферу действия государства и «земли», И. Аксаков гораздо последовательнее в своих выводах. Он повторяет в более аргументированной форме суждение, которое высказывал ранее: современное самодержавие — не идеальное самодержавие славянофильских теорий, а тирания. К этому выводу были близки К. Аксаков и Ю. Самарин, но они ограничились тем, что, не касаясь самодержца, критиковали правительственный аппарат самодержавия. И. Аксаков пошел дальше. Он

заново решает традиционную славянофильскую задачу, как «удержать самодержавие в пределах государственной сферы и воспрепятствовать его вторжению в область частной свободы, в область церковную, в область личной совести и мнения; как достигнуть этого, минуя известные конституционные формы». Аксаков против конституции (ограничения формального), но в принципе он высказывается за ограничение самодержавия: «Желательно ли ограничение? Разумеется, желательно. Мы не можем желать возвращения времен ни Ивана Грозного, ни Петра, ни Павла... .Мы не можем желать такого крепостного состояния русской мысли и слова, в котором держала их цензура и в котором держат его до сих пор Валуевы и Тимашевы. Вопрос весь в способах и средствах ограничения».

Самым надежным способом ограничения И. Аксаков, подобно Хомякову и К. Аксакову, считал способ нравственный, такой, «который ограждается не внешней формальностью, не буквой только, а сознанием всего общества». По сути дела, он хотел гораздо большего, чем конституция, которую всегда можно переменить, он хотел вечного и неизменного ограничения монархии в России, ограничения, основанного на политической зрелости русского общества. Его идеалистический подход к явлениям общественной жизни проявился здесь особенно отчетливо, своеобразие славянофильского мышления Аксакова приводило его к отстаиванию безнадежной утопии.

Свою мысль о нравственном способе ограничения самодержавия он пояснял ссылками на то, что самодержавная власть в России уже ограничена в своем отношении к православию и к крестьянству. Ни один самодержавный царь не рискнет изменить православной вере или восстановить крепостное право, ибо «будет немедленно низведен с престола общим единодушным восстанием всего народа». Аксаков считал, что «в этом отношении самодержавие так действительно ограничено, как этого не могла бы сделать никакая письменная конституция».

Следовательно, продолжал Аксаков, «все дело, стало быть, в том, чтоб расширилась область этих дорогих интересов. Теперь к разряду их еще не принадлежат ни интересы просвещения, ни мысли, ни слова, ни интересы автономии: все зависит здесь от его (народа.— *Н. Ц.*) развития».

В развитии сознания народа, способного ограничить самодержавие, Аксаков видел ряд препятствий. Во-первых, слабость «общества», отсутствие среды, способной нести в народ новые идеалы: «Сверху — страшная сила самодержавия, снизу — страшная сила народных масс, сила веры в самодержавие. Среда между ними находится в самом критическом положении. Она не плотна ни внешне, ни внутренне. Общество — дрянь. Вот об образовании этой среды, об ее укреплении надо заботиться».

Вторым препятствием к ограничению самодержавия Аксаков считает царистские иллюзии, народную веру в царя: «Беда в том, что народные массы не имеют доверия ни к кому, кроме царя».

Аксаков ставит прежде немыслимый для славянофилов вопрос: «Что это? Колоссальное недоразумение или упорная вера?» Его ответ: «И то и другое».

Упорную веру народных масс в царя он объясняет тем, что высшие правящие слои (дворянство, духовенство, чиновничество) были всегда враждебны народу. Кроме того, «народные массы чувствуют, что самодержец в некотором отношении находится от них в зависимости». Аксаков делает вывод, коренным образом противоречащий прежним представлениям славянофилов. Он подробно пишет о «недоразумении», на котором основана народная вера в царя: «Народ и не подозревает, что он служит только орудием для исполнения замыслов, направленных против существенных интересов русской земли и русской народности, он и не подозревает, что он в сущности презираем. Его разумению недоступны те хитросплетенные узы, которыми опутывается его свобода, его жизнь, весь духовный мир России». Таким образом, народное невежество является для Аксакова препятствием в осуществлении ограничения самодержавия. Подлинные взаимоотношения царя с народом рисуются им с поразительной точностью: «Русские мужики имеют обыкновение посылать к царю ходоков, в случае угнетения их местными властями. Ходоков этих участь известна: в Петербурге их высекут в полиции и отсылают назад, не выслушав, иногда с ведома, иногда без ведома государя».

Окончание статьи Аксакова, к сожалению, утеряно, поэтому трудно заключить, какие конкретно меры он намечал для укрепления в сознании народа «новых заветных идеалов». Тем не менее статья хорошо характеризует степень либеральной оппозиционности Аксакова [63].

В дальнейшем оппозиционность И. Аксакова пошла на убыль. В 1870-е годы он постепенно отходит от либеральных воззрений славянофильства. Взгляды его прежних единомышленников — Ю. Самарина, Ф. Чижова, А. Кошелева, В. Черкасского — изменились не столь разительно. До конца своих дней они стояли на позициях умеренного либерализма, но говорить о славянофильском характере их общественно-политических взглядов в 1870-е годы едва ли возможно. Либеральные политические идеи этих представителей славянофильства со временем лишились специфически славянофильских черт и растворились в политической программе земского либерализма, видными деятелями которого стали А. Кошелев и Ю. Самарин [64].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В речи, посвященной памяти Юрия Самарина (1876), И. Аксаков восклицал: «Кого и что почтило в нем (Самарине. — *Н. Ц.*) общество?» Риторический вопрос не требовал ответа, но Аксаков настойчиво его искал: «Как мыслителя? Но именно как мыслитель он был самым даровитым, могучим и потому опасным противником тех новейших философских учений, которые так распространены, так господствуют в нашем обществе, которые опираются на такие громкие, знаменитые в Европе и властительные у нас, современные научные авторитеты. Как либерала, демократа?.. Но он не был тем патентованным либералом и демократом, которого тип так популярен в большинстве нашей публики. Его либерализм и демократизм был не такого рода, который бы легко было распознать и оценить обществу, воспитавшемуся на иных либеральных традициях,— не подходил под мерку, преподаваемую публике значительным числом наших публицистов».

Недоумение Аксакова не было ораторским приемом. Оценить значение Юрия Самарина и, шире, в целом славянофильства в истории русского общества действительно непросто. Аксаков верно подметил нетрадиционность славянофильства, те трудности, что возникают при его сравнении с классическими канонами западноевропейской философской мысли и политической теории. Значит ли это, что при изучении славянофильства не следует применять привычную шкалу социальных и идейно-теоретических оценок, что славянофильство надо рассматривать как некий феномен русской жизни XIX в.? Конечно, нет.

Исследование общественно-политических взглядов славянофилов показывает, что славянофильство возникло и развивалось как направление раннего русского либерализма, что оно крепкими нитями было связано с российской действительностью середины прошлого столетия и порождено было поисками выхода из тупика крепостных отношений. Дальновидные представители поместного дворянства, славянофилы задолго до Крымской войны, подтвердившей правильность их социального анализа, увидели полную невозможность сохранения крепостных порядков. Славянофильство — система взглядов антикрепостнических, либеральных. Общественно-политические представления славянофилов могут быть охарактеризованы словами В. И. Ленина: «Либералы хотели «освободить» Россию «сверху», не разрушая ни монархии царя,

ни землевладения и власти помещиков, побуждая их только к «уступкам» духу времени. Либералы были и остаются идеологами буржуазии, которая не может мириться с крепостничеством, но которая боится революции, боится движения масс, способного свергнуть монархию и уничтожить власть помещиков. Либералы ограничиваются... «борьбой за реформы», «борьбой за права», т. е. дележом власти между крепостниками и буржуазией» [1].

Славянофилы были деятельными участниками подготовки отмены крепостного права, в ликвидации которого они видели необходимое условие достижения своих общественных идеалов. Общественно-политические взгляды славянофилов постоянно развивались, они не были застывшей системой догм. Но при всех обстоятельствах идеологи славянофильства отстаивали основные либеральные свободы: свободу слова и печати, свободу общественного мнения, свободу совести. Яркой страницей истории русской журналистики стала борьба славянофилов с цензурой.

Либерализм славянофилов несомненен, но следует с большим вниманием отнестись к замечанию И. Аксакова, что это был либерализм «особого рода». Возвращаясь к вопросам, поставленным Аксаковым, мы повторим одни его наблюдения, отвергнем другие, но главный аксаковский вывод о нетрадиционности славянофильского либерализма представляется нам безупречным.

Прежде чем мы перейдем к подробному анализу особенностей славянофильского либерализма, отметим несостоятельность аксаковского представления о «демократе» Самарине. Выше отмечалось, что подлинного демократизма в славянофильстве не было. Постоянное стремление славянофилов говорить от имени русского народа, обращаться к русскому народному чувству не выдерживает критики. В апреле 1861 г. под впечатлением первых крестьянских выступлений против «Положения 19 февраля» Ю. Самарин писал И. Аксакову: «Мы долго толковали о разобщении сословий, об изолированности народа и т. д., но, встретившись с этим явлением лицом к лицу, я невольно содрогнулся. Весь наш официальный мир, начиная от станового пристава до министров, все наши учреждения, одним словом, все, что имеет форму учреждения, в глазах народа заподозрено. Это ложь, обман, никому и ничему он не верит. Ко всей официальной Руси он относится чисто страдательно, точно как к явлениям природы — к засухе, саранче и т. д. Над всем этим носится в его представлении личность разлученного с ним царя, что-то вроде воплощенного промысла, но это вовсе не тот царь, который назначает губернаторов, издает высочайшие повеления и передвигает войска, а какой-то другой, самозданный, мифический образ, который завтра может вдруг предстать ему в лице пьяного дьячка или бессрочно отпускного. У нас осталось одно средство вразумления — это выстрелы».

В этих словах Самарина едва ли не полное отречение от славянофильских представлений о русском народе. Верно подметив антифеодальный, глубоко враждебный подлинному самодержавию

характер крестьянского цезаризма, Самарин в минуту обострения классовой борьбы раскрыл подлинное отношение славянофилов к русскому народу. Слова Самарина должны служить необходимым коррективом к выводу И. Аксакова (из речи о Ю. Самарине) об историческом значении славянофильства: «В общих чертах это была не только эмансипация народного духа от иноземного ига (в чем заключалась бы только отрицательная заслуга), но и подвиг народного самосознания, разъяснивший и определивший те духовные и социальные начала русской народности, которые призваны быть могучими факторами всемирно-человеческого развития и просвещения. В них — Хомякове, Константине Аксакове и Самарине — русская народность, можно сказать, получила свое первое высшее оправдание как в самостоятельных мыслителях и деятелях; в них первых олицетворилось примирение цивилизации Запада с Востоком» [2].

Отношение славянофильского либерализма к демократии убедительно подтверждает правильность ленинского вывода: «...либерал сочувствовал демократии, пока демократия не приводила в движение настоящих масс, ибо без вовлечения масс она только служила своекорыстным целям либерализма, она только помогала верхам либеральной буржуазии пододвинуться к власти. Либерал отвернулся от демократии, когда она втянула массы, начавшие осуществлять *свои* задачи, отстаивать *свои* интересы» [3].

Глубокая, убежденная антиреволюционность славянофилов, их враждебность движению народных масс неоспоримы, здесь не было расхождений между славянофилами и западниками. Но особенностью славянофильского либерализма следует считать стремление противостоять насилию вообще, и революции «снизу», и революции «сверху». Славянофильское понимание «революции» в наиболее полном, теоретически завершенном виде мы находим у Самарина: «Революция есть не иное что, как рационализм в действии, иначе: формально правильный силлогизм, обращенный в стенобитное орудие против свободы живого быта. Первою посылкою служит всегда абсолютная догма, выведенная априорным путем из общих начал или полученная обратным путем — сообщением исторических явлений известного рода. Вторая посылка заключает в себе подведение под эту догму данной действительности и приговор над последней, изрекаемый исключительно с точки зрения первой — действительность не сходится с догмой и потому осуждается на смерть. Заключение облекается в форму повеления высочайшего или нижайшего, исходящего из бельэтажных покоев или из подземелий общества и, в случае сопротивления, приводится в исполнение посредством винтовок и пушек или вил и топоров. Это не изменяет сущности операции, предпринимаемой над обществом».

Такое понимание «революции», противопоставляемой «свободе живого быта», раскрывает суть общественно-политических представлений славянофилов. Неприятие насилия — не просто основа славянофильского либерализма, здесь ядро славянофильского ми-

росозерцания. Живым комментарием к самаринскому определению звучат слова Н. П. Колюпанова о Хомякове: «Он ненавидел насилие и произвол во всех его видах и никогда не мирился с ним, во имя государственных или национальных интересов»[4].

Тема революции — центральная не только в общественно-политических воззрениях славянофилов, но и в их философии истории. Знаменитый спор славянофилов и западников о Петре I — спор о революции, о насилии как средстве осуществления политических и социальных преобразований. На отношении славянофилов к петровским реформам полезно остановиться подробнее, ибо оно служит отличной иллюстрацией нерасторжимой внутренней связи общественно-политической и историко-философской сторон славянофильского учения.

В 1832 г. М. П. Погодин писал о петровских преобразованиях: «Во всей истории не было революции обширнее, продолжительнее, радикальнее». В 1841 г. в статье «Петр Великий» Погодин с позиций официальной идеологии критиковал «новых судей» Петра I, которые спрашивают: «Не было ли б лучше, если б прежняя Россия была предоставлена естественному своему течению или если б преобразование было произведено не так быстро, не с таким насилием?» Погодин выступал против славянофилов[5].

Славянофилы были далеки от официальных восхвалений «революции Петра I», но, вопреки укоренившемуся в историографии мнению, они не отрицали исторической неизбежности петровских реформ. В статье «О старом и новом» Хомяков писал: «Явился Петр и, по какому-то странному инстинкту души высокой, обняв одним взглядом все болезни отечества, постигнув все прекрасное и святое значение слова «государство», он ударил по России, как страшная, но благодетельная гроза» (III, 27). Полемизируя с В. Г. Белинским, Ю. Ф. Самарин в 1847 г. спрашивал: «Кому приходило в голову признать случайными явление Петра Великого, его реформу и последующие события до 1812 года? Кто не признавал их исторически необходимыми? Нужно ли повторить еще раз объяснения, почти что поступившие в разряд общих мест? Кажется, незачем» (I, 100). Далее Самарин перечислял «нелепые мысли», которые «произвольно приписаны славянофилам» их противниками: «Реформа Петра убила в России народность и всякий дух жизни. Россия для своего спасения должна обратиться к нравам Кошихина или Гостомысла. Свойство смирения есть русское национальное начало. Любовь есть национальное начало ... присущее славянским племенам» (I, 107).

Петровская эпоха находила свое, строго определенное, относительно небольшое место в изощренной историософии славянофилов, в их понимании хода всемирной истории и пути русского исторического развития. В петровских реформах славянофилы прежде всего не принимали насилия, подавления народа государством. В стихотворении «Петр» (1845) К. Аксаков упрекал Петра I:

Во имя пользы и науки,
Добытой из страны чужой,
Не раз твои могучи руки
Багрились кровию родной.

В том же стихотворении автор обращался к Петру I:

...Гоня пороки русской жизни,
Ты жизнь безжалостно давил.

Мысль открыто полемичного стихотворения К. Аксакова многократно повторялась в исторических изысканиях славянофилов, в их публицистике и художественном творчестве. Насильственный характер петровских преобразований, насильственный разрыв с предшествующим ходом общественного развития, насильственное подражание Западной Европе подрывали, по мнению славянофилов, возможность особого пути исторического развития России. Петр I внес в ход русской истории элемент насилия, разобщил сословия и стал виновником сословной вражды, прежде русскому обществу неизвестной,—вот смысл славянофильской оценки петровских реформ. Нет нужды доказывать ее неисторичность. Попытка славянофилов выступать в роли защитников народа от гнета государства была лишена всякого классового содержания и может быть оценена как неосновательная.

Вместе с тем они верно подмечали свойственную западникам апологетику государственности, недооценку ими роли народных масс в историческом развитии. Несомненно, что сложную проблему насилия в истории славянофилы понимали метафизически, в ее трактовке использовали прежде всего категории морально-этические. Насильственный характер деятельности Петра I служил для них отправной точкой в критике современной им николаевской действительности, возвращение на особый путь исторического развития России они трактовали как отказ от привнесенного Петром I насилия, характерной для Западной Европы борьбы сословий, антагонизма «земли» и «государства», которые ведут к опасным революционным потрясениям. В строгом соответствии со своими либеральными убеждениями славянофилы критиковали изначальную противоречивость западнической концепции русского исторического развития, которая не только не отрицала, а, напротив, подразумевала неизбежность повторения в России событий, подобных западноевропейским революциям.

Славянофилы охотно прибегали в своих общественно-политических размышлениях к историческим аналогиям, к ссылкам на события прошлого, но, в сущности, они мало считались с историей. «История Англии требует полного пересмотра»,— восклицал Хомяков в угоду своим представлениям об английском вигизме и торизме (I, 124). Исторические наблюдения славянофилов были подчинены их общественно-политическим убеждениям. Среди видных славянофилов не было серьезных исследователей русской истории. Богатые оригинальными идеями, остроумно критиковавшие историков-западников, славянофилы в области конкретно-исторического изучения дали на удивление немного.

В 1845 г. молодой Ю. Самарин писал К. Аксакову: «Мы еще ничего не доказали или очень немногое; все, что мы утверждаем о нашей истории, о нашем народе, об особенностях нашего прошедшего развития, все это угадано, а не выведено... Наш общий недостаток — бедность знания фактического. Я занимаюсь теперь русскою историею и чувствую потребность воздержаться на время от общих выводов и общих построений; я хочу подвергнуть исследованию все наши положения: об отсутствии завоевания, об отсутствии аристократии, о значении личной власти и т. д.» (XII, 156). Несколько лет спустя самостоятельное исследование источников по русской истории предпринял И. Аксаков. В летописях и актах он искал подтверждение правильности славянофильских исторических построений. Отсутствие предвзятости помогло Аксакову избежать многих антиисторических суждений, свойственных историко-политическим работам других славянофилов.

В письме к Кошелеву от 30 июля 1854 г. он подробно изложил выводы, к которым пришел после углубленного изучения русской истории: «Я занимался целый год чтением грамот и актов, и это чтение заставило меня разочароваться в древней Руси, разлюбить ее и убедиться, что не выработала она и не хранит в себе начал, способных возродить Россию к новой жизни. Я готовился, например, написать статью для «Московского сборника» о Земских думах, но хотел написать ее, покривив душою, ради преследуемой цели, и дать им ту важность и то значение, которого в сущности, по моему *внутреннему* убеждению, они не имели. Если говорить вполне искренно, то знакомство мое с источниками, исследование по ним Земских дум в России меня скорее огорчило, нежели ободрило: мы привыкли с этим словом соединять какое-то либеральное понятие, но, раскрывая правду, я дал бы нашим противникам орудие в руки против нас же самих... Когда я занимался чтением грамот, в одно время с братом, но в разных комнатах, то одна и та же грамота производила на нас обоих разные впечатления, и мы вечно спорили; он — восхищаясь древнею Русью, я — нападая на нее... Ученые исторические исследования не только не могут служить в пользу славянофильским отвлеченным теориям, но должны разрушить многие наши верования и точки опоры».

В 1858 г. в ответ на предложение И. Аксакова написать для «Русской беседы» разбор сочинения Н. Г. Устрялова Ю. Самарин отвечал: «Надобно сознаться с прискорбием, что никто из нас не в состоянии написать дельной критики на Устрялова. Ни Вы, ни я, ни Константин ничего не читали о Петре или почти ничего; нет между нами специалистов, мы все мало, очень мало работаем, а только наигрываем вариации на две, три темы, как старые шарманки» [6].

Мы считаем необходимым подчеркнуть зависимость историко-философских построений славянофилов от их политических убеждений потому, что до настоящего времени в литературе встречается преувеличенное представление о важности «археологических» мотивов в славянофильском учении. Именно в них неко-

торые исследователи видят главную особенность политических воззрений славянофилов. Возникшее в период острых споров с западниками, подобное представление позволяет упрекать славянофилов в косности, в ретроградном стремлении сохранить все отжившее. Понятно, что оно полностью противоречит нашему пониманию славянофильства и его места в истории русской общественной мысли.

В программной статье «О сельской общине» (около 1849 г.) Хомяков писал, обращаясь к «приятелю»: «Сделай одолжение, отстрани всякую мысль о том, будто возвращение к старине сделалось нашею мечтою. Одно дело: советовать, чтобы корней не отрубать от дерева и чтобы залечить неосторожно сделанные нарубы, и другое дело: советовать оставить только корни и, так сказать, снова вколотить дерево в землю. История светит назад, а не вперед, говоришь ты; но путь пройденный должен определить и будущее направление. Если с дороги сбились, первая задача — воротиться на дорогу» (III, 462).

На страницах «Молвы» необычайно интересную мысль, которая раскрывает характер славянофильской историко-политической схемы, высказал К. Аксаков: «Итак, славянофилы думают, что должно воротиться не к *состоянию древней России* (это значило бы окаменение, застой), а к *пути древней России* (это значит движение). Где есть движение, где есть путь, там есть вперед! Там слово назад не имеет смысла.

Славянофилы желают не возвратиться назад, но вновь идти вперед прежним путем, не потому, что он прежний, а потому, что он истинный. Итак опять, не может быть речи о возвращении назад. Этот упрек сам собою снимается с славянофилов. Спор может быть лишь об истине путей, лишь о том: какое *вперед* есть вперед к истине?» [7]

Особенностью славянофильского либерализма было устойчивое стремление подчеркнуть чисто нравственный характер политических теорий славянофилов, неприязнь их к внешнему, формально-юридическому закреплению желанных свобод. Для некоторых авторов рассуждения славянофилов о нравственности в политической жизни служили основанием не только для сомнения в их либерализме, но и для выражения мнения о бессмысленности их общественно-политических воззрений. Действительно, комментировать аксаковскую теорию «негосударственности» непросто. Даже принимая во внимание учение о «земле» и «государстве», нелегко разобраться, например, в противоречивом высказывании И. Аксакова (из письма к А. Блудовой от 1862 г.): «Вы никогда не докажете, что самодержавие хорошо: это только одно из меньших зол, или меньшее из зол, и то с нашей (славянофильской.— *Н. Ц.*) точки зрения, потому что дает возможность народу оставаться вне государственной внешней деятельности... Запад ищет спасения в законе, и вы с ним, и с Чичериным. А русский идеал выше, хотя, без сомнения, в тысячу раз труднее, и непрактичен!.. Этот взгляд на государство, прежде всего объясненный Хомяко-

вым, определившим государство, как внешнюю правду, один из коренных догматов славянофильства»[8].

Нравственный подход славянофилов к решению политических вопросов не следует абсолютизировать. Во-первых, им вовсе не был чужд буржуазный юридизм мышления. Как мы стремились показать, в некоторых вопросах, особенно в крестьянском, они сознательно искали четкие юридические формулы.

Во-вторых, нравственное решение политических проблем не было привилегией славянофилов. Их современник, английский историк и политический деятель Т. Маколей, апологет «достославной» революции 1688 г., писал об английском общественном устройстве, которое столь часто служило образцом для А. Хомякова, А. Кошелева, Ю. Самарина, И. Аксакова: «Главные начала нашего правления были превосходны. Правда, они не были формально и точно изложны ни в каком письменном документе; но их можно было найти рассеянными в наших древних и благородных статутах, и, что еще важнее, они в течение четырехсот лет врезались в сердца англичан».

Созвучна настроениям славянофилов была и следующая мысль Маколея: «Оттого, что у нас была охранительная революция в XVII, у нас не было разрушительной революции в XIX столетии. Оттого, что у нас была свобода посреди общего рабства, у нас теперь порядок посреди общей анархии»[9].

Дальнейшее изучение общественно-политических взглядов славянофилов предполагает рассмотрение их в контексте европейской культуры XIX в., европейской философской и политической мысли. Особое значение приобретает сопоставление славянофильства с западноевропейским либерализмом кануна 1848 г. По сути дела, подобное исследование еще не предпринималось историками. Нельзя всерьез принимать утверждение А. Веселовского: «Культурная история Европы за последние два столетия показывает, что *почти ни одна страна* не обошлась в свое время без движения, схожего со славянофильством». Перечень «европейских славянофилов», сделанный А. Веселовским, производит странное впечатление. Нельзя назвать случайным неодобрительный отзыв И. Аксакова, который назвал книгу Веселовского «гнусной»[10].

Примечательной особенностью славянофильского либерализма были постоянные высказывания о самостоятельности русской жизни и русской мысли. Говоря о необходимости самостоятельного пути развития русской народности, выступая против подражания иностранным образцам, славянофилы противопоставляли свое учение общеевропейской либеральной традиции. В 1864 г. после бесед в Праге с чешскими общественными деятелями Ю. Самарин писал в Москву: «Слыша от них постоянно один и тот же вопрос: когда же наконец для России наступит политическое совершеннолетие и когда она последует примеру Австрии, я наконец высказал им, что меня крайне удивляет безусловность их убеждения в применимости общеконституционных форм к славянскому миру и беззаветная готовность их ринуться на всех парах,

с их тщательно взращенною народностью, по рельсам немецкого политического развития»[11].

Среди многих примеров, которыми славянофилы доказывали пагубность подражания иностранным образцам, мы выберем высказывание И. Киреевского из статьи 1845 г.: «Что же касается собственно до Европейских начал, как они выразились в последних результатах, то взятые отдельно от прежней жизни Европы и положенные в основание образованности нового народа,— что произведут они, если не жалкую карикатуру просвещения, как поэма, возникшая из правил пиитики, была бы карикатурою поэзии? Опыт уже сделан. Казалось, какая блестящая судьба предстояла Соединенным Штатам Америки, построенным на таком разумном основании, после такого великого начала! — И что же вышло?.. Осквернение святых слов: человеколюбия, отечества, общественного блага, народности, до того, что употребление их сделалось даже не ханжество, но простой общепонятный штемпель корыстных расчетов; наружное уважение к внешней стороне законов, при самом наглом их нарушении; дух сообщничества из личных выгод, при некраснеющей неверности соединившихся лиц, при явном неуважении всех нравственных начал, так, что в основании всех этих умственных движений очевидно лежит самая мелкая жизнь, отрезанная от всего, что поднимает сердце над личною корыстию, утонувшая в деятельности эгоизма и признающая своею высшею целью материальный комфорт, со всеми его служебными силами» (I, 153—154).

В наибольшей степени славянофильская надежда на возможность ухода от подражания общеевропейским стандартам XIX в. выразилась в стремлении выработать государственное устройство в «славянском духе». С этим связан антиконституционализм славянофилов. Он, однако, не имел абсолютного характера. Славянофильские выступления против дворянского конституционализма вполне укладывались в русло либеральных настроений, именно здесь были точки наибольшего соприкосновения пореформенного славянофильства и западничества. В исторической перспективе члены славянофильского кружка считали неизбежным развитие выборного, представительного начала в России.

После отмены крепостного права, по словам В. И. Ленина, «самый сплоченный, самый образованный и наиболее привыкший к политической власти класс — дворянство — обнаружил с полной определенностью стремление ограничить самодержавную власть посредством представительных учреждений»[12]. Это стремление не обошло славянофилов. Одновременно с нападками Самарина на «немецкое политическое развитие», по его указаниям славянофильский историк И. Д. Беляев стал работать над книгой о судьбе выборного начала на Руси. Первоначальное название книги было «Исследование о начатках представительных учреждений в России». Работа Беляева осуждала «олигархическую конституцию» верховников 1730 г. и разнообразные проекты «дворянской сословной конституции». В центре внимания автора находилась

судьба земских учреждений Московской Руси, и прежде всего земской думы [13].

В той или иной форме мечта о земской думе находила отклик в политических размышлениях славянофилов накануне отмены крепостного права и в первые пореформенные годы. Своеобразным славянофильским заветом следующим поколениям российских либералов стали слова Кошелева из его брошюры «Наше положение», напечатанной в Берлине в 1875 г.: «Учреждение государственного земского собрания или государственной земской думы — стало необходимостью неотложною, неустранимою» [14].

Славянофильство наряду с западничеством в эпоху падения крепостного права образовали «либерально-монархический буржуазный центр, стоящий посередине между демократией, с одной стороны, и абсолютизмом вместе с крепостническим землевладением, с другой» [15].

В пределах настоящей работы мы не касались сложного вопроса взаимоотношений славянофилов и западников на разных этапах русского общественного развития. Но, говоря об особенностях славянофильского либерализма, следует подчеркнуть, что не меньшим своеобразием отличался западнический либерализм, слабо изученный в исторической литературе. И славянофильство и западничество были именно ранними формами российского либерализма, во многом сильно отличавшимися от зрелых проявлений либерализма конца XIX — начала XX в. Речь идет как об идеологии либерализма, так и о его организационных формах.

В изучении славянофильства и западничества представляется перспективным выделение черт их сходства и родства.

Быть может, важнейшей чертой славянофильского либерализма, которая, кстати, начисто отсутствовала в западничестве, было желание примирить интересы всех сословий русского общества, добиться социального согласия. Основу для такого согласия одни славянофилы видели в православии, другие — в общности черт русского национального характера. «Россия живет в многоярусном быте»,— говорил П. Киреевский [16]. Стремление учесть эту «многоярусность» приводило славянофилов к созданию таких политических теорий, которые призваны были отразить настроения не только дворянства, но и купечества, мещанства, патриархального крестьянства.

За пределами нашего исследования остались интереснейшие вопросы истории славянофильства: внутренняя жизнь славянофильского кружка, на примере которой отчетливо видна правомерность нашей периодизации истории славянофильства; эволюция славянофильской периодики; такая серьезная проблема, как славянофильская философия истории, которую нельзя, по нашему убеждению, отрывать от политической теории и общественной практики славянофилов. Предметом особого изучения должна стать роль славянофильства в развитии русской культуры XIX в. Наконец, заслуживает внимания судьба славянофильства в исторической литературе и в историософских размышлениях о России.

Примечания

Глава первая

[1] См.: Кожинов В. В. О главном в наследии славянофилов. — Русская литература, 1969, № 10, с. 113; Дудзинская Е. А. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983, с. 7; Дмитриев С. С. Подход должен быть конкретно-исторический. — Русская литература, 1969, № 12, с. 76—77; Янковский Ю. З. Из истории русской общественно-литературной мысли 40—50-х годов XIX столетия. Киев, 1972, с. 18. Во втором, значительно переработанном издании книги автор смягчил последнюю формулировку: «И лишь в советское время термин «славянофильство» стал, наконец, употребляться в более или менее определенном смысле» (Янковский Ю. З. Патриархально-дворянская утопия. М., 1981, с. 24); Ломунов К. Н. Славянофильство как научная проблема. Задачи и принципы исследования. — В кн.: Литературные взгляды и творчество славянофилов. 1830—1850-е годы. М., 1978, с. 6.

[2] Русский архив, 1868, № 7—8, стлб. 1084—1089. Без изменений письма перепечатаны в издании: Дмитриев И. И. Соч., т. 2. Спб., 1893, с. 186—190. Без подлинников писем нельзя судить, каким было написание слова. Публикации «Русского архива» в археографическом отношении ненадежны.

[3] Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. Спб., 1803, с. 6. Во второй книге Шишков подчеркнуто недоброжелательно отозвался о «некоторой особливой *шайке* писателей, вооружившихся против славенского языка» (Шишков А. С. Прибавление к сочинению, называемому Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. Спб., 1804, с. 82); Вигель Ф. Ф. Записки, т. 2. М., 1928, с. 45.

[4] См.: Жихарев С. П. Записки современника. М.—Л., 1955, с. 52. Подборку эпиграмматических отзывов о А. С. Шишкове см. в кн.: Эпиграмма и сатира, т. 1. М.—Л., 1931, с. 25—132. Среди других прозвищ писателей-шишковистов следует указать на близкие к «славянофилу» по звучанию — Бомбастофил, Руфилл (там же, с. 38, 60). Для характеристики как Шишкова, так и его литературных противников, остроумных создателей прозваний и кличек, отметим созвучие слов славянофил и простофиля. В XVIII — первой половине XIX в. слово простофиля воспринималось как книжное, сочиненное.

[5] См.: Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1854, с. 37. В 1790-х годах И. И. Дмитриев печатался в «Московском журнале» и альманахах Карамзина. Вслед за сборником Карамзина «Мои безделки» он выпустил «И мои безделки» (1795). Дмитриев и Карамзин дружили, у них были сходные литературные вкусы, общие друзья и почитатели, которые и начали полемику с Шишковым. Как верно отметил В. Э. Вацуро, И. И. Дмитриев «предпочитал быть режиссером, а не актером литературного спектакля» (Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980, с. 444).

[6] Вечного путешественника и неутомимого в эпистолярном жанре А. И. Тургенева Дмитриев прозвал «маленьким Гриммом» и «пилигримом» (Вяземский П. А. Полн. собр. соч. в 12-ти т., т. 8, с. 273).

[7] Богатый материал для характеристики Д. И. Языкова содержится в ст.: Орлов Вл. История Вольного общества любителей словесности, науки и ху-

дожеств. — В кн.: Поэты-радищевцы. Л., 1935, с. 91—153. Вольное общество, утвержденное Александром I в 1803 г., внешне было лояльно ко всем литераторам. В 1805 г. его почетными членами были избраны, среди прочих, Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, Г. Р. Державин, М. М. Херасков, А. С. Шишков.

[8] См.: Шишков А. С. Прибавление к сочинению, называемому Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. Спб., 1804, с. 102—103. Рецензия П. И. Макарова напечатана в журнале «Московский Меркурий» (1803, № 12, с. 165). В «Записках» Шишкова тревожными тонами обрисованы первые годы правления Александра I, когда «имена вольности и равенства, приемлемые в превратном и уродливом смысле, начали твердиться пред младым царем, имевшим по несчастью наставником своим француза Лагарпа, внушавшего ему таковые же понятия» (Шишков А. С. Записки, мнения и переписка, т. 1. Berlin, 1870, с. 85).

[9] См.: Вигель Ф. Ф. Записки, т. 1, с. 199. Здесь же Шишков назван «главой славянофилов или варягороссов, как их тогда называть начали» (там же, с. 358).

[10] Журнал для пользы и удовольствия, 1805, ч. 1, с. 52—59; Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, с. 261. А. И. Леванда был родом с Украины, происходил из духовного сословия. В его литературно-бытовом облике были, вероятно, черты, которые удачно могут быть названы «славянофильскими».

[11] «Видение на берегах Леты» расходилось в списках. Впервые оно было опубликовано в 1841 г. в сборнике «Русская беседа», т. 1 (с. 1—10 особой нумерации). Строки о славянофиле отсутствовали — А. С. Шишков умер в том же году. Впервые пропущенные строки воспроизвел М. А. Дмитриев в 1854 г. (см.: Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти, с. 135—136). В 1841 г. выпущенные строки могли стать известны В. Г. Белинскому, который интересовался судьбой сборников «Русская беседа», предпринятых в пользу книгоиздателя А. Ф. Смирдина. В литературе последних лет со стихотворением К. Н. Батюшкова принято связывать первое упоминание слова «славянофил», что неверно. В более ранней литературе о славянофильстве считалось, что первым слово «славянофил» употребил В. Л. Пушкин в «Опасном соседе» (1811) (см.: Колюпанов Н. П. Биография А. И. Кошелева, т. 1, кн. 1. М., 1889, с. 239).

[12] Первое, литографированное издание «Опасного соседа» вышло малым тиражом в Мюнхене в 1815 г.; второе — в Лейпциге в 1855 г. (Журнал драматический, 1811, ч. 1, № 4, с. 265—296). Кто такой Р-а-т-а, неизвестно. Рано умершего П. А. Никольского Греч вспоминал с теплым участием: «Русская литература имела бы в нем своего Джонсона, Лессинга, Шлегеля» (Греч Н. И. Указ. соч., с. 289). Рецензия Никольского напечатана в «Санктпетербургском вестнике» (1812, № 7, с. 72). Греч назвал этот журнал изданием Вольного общества, направленным «прямо против славянофилов».

[13] Мерзляков А. Ф. Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии. — В кн.: Труды Общества любителей российской словесности при императорском Московском университете. М., 1812, ч. 1, с. 72—73.

[14] Пародия «Певец в беседе любителей русского слова» впервые была опубликована в «Современнике» (1856, т. 57, № 5). Молодой литератор С. Т. Аксаков был в доме Шишкова своим человеком.

[15] Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933, с. 78, 94, 120, 123, 145, 192, 203 и др.

[16] Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толля (Из архива Елагиных. М., 1936, с. 144). Деятельность А. С. Шишкова не была вполне бесплодна. Он был тонкий филолог и, по авторитетному суждению акад. В. В. Виноградова, его «Рассуждение о старом и новом слоге» вскрыло «ряд существенных недостатков карамзинской реформы, связанных с недооценкой культурного наследия славянизмов, с непониманием исторической роли славяно-русского языка и его выразительных средств, а также с аристократическим отношением к народной речи и к народной поэзии. Благодаря работам Шишкова были глубже осознаны соответствия в строе и словаре русского и церковнославянского языков, точнее определились семантические границы между русским

и западноевропейскими языками» (Виноградов В. В. Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978, с. 51—52). Значение критических суждений Шишкова остроумно выразил И. А. Крылов: «Он хорошо знает, как писать не должно, но не знает, как должно писать. Можно доверять его обвинениям, но нельзя следовать его советам» (Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). Л., 1963, с. 270). Слова Ю. Н. Тынянова: «...не Карамзин победил Шишкова, а напротив, Шишков Карамзина» — парадокс, оставленный без доказательств (в кн.: Дневник В. К. Кюхельбекера. Л., 1929, с. 4. Предисловие). Любопытно сравнить слова Тынянова с отзывом М. П. Погодина из «Дорожного дневника 1839 г.»: «Шишков, прослушав во время своей болезни все 12 томов Карамзина, сделался карамзинистом» (Погодин М. П. Год в чужих краях, ч. 1. М., 1844, с. 12).

[17] См.: Лушников А. Г. Историко-литературная почва первого славянофильства. (К вопросу о происхождении и сущности так называемого славянофильства). Казань, 1913, с. 23—25; Walicki A. Slovianofilska Utopia Konstantego Aksakowa. — Slavia Orientalis, 1963, N 2, p. 169; Янковский Ю. З. Патриархально-дворянская утопия, с. 31—32. Отметим, что «галлофобия» Аксаковых — очевидное преувеличение А. Валицкого. С. Т. и О. С. Аксаковы воспитаны были на французской литературе XVIII в., от первых дней знакомства до зрелых лет они сохранили обращение «Серж» и «Оллина», а театр Расина долгие годы был театром С. Т. Аксакова. Выпады Аксаковых, и чаще младшего поколения, против «французской болезни», тяги к политическим переворотам имели не общекультурную, а иную, -политическую основу, ничего общего с «галлофобией» не имевшую.

[18] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. В 16-ти т., т. 3, с. 651; Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. Спб., 1873, с. 235.

[19] Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. 8, с. 483; Он же. Записные книжки (1813—1848), с. 269—270.

[20] Шишков А. С. Рассуждение о любви к отечеству. — Чтение в Беседе любителей русского слова, кн. 5. Спб., 1812, с. 48, 52. Патриотическая твердость Шишкова доставила ему в 1812 г. место статс-секретаря, с которого был удален М. М. Сперанский.

[21] Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова, т. 1—2. Berlin, 1870. Предисловие издателей в первом томе без пагинации. В издание включены «Записки. 1780—1814», «Домашние записки. 1808—1820», «Записки. 1824—1826». Научная ценность издания бесспорна. Текстологическая подготовка и комментарии — Н. Киселева, редакция — Ю. Самарина. Странный отзыв оставил А. И. Кошелев: «Он (А. С. Хомяков. — *Н. Ц.*) вовсе не был «народником» в смысле Шишкова или последующих так называемых славянофилов под знаменем «Руси»; нет, он был далек от таких узких и вредных учений» (Кошелев А. И. Записки (1812—1883). Berlin, 1884, с. 71).

[22] Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979, с. 222, 498—500. «Минувшего 1824 года военные, ученые и политические достопримечательные события в области российской словесности» написаны Кюхельбекером совместно с Одоевским. («Земля безглавцев». — Мнемозина, 1824, ч. 2, с. 143—151). Из последней процитированной записи выросла концепция Ю. Н. Тынянова о борьбе архаистов и новаторов, изложенная в его статье «Архаисты и Пушкин» (Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969).

[23] Дмитриев И. И. Соч., т. 2, с. 60, 154. К славянофилам отнесены литераторы конца XVIII в., в основном малоизвестные. Отметим, что применение к ним понятия «славянофилы» указывает как будто на более раннее, до 1804 г., бытование слова. «Взгляд на мою жизнь» современникам Дмитриева известен не был, но его суждения о русской словесности отразились в сочинениях его племянника М. А. Дмитриева. «Мелочи из запаса моей памяти» последнего воспроизводят периодизацию Дмитриева-старшего, только новый период начинает не Карамзин, а Дмитриев. Шишкова М. Дмитриев воспринимает анекдотически, он «не имел влияния». Со смертью Пушкина настал, в глазах М. А. Дмитриева, третий период «произведений без всякого стиля и формы» (там же, с. 32, 43—49).

[24] [Полевой Н. А.] Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина.— Московский телеграф, 1833, № 8, с. 563—567; Катенин П. А. Ответ г-ну Полевому на критику, помещенную в «Московском телеграфе». — Московский телеграф, 1833, № 11, с. 452—453; [Полевой Н. А.] О направлениях и партиях в литературе. (Ответ г-ну Катенину). — Московский телеграф, 1833, № 12, с. 597—609. «Ижорский» — мистерия В. К. Кюхельбекера, имя которого в подцензурной печати николаевского времени не упоминалось. Желание Полевого «помирить» карамзинистов и славянофилов заслуживает внимания. Ведь известно, что литературная репутация Полевого в значительной степени составилась из его преувеличенно резких нападок на Карамзина, писателя и историка.

[25] См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. В 13-ти т., т. 1, с. 410—411.

[26] Речь «О Карамзине» писалась К. Аксаковым по случаю открытия в Симбирске памятника Н. М. Карамзину (1845). Авторская дата — 1848 г. (о ней см.: Цимбаев Н. И. Из истории славянофильской политической мысли, К. С. Аксаков в 1848 году. — Вестн. Моск. ун-та, сер. История, 1976, № 5). Публикация речи осуществлена В. А. Кошелевым (Русская литература, 1977, № 3, с. 102—110).

[27] Т. Н. Грановский и его переписка, т. 2. М., 1897, с. 333—339. В письме из Москвы к Станкевичу от 12 февраля 1840 г. Грановский сообщал: «Вчера вышла смешная вещь: я читал о славянских племенах и о трудах славянских ученых. О последних сказал свое мнение без утайки: отдал должную справедливость их знаниям, трудолюбию, — но указал на их мелкопатриотический, ограниченный взгляд на историю. А в числе моих слушателей сидел Петр Киреевский, отчаянный славянолюбец. «Вот под руку подвернулись», — сказал я ему выходя. Смеется и сердится» (там же, с. 385).

[28] Письмо И. И. Срезневского к В. В. Ганке от 12 марта 1843 г. — В кн.: Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель. Варшава, 1905, с. 1030; Отзыв П. А. Плетнева см. в кн.: Грот К. Я. К истории славянского самосознания и славянских сочувствий в русском обществе. Спб., 1904, с. 3; Т. Н. Грановский и его переписка, т. 2, с. 370. Мнение Белинского о № 1 «Москвитянина» за 1843 г.: «Исторических материалов в нем по-прежнему много, также и славянских сказок, которые тоже можно назвать материалами для истории народной славянской поэзии. Вообще, эти материалы дают «Москвитянину» вид альманаха, содержание которого — материалы для истории и словесности славян. Издание полезное и почетное, но оно не журнал». Сравнение двух журналов: «Маяк» — «петербургский «Москвитянин», а «Москвитянин» — «московский «Маяк» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 6, с. 691—692; т. 7, с. 43).

[29] Герцен А. И. Собр. соч. В 30-ти т., т. 2, с. 235—238, 289. О Пассеке Герцен писал в гл. 6 «Былого и дум». Славянские интересы В. В. Пассека (1808—1842) были реализованы им в работах по русской и славянской истории, этнографии, статистике и археологии. Наибольшее значение имели «Очерки России» (1838—1842, кн. 1—5).

[30] Герцен А. И. Собр. соч., т. 2, с. 242, 245; т. 9, с. 162. Признание Чижова взято из его письма к Н. М. Языкову от 29 июня 1844 г. (Литературное наследство, т. 19—21. М., 1935, с. 124—126).

[31] Герцен А. И. Собр. соч., т. 2, с. 240; Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 8, с. 294. Кетчеру Белинский прямо писал в 1841 г. о «доносах Погодина и Шевырева» (там же, т. 12, с. 63).

[32] См.: Герцен А. И. Собр. соч., т. 2, с. 220. Письмо К. С. Аксакова Ю. Ф. Самарину от конца мая 1842 г. (несколько ранее дневниковой записи Герцена) рисует ясную картину расстановки сил в спорах о Гоголе: «Павлову не нравится и... он торжествует: говорит, что это падение Гоголя»; «Кетчер говорит, что «Мертвые души» выше всего, что написал Гоголь», «Грановский и молодые профессора, вероятно, говорят то же», «я (К. С. Аксаков. — *Н. Ц.*) считаю это произведение великим явлением», Хомяков «со мною заодно», «Валуев... в восторге совершенном», «Чаадаев жарко нападает». «Спор был жаркий; Хомяков защищал; Чаадаев и Дмитриев нападали» (Литературное наследство, т. 58. М., 1952, с. 622—626).

[33] См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 6, с. 322, 343, 505; т. 8, с. 72. О В. Априлове и его «Деннице» см.: Россия и освобождение Болгарии.

М., 1982, гл. 3 (автор Н. И. Цимбаев), гл. 4 (автор Н. Генчев). Рецензию М. Соловьева см.: Москвитянин, 1842, ч. 3, № 5, с. 132—164.

[34] См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 12, с. 124. М. А. Дмитриев писал «К безымянному критику» как ответ «Москвитянина» на «Педанта» Белинского (см. его письмо к М. П. Погодину от 31 марта 1842 г. — Литературное наследство, т. 56, кн. 2. М., 1951, с. 166). Послание «К безыменному критику» вызвано было литературным спором. Общественно-политические взгляды Дмитриева были умеренно консервативны.

[35] Пыпин А. Н. Белинский. Его жизнь и переписка, т. 2. Спб., 1876, с. 98, 239, 251. Для исследования А. Н. Пыпина характерно стремление к точной терминологии, в нем последовательно проведено отделение «собственно славянофилов» от «тогдашнего славянофильства, представляемого «Москвитянином» (там же, с. 166). Автор отмечает: «Взгляд «Москвитянина» был тогда сочтен и назван славянофильским, и журнал Погодина и Шевырева считался органом славянофильства» (там же, с. 134). «Первые впечатления славянофильства дал Белинскому «Москвитянин», что, по мнению Пыпина, определило враждебность критика, ибо «невозможно было иначе отнестись к нелепой, юродивой форме, в которой даны были здесь первые заявления новой школы» (там же, с. 219).

[36] См.: Плеханов Г. В. Соч. В 24-х т., т. 23, с. 46.

[37] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 10, с. 223—226.

[38] Примечательна рецензия Белинского на «Славянский сборник» Н. В. Савельева-Ростиславича (1845), который он понимал как «выражение мнений целой ученой и литературной партии». Цель критика — «показать и обнаружить нелепость славянофильского направления в науке». Славянофилами он постоянно называет Н. В. Савельева-Ростиславича, Ф. Л. Морошкина, Ю. И. Венелина (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 9, с. 178, 181—212). К истинным славянофилам указанные ученые не принадлежали (ср. отзыв Грановского о Морошкине. — Грановский Т. Н. Переписка, т. 2, с. 370). О славянских интересах А. С. Шишкова см.: Кочубинский А. А. Адмирал Шишков и канцлер гр. Румянцев. Начальные годы русского славяноведения. Одесса, 1887—1888.

[39] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 9, с. 68; т. 10, с. 17, 231, 263, 267. В статье «О мнениях «Современника», исторических и литературных», на которую отвечал Белинский, Ю. Самарин призывал «добросовестно вникнуть в образ мыслей московской партии», обвинял «Современник», и больше всего Белинского, «в искажении образа мыслей противников»: «Может быть, в Петербурге это покажется странным, но конечно московские ученые, не разделяющие нашего образа мыслей, согласятся в том, что так называемым славянофилам приписывали то, чего они никогда не говорили и не думали, что большая часть обвинений, например в желании воскресить отжившее, вовсе к ним не шли, и что вообще, во всем этом деле, со стороны Петербурга замечалось какое-то недоразумение, умышленное или неумышленное...» (I, 28—30).

[40] Мимо внимания специалистов по истории русской общественной мысли XIX в. прошла содержательная работа Ю. С. Сорокина «Развитие словарного состава русского литературного языка в 30—90-е годы XIX века» (М.—Л., 1965). В ней собран ценнейший материал по терминологии русской общественной мысли и общественного движения. Наблюдения Ю. С. Сорокина над употреблением слова «славянофил» Белинским и Герценом (с. 321—326) использованы в работе.

[41] Аксаков И. С. Письма. В 4-х т., т. 1, с. 458; т. 3, с. XIII, 243.

[42] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. В 14-ти т., т. 8, с. 262; т. 11, с. 324; т. 13, с. 326.

[43] Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, 215—216.

[44] ЦГАЛИ, ф. Аксаковых, оп. 5, ед. хр. 50. Имеются часть автографа и полная копия статьи. Датируется статья на основании упоминания в ней журнальных откликов за 1844—1845 гг. В 1848 г. в «Москвитянине» (ч. 2, № 4) под тем же названием была опубликована статья за подписью С. П. Шевырева, где были кратко изложены некоторые положения аксаковской статьи.

[45] Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. 15, Спб., 1901, с. 280.

[46] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. 3, с. 78.

[47] Кошелев А. И. Записки, с. 76, 78.

[48] Погодин М. П. Год в чужих краях, ч. 1, с. 59, 60, 83, 181, 209; ч. 2, с. 51 и др. В документах, не предназначенных для печати, Погодин излагал панславистские идеи полнее и откровеннее. Интересны его «Донесения» 1839 и 1842 гг., поданные министру С. С. Уварову (Погодин М. П. Соч., т. 4. М., 1874, с. 15—69). Общая характеристика славянских взглядов Погодина дана в кн.: Никитин С. А. Славянские комитеты в России в 1858—1876 годах. М., 1960. См. также: Picht U. M. P. Pogodin und die slavische Frage. Kiel, 1966.

[49] Письма к М. П. Погодину из славянских земель (1835—1861), вып. 1, М., 1879 г., с. 60.

[50] Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель, с. 1061.

[51] Аксаков И. С. Письма, т. 1, с. 192.

[52] «Дело Чижова». — ЦГАОР, ф. 109, д. 81, ч. 15, л. 114; Аксаков И. С. Письма, т. 2, с. 147—163; Срезневский В. И. Краткий очерк жизни и деятельности И. И. Срезневского. — В кн.: Памяти И. И. Срезневского, кн. 1. Пг., 1916, с. 24.

[53] «Дело о славянофилах». — ЦГА г. Москвы, ф. 16, оп. 39, ед. хр. 307, т. 2, л. 10.

[54] См.: Сухомлинов М. И. Снятие опалы с славянофилов. — В кн.: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. 2. Спб., 1889, с. 480—481.

[55] Письмо И. Аксакова Е. Ковалевскому. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 19; письмо И. Аксакова Е. И. Елагиной от 24.VIII 1862. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 18.

[56] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. 3, с. 651.

[57] Аксаков И. С. Письма, т. 4, с. 238; Виноградов П. Г. И. В. Киреевский и начало московского славянофильства. — Вопросы философии и психологии, 1892, № 11, с. 102.

[58] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 298.

[59] Миллер О. Ф. Славянство и Европа. Спб., 1877, с. 3—4, 133—134.

[60] Кавелин К. Д. Собр. соч. В 4-х т., т. 3. Спб., 1899, стлб. 1134—1135, 1146, 1163, 1167—1174.

[61] См.: Градовский А. Д. Собр. соч. В 9-ти т., т. 6. Спб., 1901, с. 162, 264—272.

[62] Штиглиц А. Н. Памяти И. С. Аксакова. Спб., 1907, с. 27.

[63] Киреев А. А. Краткое изложение славянофильского учения. Спб., 1896; Аксаков Н. П. Всеславянство. М., 1910, с. 171, 191; и др.

[64] Страхов Н. Н. Жизнь и труды Н. Я. Данилевского. — В кн.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Спб., 1889, с. XXV, XXIX.

[65] Е. Л. [Е. А. Лебедева] Алексей Степанович Хомяков. Спб., 1897, с. 58, 60; Мещерский В. П. Мои воспоминания, ч. 3. Спб., 1912, с. 245.

[66] Безоговорочное употребление термина «славянофил» в исторических работах способно дискредитировать исследование. Недавний пример небрежения терминологией в сочетании с поверхностным пониманием истинного славянофильства дает работа Л. П. Лаптевой, где к «славянофильскому направлению» отнесен А. С. Будилович, по мнению автора, «один из самых реакционных русских ученых и общественных деятелей своего времени», в деятельности которого нашла «логическое завершение» реакционная сторона позднего славянофильства. По крайней мере в одном случае автор неправ: либо славянофильство понято неверно, либо взгляды Будиловича должны быть определены точнее (Лаптева Л. П. Русская историография гуситского движения. М., 1978, с. 91—93). Терминологической точности недостает изданиям, где она особенно важна — библиографическим указателям: Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. М., 1979.

[67] См.: Пыпин А. Н. Указ. соч., с. 234; Ламанский В. И. Изучение славянства и русское народное самосознание. — Журнал министерства народного просвещения, 1867, № 1, 2-я пагинация, с. 146; Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе, кн. 3. Спб., 1890, с. 275.

[68] См.: Пыпин А. Н. Указ. соч., с. 343; Дмитриев-Мамонов Э. А. Славянофилы. — Русский архив, 1873, кн. 2, с. 2489—2490.

[69] Письмо А И. Кошелева от 2 апреля 1880 г. — О минувшем. Спб., 1909, с. 406; Миллер Ор. Основы учения первоначальных славянофилов. — Русская мысль, 1880, № 1, с. 78; № 3, с. 42—43.

[70] Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Спб., 1888, с. 76, 205; Киреев А. А. Славянофильство и национализм. Ответ г. Соловьеву. Спб., 1890. Статья Н. Н. Страхова была напечатана в журнале «Эпоха» (1864, № 6).

[71] Трубецкой С. Н. Собр. соч., т. 1. М., 1907, с. 183; Аксаков Н. П. О старом и новом славянофильстве. — Благовест, 1891, № 22, с. 723; Смирнов В. Д. [Е. А. Соловьев-Андреевич]. Аксаковы. Их жизнь и литературная деятельность. Спб., 1895, с. 85; Е. Л. [Е. А. Лебедева] Алексей Степанович Хомяков, с. 64.

[72] Струве П. Б. На разные темы (1893—1901). Спб., 1902, с. 548; А. Б. [А. И. Богданович] Критические заметки. — Мир божий, 1902, № 8, с. 1—14, 2-я пагинация. А. И. Богданович рассматривал следующие издания: Москва. Сборник литературно-политический, вып. 1. М., 1902; Заря. Русско-славянский сборник, вып. 1. М., 1902. Любопытные образцы «славянофильства»-национализма дают издания: Праздник русского самосознания. Харьков, 1903; Русский праздник в Одессе. Одесса, 1905.

[73] конт [кн. О. Н. Трубецкая]. Заметка. — Русские ведомости, 1905, 29 января; Райский Д. П. И. С. Аксаков о свободе совести, свободе слова и печати. Спб., 1907, с. 81; Эрн Вл. Время славянофильствует. Война, Германия, Европа и Россия. М., 1915.

[74] См.: Чадов М. Д. Славянофилы и народное представительство. Харьков, 1906; Степун Ф. Немецкий романтизм и русское славянофильство. — Русская мысль, 1910, № 2, с. 77; Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II, т. 1. Белград, 1939, с. 248.

[75] Гершензон М. О. Исторические записки (о русском обществе). М., 1910, с. 139; Он же. Предисловие. — В кн.: Киреевский И. В. Полн. собр. соч. В 2-х т., т. 1, с. V; Плеханов Г. В. И. В. Киреевский. — В кн.: Плеханов Г. В. Соч., т. 23, с. 103.

[76] Флоренский П. А. Около Хомякова. Сергиев Посад, 1916, с. 12.

[77] Кожинов В. В. Указ. соч., с. 113—114; Дмитриев С. С. Указ. соч., с. 75—76; Аксаков Н. П. О старом и новом славянофильстве, с. 725, 756.

Глава вторая

[1] Дудзинская Е. А. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983, с. 21.

[2] Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968, с. 397.

[3] Литературные взгляды и творчество славянофилов. М., 1978, с. 5 (автор раздела К. Н. Ломунов). Нашу рецензию на книгу см.: История СССР, 1979, № 4. «Литературному славянофильству» посвящены также следующие работы последних лет: Янковский Ю. З. Из истории русской общественно-литературной мысли 40—50-х годов XIX столетия. Киев, 1972; Он же. Патриаркально-дворянская утопия. М., 1981; Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. М., 1976; Кошелев В. А. Общественно-литературная борьба в России 40-х годов XIX века. Вологда, 1982; Он же. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов (1840—1850-е годы). Л., 1984.

Общественная позиция славянофилов в эпоху падения крепостного права исследовалась в статьях и книгах Е. А. Дудзинской, В. А. Китаева, Ю. И. Герасимовой, В. И. Пороха. Назовем основные работы: Китаев В. А. Из истории идейной борьбы в России в период первой революционной ситуации. И. С. Аксаков в общественном движении начала 60-х годов XIX века. Горький, 1974; Он же. Славянофилы в первые пореформенные годы. — Вопросы истории, 1977, № 6; Герасимова Ю. И. Славянофильский журнал «Сельское благоустройство» и его крестьянская программа. — В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг., т. 7. М., 1978; Она же. Из истории русской печати в период революционной ситуации конца 1850 — начала 1860-х годов. М., 1974; Дудзинская Е. А. Буржуазные тенденции в теории и практике

славянофилов. — Вопросы истории, 1972, № 1; Она же. Славянофилы и историческое право крестьян на землю. — В кн.: Социально-политическое и правовое положение крестьянства в дореволюционной России. Воронеж, 1983; Порох В. И. И. С. Аксаков — редактор «Дня». — В кн.: Освободительное движение в России, 1975, вып. 5.

[4] Милюков П. Н. Славянофильство. — Энциклопедический словарь Брокгауза, т. 30. Спб., 1900, с. 308; Завитневич В. З. Русские славянофилы и их значение в деле уяснения идей народности и самобытности. Киев, 1915, с. 24.

[5] См.: Дмитриев С. С. Славянофилы и славянофильство. — Историк-марксист, 1941, № 1, с. 87. Формальное значение имеет уточнение Э. Мюллера, который нашел славянофильское умонастроение в повести И. Киреевского «Остров» (1838) (Müller E. Russischer Intellekt in europäischer Krise. Ivan V. Kireevskij. Köln, 1966, s. 25).

[6] Письмо К. Аксакова И. Аксакову от 1.XII 1845. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 3, ед. хр. 8; Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 233; Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 9, с. 401.

[7] См.: Андреев П. Раннее славянофильство. Смоленск, 1932, с. 103; см. также: Михайлов А. А. Революция 1848 года и славянофильство. — Учен. зап. Ленинград. ун-та, 1941, вып. 8, № 73; Нифонтов А. С. Россия в 1848 г. М., 1949.

[8] Дмитриев С. С. Указ. соч., с. 87.

[9] Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. Спб., 1884, с. 278.

[10] Аксаков К. С. О Карамзине. — Русская литература, 1977, № 3, с. 107; Молва, 1857, № 1, с. 5.

[11] Письмо И. Аксакова А. Д. Блудовой от 19.VI 1861. — ЦГАЛИ, ф. Блудовых, оп. 2, ед. хр. 12.

[12] Ламанский В. И. Изучение славянства и русское народное самосознание. — Журнал министерства народного просвещения, 1867, № 1, с. 137 (2-я пагинация). Особый интерес к поискам предшественников славянофильства проявляли его «продолжатели». М. М. Бородкин к предшественникам славянофилов отнес едва ли не всех писателей XVIII в. — от А. Д. Кантемира и М. В. Ломоносова до Д. И. Фонвизина, А. Н. Радищева, И. А. Крылова и Н. И. Новикова (Бор[одк]ин Мих. Происхождение славянофильства. Спб., 1891). Н. П. Аксаков назвал труды Н. М. Карамзина «фундаментом славянофильства», а А. С. Пушкина — «предтечею славянофильства» (Благовест, 1891, № 23, с. 748—753).

[13] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 37.

[14] Литературные взгляды и творчество славянофилов, с. 40—41; Сыромятников Б. И. Славянофильство. — В кн.: Книга по истории нового времени. М., 1915, с. 291.

[15] Ленинский сборник, т. 5. М., 1926, с. 67.

[16] Овсянико-Куликовский Д. Н. История русской интеллигенции, ч. 1. М., 1907, с. 50.

[17] Дружинин Н. М. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933, с. 84—85.

[18] Кошелев А. И. Записки (1812—1883). Berlin, 1884, с. 12—13. К. Ф. Рылеев и Е. П. Оболенский зимой 1824/25 г. были в Москве в разное время. Кошелев, видимо, участвовал не в одной доверительной беседе с декабристами (см.: Погодин М. П. Воспоминания о Веневитинове. — В кн.: Веневитинов Д. В. Полн. собр. соч. М.—Л., 1934, с. 263—264). Членами тайного «Общества любомудрия» Кошелев называет В. Ф. Одоевского, Д. В. Веневитинова, И. В. Киреевского, Н. М. Рожалина и себя. Погодин указывает также кн. П. Д. Черкасского и А. С. Норова. Новейший свод данных о А. С. Норове дан в статье М. Д. Эльзона «Кем переведено "Философическое письмо"?» (Русская литература, 1982, № 1). М. Д. Эльзон полагает, что перевод первого «Философического письма» Чаадаева сделал А. С. Норов. О П. Д. Черкасском (1799—1852) со слов Погодина известно, что в конце зимы 1825 г. он покинул Москву, и собрания общества, первоначально проходившие у него, стали проводиться в доме В. Ф. Одоевского. П. Д. Черкасский был также членом «Практического союза», примыкавшего к московской управе Северного общества декабристов (см.: Чулков Н. П. Москва и декабристы. — В кн.: Декабристы и их

время. М., 1932, с. 308). Можно высказать предположение, что П. Д. Черкасский осуществлял организационную связь «Общества любомудрия» и прямо декабристского «Практического союза». В последние годы жизни П. Д. Черкасский был симбирским губернатором, под его началом некоторое время служил Ю. Ф. Самарин. Последний писал К. Аксакову: «Князь Черкасский — благородный, умный, прекраснейший человек... Вся губерния сознается, что такого губернатора до сих пор не бывало. Он изучал добросовестно и специально хозяйственный быт России, торговые пути наши, он знает то, чего у нас почти никто и не подозревает, и потому разговор его чрезвычайно поучителен. Но более всего ценю я в нем глубокое уважение к человеческому достоинству, к искреннему убеждению, к правам мысли вообще». Для Самарина, строго судившего о людях, отзыв необычен. В другом письме (А. Попову, ноябрь 1849 г.) Самарин раскрыл заветные планы губернатора: «Намерение князя Черкасского, над которым мы с вами смеялись, — пробудить в крае участие к местным интересам — легко может осуществиться. Вопрос об эмансипации занимает многих» (XII, 207—208, 302). В недавней работе З. А. Каменского «Московский кружок любомудров» (М., 1980) согласно давней историко-литературной традиции «Общество любомудрия» и веневитиновский кружок отождествлены.

[19] См.: Завитневич В. З. А. С. Хомяков, т. 1, кн. 1. Киев, 1902, с. 93—94. Хомяков был близок к редакции «Полярной звезды», где появилось его стихотворение «Желание покоя». Биограф Д. В. Веневитинова писал: «Мы решительно не знаем: в каких отношениях находился наш поэт к А. С. Хомякову» (Пятковский А. П. Из истории нашего литературного и общественного развития, ч. 2. Спб., 1888, с. 314 (примеч.)). Сближение Хомякова с веневитиновским кружком произошло в 1826 г., по его возвращении из-за границы. Рождение журнала «Московский вестник» было отпраздновано торжественным обедом в доме Хомякова, на котором присутствовали А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский, А. Мицкевич, Д. В. и А. В. Веневитиновы, С. Е. Раич, И. В. и П. В. Киреевские, С. П Шевырев, В. П. Титов, М. П. Погодин, Ф. С. и А. С. Хомяковы и др.

[20] См.: Кошелев А. И. Записки, с. 14—17. Слова П. Н. Сакулина, сказанные об В. Ф. Одоевском, «любомудрие спасло его от политики», — формула очень неточная в отношении «Общества любомудрия» (см.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель, т. 1, ч. 1. М., 1913, с. 307). Ср. высказывание Д. Д. Благого: «Общество любомудров» было первым русским философским кружком, члены которого объединились на почве увлечения новейшей немецкой философией, в особенности философской системой Шеллинга» (Благой Д. Д. Подлинный Веневитинов. — В кн.: Веневитинов Д. В. Полн. собр. соч., с. 11).

[21] Пятковский А. П. Князь В. Ф. Одоевский и Д. В. Веневитинов. Спб., 1901, с. 127; Колюпанов Н. П. Биография А. И. Кошелева, т. 1, кн. 2. М., 1889, с. 72.

[22] Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967, с. 73; записка М. Я. фон Фока. — Русская старина, 1902, № 1, с. 34.

[23] См.: Киреевский П. Курс греческой новейшей литературы, читанный в Женеве Яковаки Ризо Нерулосом. — Московский вестник, 1827, ч. 4, № 13—14, отдел «Критика», с. 89, 288; Он же. Современное состояние Испании. — Европеец, 1832, № 2, с. 238. Заметка о сен-симонистах. — Литературное наследство, т. 79, с. 33—38. Идеализация социальных отношений «вольной Греции» отразилась в неоконченной повести И. В. Киреевского «Остров» (1838). Поборником греческой свободы был молодой Хомяков.

[24] Кошелев А. И. Записки, с. 39.

[25] Цит. по кн.: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826—1855. Б. м., 1908, с. 73. Донос, по которому был запрещен «Европеец»: Фризман Л. Г. К истории журнала «Европеец». — Русская литература, 1967, № 2. Цензор журнала С. Т. Аксаков был отставлен. «Европеец» впервые свел Киреевских и Аксаковых.

[26] Плеханов Г. В. Соч., т. 23, с. 9.

[27] Восстание декабристов, т. 4. М.—Л., 1927, с. 105. Подробнее см.: Волк С. С. Исторические взгляды декабристов. М.—Л., 1958.

[28] Погодин М. П. Историко-критические отрывки, ч. 1. М., 1846, с. 3—4.

[29] С. Ш. [Шевырев С. П.]. Обозрение русской словесности за 1827 год. — Московский вестник, 1828, ч. 7, № 1, Критика, с. 64.

[30] Письма П. В. Киреевского к Н. М. Языкову. М.—Л., 1935, с. 43; Чаадаев П. Я. Сочинения и письма. В 2-х т., т. 2. М., 1914, с. 112; Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М., 1962—1966, т. 10, с. 596 (русский перевод — с. 874).

[31] См.: Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975, с. 147—149. В 1830—1840-е годы мысль об особом характере русского исторического развития не была привилегией славянофилов. В 1846 г. В. Г. Белинский писал: «Россию нечего сравнивать с старыми государствами Европы, которых история шла диаметрально противоположно нашей и давно уже дала и цвет и плод» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 10, с. 20). К официальным фразам о «гниении» Запада и славянофилы, и западники относились с презрением.

[32] См.: Надеждин Н. И. Европеизм и народность в отношении к русской словесности. — Телескоп, 1836, № 1—2. В. С. Нечаева писала: «Появление статьи Чаадаева на страницах «Телескопа» было закономерным и многое в ней оказалось близким и отвечающим основным идеям Надеждина» (Нечаева В. С. В. Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». Л., 1954, с. 401). Приняв вывод Нечаевой, мы должны невысоко оценить нравственные качества редактора «Телескопа».

[33] См.: Сакулин П. Н. Указ. соч., т. 1, ч. 1, с. 336—338. В проповеди восточной неподвижности В. П. Титов и К. Н. Леонтьев оставались утонченными европейцами. О Леонтьеве точно сказал С. Н. Булгаков: «Леонтьев не только не славянофил, но, вопреки всей своей ненависти к Европе, и даже именно в этой ненависти, он европеец, и его нельзя понять вне этого духовного, существенного европеизма» (Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1918, с. 118—119).

[34] См.: Колюпанов Н. П. Указ. соч., т. 1, кн. 1, с. 232.

[35] Русь, 1886, № 32, с. 2; Арсеньев К. К. М. Н. Катков. — Вестник Европы, 1887, № 9, с. 335; Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений от 20-х до 50-х годов. Изд. 2-е. Спб., 1890, с. 245 (примеч.); Дмитриев С. С. Указ. соч., с. 89.

[36] Михайловский Н. К. Литература и жизнь. — Русская мысль, 1892, № 9, с. 160; Кошелев В. А. Общественно-литературная борьба в России..., с. 46; Он же. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов..., с. 54; Литературные взгляды и творчество славянофилов, с. 63, 166.

[37] Дмитриев С. С. Указ. соч., с. 89; Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1960, с. 100 (автор раздела В. Е. Иллерицкий); Машинский С. И. Славянофильство и его истолкователи. — Вопросы литературы, 1969, № 12, с. 103, 126.

[38] Исторический вестник, 1886, т. 25, с. 571—572.

[39] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 422.

[40] Флоренский П. А. Около Хомякова. Сергиев Посад, 1916, с. 42. К книге приложена полезная таблица родственных связей ранних славянофилов.

[41] Т. Н. Грановский и его переписка, т. 2. М., 1897, с. 370; Колюпанов Н. П. Указ. соч., т. 1, кн. 2, с. 166.

[42] Т. Н. Грановский и его переписка, т. 2, с. 382; Буслаев Ф. И. Мои воспоминания. М., 1897, с. 293.

[43] Письмо О. С. Аксаковой И. С. Аксакову от 3.X 1860. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 3, ед. хр. 39; Аксаков И. С. Письма, т. 4. Спб., 1896, с. 83.

[44] Письма И. Аксакова: Кошелеву от 7.X 1860. — ЦГАЛИ, ф. Аксаковых, оп. 1, ед. хр. 157; Ю. Самарину от 12.I 1861. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 48; Е. А. Черкасской 6.II 1861. — ЦГАЛИ, ф. Аксаковых, оп. 1, ед. хр. 167.

[45] Письмо Ю. Самарина И. Аксакову от 22.VI 1861. — ГБЛ, ф. Самариных, 140, 1; письма В. А. Черкасского И. Аксакову от 13.X 1861, два письма б. д. — XII 1861 и I 1862. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 4, ед. хр. 672; письма И. Аксакова Черкасскому от 23.XI и 14.XII 1861. — ЦГАЛИ, ф. Аксаковых, оп. 1, ед. хр. 168.

[46] Письма И. Аксакова: Г. Аксакову от 2.I 1862. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 16, ед. хр. 15; Н. Страхову от 6.VII 1863. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 55. Ведущего критика почвеннических журналов Ап. Григорьева Хомяков в 1856 г. признавал «решительным славянофилом», но его сотрудничество в петербургских журналах оценивал негативно: «Не выдумали ли петербургские политики, что так как уж нельзя избавиться от славянофильства, так нельзя ли сделать свое, ручное, в противоположность нашему, дикому?» (VIII, 292).

[47] Молва, 1857, № 5, с. 57; «Дневник Чижова» (запись от 18.V 1864). — ГБЛ, ф. Чижова, 2, 10; письмо В. Елагина И. Аксакову от 19.V 1865. — ГБЛ, ф. Елагиных, 4, 31.

[48] Письмо И. Аксакова Ю. Самарину от 31.V 1864. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 48; письма Ю. Самарина: И. Аксакову от 10.VI 1864. — ГБЛ, ф. Самариных, 140, 1; Е. Черкасской от 14.VI 1864. — ГБЛ, ф. Самариных, 145, 12(1). Подробнее о распаде славянофильского кружка в годы польского восстания см.: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978, с. 107—113.

[49] Письмо Ю. Самарина Е. Черкасской от 30.III 1866. — ГБЛ, ф. Самариных, 145, 12(2).

[50] Письма Ф. Чижова И. Аксакову б. д., осень 1865 и от 25.IV 1866. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 4, ед. хр. 675. В письме от 28.IV 1866 Чижов подвел итог изданию «Дня»: «День» был памятью о славянофильстве, еженедельными поминками славянофильства, но никак не чисто славянофильским органом» (там же). Письмо Ю. Самарина И. Аксакову от 15.X 1865. — ГБЛ, ф. Самариных, 140, 1.

[51] Письмо Ю. Самарина Е. Черкасской от 15.IX 1865. — ГБЛ, ф. Самариных, 145, 12(2); письмо В. Черкасского Ю. Самарину от 11.XI. 1867. — ГБЛ, ф. Черкасских/II, 3, 23.

[52] Письма И. Аксакова: Ю. Самарину от 30.VI 1869 и 28.VI 1872. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 48; Д. Оболенскому от 7.XII 1869. — Там же, оп. 2, ед. хр. 30.

[53] Письма И. Аксакова: А. Суворину от 15.VIII 1872. — ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 52; Ю. Самарину от 14.IV 1873 — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 48.

[54] Письмо Е. И. Елагиной П. Бартеневу от 28.III 1873. — ЦГАЛИ, ф. 46, оп. 1, ед. хр. 565; письма И. Аксакова: Бартеневу от 18.IX, 15.X и 27.X 1873.— Там же; Ю. Самарину от 15.X 1873. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 48; письмо Ю. Самарина И. Аксакову б. д., ноябрь 1873. — ГБЛ, ф. Самариных, 38,2. Подробное изложение обстоятельств спора с Аксаковым — в письмах Э. А. Дмитриева-Мамонова Е. И. и В. А. Елагиным. — ГБЛ, ф. Елагиных, 4, 30.

[55] Русский архив, 1873, кн. 2, с. 2489—2521; письмо Дмитриева-Мамонова В. Елагину от 21.IV 1876. — ГБЛ, ф. Елагиных, 4, 27. Попытка самого Дмитриева-Мамонова вписать новую страницу в «раскрытую книгу» славянофильства осталась незамеченной (см. его статью «Наука и предание». — Отечественные записки, 1875, № 8). В архиве Елагиных хранятся варианты статьи, где Дмитриев-Мамонов негодует по поводу «иезуитов московских», которые подняли бурю «за то, что я дерзнул взглянуть на их дело, как на неоконченное» (ГБЛ, ф. Елагиных, 16, 7).

[56] ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 1, ед. хр. 63.

[57] См.: Милюков П. Н. Указ. соч., с. 307—314.

[58] Дмитриев С. С. Указ. соч., с. 88—89; Цаголов Н. А. Очерки русской экономической мысли периода падения крепостного права. М., 1956, с. 217.

[59] Кошелев В. А. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов. Л., 1984, с. 53—54.

[60] Письмо И. Аксакова Кошелеву от 5.VII 1872. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 20; Кошелев А. И. Записки, с. 199—200, 206—207. Помимо Кошелева и Юрьева в «Беседе» печатались И. Аксаков, В. Елагин. Журнал был закрыт после конфискации и сожжения двух номеров. Подробнее о взаимоотношении славянофилов с московской буржуазией, об истории адреса 1870 г. см.: Цимбаев Н. И. Указ. соч., с. 161—166.

[61] О Данилевском существует огромная литература, в основном зарубеж-

ная. Большая часть современных буржуазных авторов придерживается взглядов, изложенных в книге: Mac Master B. Danilevskij: A Russian totalitarian philosopher. Cambridge (Mass.), 1967. Концепцию Мак-Мастера, суть которой отражена в названии книги, нельзя признать удовлетворительной.

[62] Аксаков И. С. Биография Ф. И. Тютчева. М., 1886, с. 62; письмо Р. Фадеева И. Аксакову б. д., 1874. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 4, ед. хр. 639; Аксаков И. С. Соч. В 7-ми т., т. 7, с. 730. Для сравнения укажем, что книга Р. А. Фадеева «Русское общество в настоящем и будущем (чем нам быть)» (Спб., 1874) вызвала резкую отповедь Ю. Самарина (см.: Самарин Ю. Ф., Дмитриев Ф. М. Революционный консерватизм. Berlin, 1875).

[63] Кошелев А. И. Записки, с. 250.

[64] Миллер О. Ф. Учение первоначальных славянофилов. — Русская мысль, 1880, № 1, с. 79; Горшков А. Пасынки русской истории. — Русское богатство, 1880, № 12, с. 12; Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе, кн. 1. Спб., 1887, с. 466; Бестужев-Рюмин К. Н. Рецензия. — Журнал министерства народного просвещения, 1893, № 5, с. 240 (3-я пагинация); Завитневич В. З. Указ. соч., т. 1, кн. 1, с. III.

[65] Слова С. Т. Аксакова о «молчании Москвы» сказаны в 1840 г. (Литературное наследство, т. 56, М., 1956, с. 145). После закрытия «Европейца» о том же писал И. Киреевскому Е. А. Баратынский: «Что делать! будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным» (Татеевский сборник. Спб., 1899, с. 65); Письмо С. Т. Аксакова М. Погодину от 16.I 1853. — ГБЛ, ф. Погодина/II, 1, 59; письмо И. Киреевского Погодину, 1847 г. — ГБЛ, ф. Погодина/II, 15, 3912; письмо И. Аксакова Кошелеву от 19.IX 1854. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 20.

[66] Классический пример искажения славянофильства, смешения его с национализмом и «славянолюбием» дал В. С. Соловьев. В 1889 г. он писал М. М. Стасюлевичу: «На мой взгляд, старое славянофильство было смешением нескольких разнородных элементов, и главным образом, трех: византизма, либерализма и брюшного патриотизма. В нынешнем quasi-славянофильстве каждый из этих элементов выделился и гуляет сам по себе, как нос майора Ковалева. Византийский элемент нашел себе проповедников в Т. Филиппове и К. Леонтьеве, либеральный — в О. Миллере и особенно в проф. Ламанском, у которого от славянофильства осталось только одно звание; наконец, брюшной патриотизм, освобожденный от всякой идейной примеси, широко разлился по всем нашим низинам, а из писателей — индивидуальным представителем его выступил мой друг Страхов, который головою всецело принадлежит к «гнилому Западу» и лишь живот возлагает на алтарь отечества» (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. 5. Спб., 1913, с. 346).

[67] В приложении к кн. Э. Мюллера напечатана (на русском языке) «Записка о направлении и методах первоначального образования народа в России» (Müller E. Op. cit.; см. также: Müller E. Das Tagebuch I. V. Kireevskijs. 1852—1854. — Jahrbuch für Geschichte Osteuropas. Wiesbaden, 1966, Bd 14).

[68] Письма И. Аксакова: А. Блудовой от 15.I 1862. — ГПБ, ф. 78, ед. хр. 22; Г. Галагану от 23.VIII 1878. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 11.

[69] Письмо И. Аксакова Ю. Самарину б. д., IX 1861. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 48; Ш[аховской] Н. В., Н. П. Гиляров-Платонов и А. С. Хомяков. — Русское обозрение, 1895, № 11, с. 23—25.

[70] Часть писем И. Аксакова за 1844—1860 гг. была издана А. Ф. и О. Г. Аксаковыми (Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. 1—4. М. — Спб., 1888—1896). В письмах сделаны купюры, никак не оговоренные.

[71] В издании сочинений Ю. Самарина не вышел том 11. В т. 12 вошли письма Самарина до 1853 г. Полностью подготовленные к изданию письма следующих лет остаются в архиве.

[72] Письмо Ю. Самарина Кошелеву от 26.X 1858. — ГБЛ, ф. Самариных, 32, 4; в издании О. Н. Трубецкой — т. 1, кн. 1, с. 212—214. Славянофилы придавали переписке исключительное значение. В конце 1870-х годов И. Аксаков думал издать за границей переписку Хомякова, К. Аксакова и Ю. Самарина со своим предисловием и примечаниями: письмо к А. Н. Бахметьевой от 17.I 1879. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 5. В литературном наследии сла-

вянофилов есть потери, по-видимому, невосполнимые. Неизвестна судьба архива Д. Валуева, утеряна большая часть архива Кошелева, в 1885 г. сгорели все бумаги Н. П. Гилярова-Платонова. В 1831 г. в Московской конторе дилижансов сгорели бумаги Н. М. Рожалина, интересные для предыстории славянофильства.

[73] Гегель Г. Работы разных лет, т. 2. М., 1973, с. 407.

[74] Письмо Ю. Самарина И. Аксакову от 5.IX 1875. — ГБЛ, ф. Самариных, 140, 1. Н. Рязановский показал сходство идей хомяковской «Семирамиды» и философии истории Ф. Шлегеля (Riasanovsky N. Russia and the West in the teaching of the Slavophiles. Cambridge (Mass.), 1952, p. 217—220).

[75] Шаховской Н. Н. П. Гиляров-Платонов и К. С. Аксаков. — Русское обозрение, 1895, № 12, с. 511—512.

[76] См.: Холодный В. И. Славянофильство — разновидность зачаточного теоретического антикоммунизма в России середины XIX в. — В кн.: Молодые ученые и специалисты Томской области в 9-й пятилетке. Томск, 1975.

[77] См.: Аксаков Н. П. Указ. соч., с. 725; Бердяев Н. А. А. С. Хомяков. М., 1912, с. 9; письмо Кошелева Черкасскому от 4.VII 1853. — ГБЛ, ф. Черкасских/II, 9, 33.

[78] Гершензон М. О. Исторические записки (о русском обществе). М., 1910, с. 137.

[79] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 19, с. 168.

[80] Трубецкой С. Н. Собр. соч., т. 1. М., 1907, с. 176, 228; Страхов Н. Н. Указ. соч., кн. 3. Спб., 1896, с. 294.

[81] См.: Янковский Ю. З. Патриархально-дворянская утопия, с. 18; Попов В. П. Социальная природа и функции раннего славянофильства. — В кн.: Проблемы гуманизма в русской философии. Краснодар, 1974.

[82] Молва, 1857, № 6, с. 80; статья К. Аксакова «Отголоски о новом происхождении имени славян и славянофилов». — ЦГАЛИ, ф. Аксаковых, оп. 5, ед. хр. 50. Анненков П. В. Указ. соч., с. 241.

[83] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 520.

[84] Колюпанов Н. П. Указ. соч., т. 1, кн. 2, с. 169.

[85] См.: Янковский Ю. З. Патриархально-дворянская утопия, с. 6—8, 27; в работе 1972 г. Янковский писал о «явном реакционно-утопическом оттенке» (с. 21); Кошелев В. А. Общественно-литературная борьба.., с. 51—54; Он же. Эстетические и литературные воззрения.., с. 12—16. Подробнее о новейшей литературе по истории славянофильства см.: Кошелев В. А. Новые работы о русском славянофильстве. — Русская литература, 1979, № 1; Носов С. Н. Новые тенденции и старые проблемы (Обзор новейшей советской литературы о славянофильстве). — Русская литература, 1984, № 2; Ivantyšynová T. Sovietska historiografia o problemoch slavianofilstva. — Sloviansky studie. Historia, 15, 1973.

[86] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 178.

Глава третья

[1] Дмитриев С. С. Славянофилы и славянофильство. — Историк-марксист, 1941, № 1, с. 90.

[2] Кавелин К. Д. Собр. соч., т. 3, стлб. 1145; Чичерин Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 225; Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. Спб., 1873, с. 336—340.

[3] Дмитриев С. С. Экономические воззрения славянофилов (рукопись кандидатской диссертации). М., 1940, с. 409.

[4] См.: Линицкий П. Славянофильство и либерализм. Опыт систематического обозрения того и другого. Киев, 1882, с. 1. См. рецензию на эту книгу: Смирнов Ф. И. Богословское учение славянофилов пред судом проф. Линицкого. — Православное обозрение, 1883, № 10. Рецензент уличал П. Линицкого в протестантском взгляде на славянофильство. Ответ П. Линицкого: По поводу защиты славянофильства в «Православном обозрении». — Труды Киевской духовной академии, 1884, № 1; Чадов М. Д. Славянофилы и народ-

ное представительство. (Политическое учение славянофильства в прошлом и настоящем). Харьков, 1906, с. 13, 22—23; Андрианов А. А. Политические взгляды славянофилов. — В кн.: Из истории борьбы трудящихся европейского Севера против самодержавия и капитализма за победу социалистической революции. Вологда, 1972.

[5] Письмо И. Аксакова от 20.VIII 1881. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 20; Кошелев А. И. Записки (1812—1883 годы). Berlin, 1884, с. 250. И. Аксаков постоянно критиковал брошюры Кошелева, которые тот печатал за границей, в Берлине; Градовский А. Д. Собр. соч., т. 6, с. 265—266.

[6] Шарапов С. Ф. Предисловие. — В кн.: Теория государства у славянофилов. Спб., 1898, с. 3. С. Ф. Шарапов, беспринципный журналист, довольно характерная среди «продолжателей» славянофильства фигура. Любопытно его признание в письме И. Аксакову от 29 марта 1885 г.: «Относительно передачи мне «Руси» Вы улыбались, улыбаюсь теперь и я. Да, Вы правы. Хомякова я не читал, остальных вождей славянофильства отчасти читал, отчасти знаю понаслышке» (ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 4, ед. хр. 686).

[7] Градовский А. Д. Собр. соч., т. 6, с. 413.

[8] Головачев А. А. Наш экономический недуг. — Русская мысль, 1881, № 9, с. 356. Об отношении редакции «Русской мысли» к аксаковской газете «Русь» см. любопытную записку, поданную редакцией в цензуру в 1885 г., с обзором деятельности журнала за пять лет (Есин Б. И. К характеристике журнала «Русская мысль» в 1880—1885 гг. — В кн.: Из истории русской журналистики. М., 1959).

[9] Письмо к Е. Ф. Тютчевой, лето 1881. — ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, ед. хр. 186; письмо Г. П. Галагану от 23.IX 1880. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 11.

[10] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 46.

[11] ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 27.

[12] Письмо В. Пуцыковичу от 22.VIII 1881. — ЦГАЛИ, ф. Аксаковых, оп. 1, ед. хр. 161.

[13] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 46.

[14] Журнал заседаний московского цензурного комитета, запись от 24.IV 1881. — ЦГА г. Москвы, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2172, л. 171—175 об.; Леонтьев К. Н. Автобиография. — Литературное наследство, т. 22—24. М., 1935, с. 446.

[15] Русь, 1881, 9 мая, № 26.

[16] Подробнее об оценке «Записки» К. С. Аксакова в историографии см.: Цимбаев Н. И. Записка К. С. Аксакова «О внутреннем состоянии России» и ее место в идеологии славянофильства. — Вестн. Моск. ун-та, сер. История, 1972, № 2, с. 48—51.

[17] Соловьев В. С. Из истории русского сознания. — Вестник Европы, 1889, № 6, с. 735; № 11, с. 378—381; Самарин Д. Ф. Поборник вселенской правды. Спб., 1890.

[18] Трубецкой С. Н. Собр. соч., т. 1, с. 178—179; Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. 14, с. 347; Дмитриев С. С. Подход должен быть конкретно-исторический. — Русская литература, 1969, № 12.

[19] Дмитриев С. С. Экономические воззрения славянофилов, с. 410; Смирнова З. В. Социальная философия А. И. Герцена. М., 1973, с. 214, 227.

[20] Примечание П. И. Бартенева к письму С. А. Хомякова сыну: Хомяков А. С. Соч. В 8-ми т., т. 8, прилож., с. 3. П. И. Бартенев почти повторил мысль воспоминаний А. И. Кошелева: «Я знал Хомякова 37 лет, и основные его убеждения 1823 года остались те же и в 1860 году» (Хомяков А. С. Соч., т. 8, с. 129). «У Хомякова не было или почти не было изменения взглядов» (Флоренский П. А. Около Хомякова. Сергиев Посад, 1916, с. 7 (в тексте П. А. Флоренского опечатка)).

[21] Christoff P. An introduction to nineteenth-century Russian slavophilism: A study in ideas, vol. 1, A. S. Khomiakov. Mouton, 1970, p. 8.

[22] Бороздин А. К. Литературные характеристики. Девятнадцатый век, т. 2, вып. 1. Спб., 1905, с. 166.

[23] Чичерин Б. Н. Указ. соч., с. 225; Венгеров С. А. Передовой боец славянофильства. Константин Аксаков. — В кн.: Венгеров С. А. Собр. соч.,

т. 3. Спб., 1912, с. 207; Струве П. Б. На разные темы (1893—1901). Спб., 1902, с. 547; Витте С. Ю. Самодержавие и земство. Спб., 1908, с. 134—135.

[24] Дмитриев С. С. Славянофилы и славянофильство, с. 95; Дудзинская Е. А. Буржуазные тенденции в теории и практике славянофилов. — Вопросы истории, 1972, № 1; Она же. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983, с. 8.

[25] Walicki A. W kręgu konserwatywnej utopii. Warszawa, 1964, s. 207.

[26] Трубецкой С. Н. Собр. соч., т. 1, с. 214.

[27] Бродский Н. Л. Славянофилы и их учение. — В кн.: Ранние славянофилы. М., 1910, с. LIV; Бердяев Н. А. А. С. Хомяков. М., 1912, с. 185—186; Riasanovsky N. Russia and the West in the teaching of the Slavophiles: A study of romantic ideology. Cambridge (Mass.), 1952, p. 149. См. также: Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Историко-социологические взгляды К. С. Аксакова. — Вестн. Ленингр. ун-та, сер. Экономика. Философия. Право, 1965, вып. 3, № 17, с. 72. Наша точка зрения изложена в указанной выше статье о «Записке» К. С. Аксакова.

[28] Миллер О. Ф. Основы учения первоначальных славянофилов. — Русская мысль, 1880, № 1, 3; Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе, кн. 3. Спб., 1896, с. 165—166; Васильев А. В. Задачи и стремления славянофильства. Пг., 1904, с. 24.

[29] Бердяев Н. А. Указ. соч., с. 191, 195, 203; Он же. Идеи и жизнь Хомякова и свящ. П. Флоренский. — Русская мысль, 1917, № 2, с. 78; Венгеров С. А. Указ. соч., с. 192.

[30] Дементьев А. Г. Очерки по истории русской журналистики 1840—1850-х гг. М.—Л., 1951, с. 364.

[31] Флоренский П. А. Указ. соч., с. 16. Пояснение, которое П. А. Флоренский счел нужным дать, раскрывает его формально-логический подход к хомяковским текстам: «Предписывать царю свои требования, хотя бы они сводились к требованию самодержавия царского, — это значит отрицать самодержавие».

[32] Отзыв С. Г. Строганова о славянофилах приведен в примечании к письмам Хомякова: Хомяков А. С. Соч., т. 8, с. 192. «Дело Чижова». — ЦГАОР, ф. 109, д. 81, ч. 15, л. 73; Никитенко А. В. Дневник, т. 1. Л., 1955, с. 305—306.

[33] Никитенко А. В. Дневник, т. 1, с. 329.

[34] «Дело о славянофилах». — ЦГА г. Москвы, ф. 16, оп. 39, д. 307, т. 1, л. 1—2 об.; т. 2, л. 2—2 об.; Аксаков И. С. Письма, т. 2. М., 1888, с. 147—163.

[35] ЦГА г. Москвы, ф. 16, оп. 39, д. 307, т. 2, л. 3—13 об., 19—25 об. Материалы по цензурной истории «Московского сборника» собраны в кн.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 12. Спб., 1898, с. 109—147.

[36] Рейфман П. С. К истории славянофильской журналистики 1840—1850-х годов. (Статья вторая). — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 491. Тарту, 1979, с. 56—58; Лемке М. К. Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов. Спб., 1903, с. 270.

[37] Подробнее о взаимоотношениях славянофилов с властями и цензурой см.: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978, гл. 2—4. Направление «Молвы» кроме работ П. С. Рейфмана освещено в статье: Цимбаев Н. И. Газета «Молва» 1857 года (из истории славянофильской периодики). — Вестн. Моск. ун-та, сер. История, 1984, № 6.

[38] Письмо Ю. Самарина (авторская копия). — ГБЛ, ф. Самариных, 140, 1; Донесение М. П. Щербинина. — ЦГИА, ф. 772, оп. 1, ед. хр. 5847, л. 1.

[39] Письма И. Аксакова: В. Елагину от 30.VI 1863. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 17; Ю. Самарину от 5.V 1863. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 48; письмо Ю. Самарина А. Герцену от 8.VIII 1864. — ГБЛ, ф. Самариных, 39, 3. Напечатано в газете «Русь», 1883, № 1.

[40] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 32.

[41] Дмитриев-Мамонов Э. А. Славянофилы. — Русский архив, 1873, кн. 2, стлб. 2491, 2495; Аксаков И. А. Ответ Дмитриеву-Мамонову. — Там же, стлб. 2510.

[42] Дневник Елизаветы Ивановны Поповой. Спб., 1911, с. 29.

[43] Аксаков И. С. Письма, т. I, с. 116—118. Отношение славянофилов к Н. В. Гоголю — тема, имеющая большой историко-культурный интерес. Из работ последнего времени, ей посвященных, отметим: Анненкова Е. И. Гоголь и Аксаковы. Л., 1983.

[44] Письмо от 24.IX 1862. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 4, ед. хр. 203.

[45] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 12, с. 69—71.

[46] См.: Нольде Б. Э. Юрий Самарин и его время. Paris, 1926; Müller E. Lorenz von Stein und Jurij Samarins Vision des absoluten Sozialistaates.— Jahrbuch für Geschichte Osteuropas, Neue Folge, 1967, Bd 15.

[47] В письме Кошелеву И. Аксаков противопоставлял Фр. Листа, оказавшего значительное влияние на развитие экономических воззрений славянофилов, Ф. Бастиа, которого считал «умнее в тысячу раз Листа». Он писал: «Честь и слава западнику, который, несмотря на всю ложь, проникшую Запад до костей, — слышит эту ложь, чует истину, бьется бедный, как рыба об лед, — кажется, иногда и поймает истину, но — будучи западником и не зная России, обязанный поневоле теоретизировать, — выпускает иногда опять истину из рук». Мысли Бастиа, по мнению Аксакова, замечательны «по простоте, оригинальности взгляда, по множеству здравого смысла, резко рассекающего туман, который мы добровольно напустили себе в глаза, с помощью разных политико-экономических теорий». — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 11, письмо от 22.X 1853; Ю. Самарин в философии Ламеннэ находил «клеймо нации», «ограниченность» и «поверхностные суждения» (из письма К. Аксакову, 1841 г. — XII, 24). Все перечисленные нами французские писатели были хорошо известны славянофилам и не раз ими цитировались. В статье 1847 г. «О мнениях «Современника», исторических и литературных» Самарин конкретизировал ссылку И. Киреевского на западноевропейскую общественную мысль: «...во Франции социальные вопросы выдвинулись на первый план, оставив за собою интересы политические» (I, 83).

[48] См.: Смирнова З. В. Указ. соч., с. 214.

[49] Воспоминания А. С. Хомякова о его спорах с декабристами записаны его дочерью, М. А. Хомяковой, видимо в 1852 г. (см.: Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. М., 1976, с. 28—30).

[50] См.: Михайлов А. А. Революция 1848 года и славянофильство. — Учен. зап. Ленингр. ун-та, сер. Исторические науки, 1941, вып. 8, № 73; Нифонтов А. С. Россия в 1848 году. М., 1949; Дудзинская Е. А. Русские славянофилы и зарубежное славянство. — В кн.: Методологические проблемы истории славистики. М., 1978; Носов С. Н. Важный документ об отношении славянофилов к революции 1848 г. — Вспомогательные исторические дисциплины, вып. 11. Л., 1979.

[51] ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 8, ед. хр. 20.

[52] Там же, ед. хр. 15.

[53] ЦГАЛИ, ф. Аксаковых, оп. 5, ед. хр. 10. В письме брату Григорию в июне 1848 г. К. Аксаков писал, сообщая об отъезде из Москвы брата Ивана: «Как жалею я, что Иван не взял с собою моей статьи «Не сотвори себе кумира (Голос из Москвы)»; эта статья дала бы вам ясное понятие о моих гражданских мыслях». — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 16, ед. хр. 21.

[54] ЦГАЛИ, ф. Аксаковых, оп. 5, ед. хр. 17.

[55] Там же, ед. хр. 11. На автографе К. Аксаков проставил дату: «1849». Статья «Западная Европа и народность» — первая из цикла статей, написанных в 1849—1851 гг. Другие статьи — «Об основных началах русской истории», «О том же», «Русская история для детей», «Краткий исторический очерк земских соборов» — были напечатаны И. Аксаковым в собрании сочинений брата и известны историкам.

[56] Спустя восемь лет К. Аксаков повторил это суждение (Молва, 1857, № 9).

[57] ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 16, ед. хр. 21. Письмо без даты, относится к лету 1849 г. В нем упоминается «война с венграми» и пожар в Симбирске.

[58] ЦГАЛИ, ф. 472, оп. 1, ед. хр. 48. Письмо относится, по-видимому, к концу 1849 — началу 1850 г.

[59] Аксаков К. С. Сочинения исторические, т. 1. М., 1861, с. 296.

[60] Письмо от марта 1855 г. — ГБЛ, ф. Самариных, 140, 2. Подробнее о

неприятии славянофилами теории «негосударственности» см.: Цимбаев Н. И. Записка К. С. Аксакова «О внутреннем состоянии России» и ее место в идеологии славянофильства, с. 52—57.

[61] Кошелев А. И. Записки, прилож., с. 13—14.

[62] Свод высказываний славянофилов по вопросам отмены крепостного права см.: Цаголов Н. А. Очерки русской экономической мысли периода падения крепостного права. М., 1956, гл. 6; Дудзинская Е. А. Славянофилы в общественной борьбе, гл. 1—2.

[63] Киреевский П. В. Письмо к А. И. Кошелеву. — Русский архив, 1873, кн. 2, с. 1345—1346.

[64] Цит. по: Колюпанов Н. П. Биография А. И. Кошелева, т. 2. М., 1892, с. 82—84.

[65] Дмитриев С. С. Славянофилы и славянофильство, с. 95.

[66] См.: Колюпанов Н. П. Указ. соч., т. 2, с. 95—96; Дудзинская Е. А. Славянофилы в общественной борьбе, с. 53—59.

[67] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 530.

[68] Литературное наследство, т. 62, с. 40; Дружинин Н. М. Крестьянская община в оценке А. Гакстгаузена и его русских современников. — Ежегодник германской истории. 1968. М., 1969; Смирнова З. В. Указ. соч., с. 216—223.

[69] Дмитриев С. С. Славянофилы и славянофильство, с. 95; Смирнова З. В. Указ. соч., с. 221; Цаголов Н. А. Указ. соч., с. 234; Нольде Б. Э. Указ. соч., с. 97.

[70] Статья впервые была напечатана в «Русской беседе» (1858, т. 2). Мысль, что внимание к «общинному устройству» произведет «совершенный переворот в политической экономии», была повторена в «Заключительном слове «Русской беседы» (1859, т. 6, с. 4).

[71] Трубецкая О. Кн. В. А. Черкасский и его участие в разрешении крестьянского вопроса. Материалы для биографии, т. 1, кн. 2. М., 1904, с. 115—123 (письма К. Аксакова кн. Черкасскому от 1859 г.). Письмо с объявлением «войны» (б. д., после 26.VIII 1859). — ГБЛ, ф. Черкасского, 4, 21.

[72] Кошелев А. И. По поводу журнальных статей о замене обязанной работы наемною и о поземельной собственности. — Русская беседа, 1857, т. 4, критика, с. 170. Подробнее о дискуссии о русской общине в 1856—1859 гг. см.: Дудзинская Е. А. Славянофилы в общественной борьбе, гл. 3.

[73] Кошелев А. И. Воспоминание о Хомякове. — В кн.: Хомяков А. С. Соч., т. 8, с. 126.

[74] Киреевский П. В. Указ. соч. — Русский архив, 1873, кн. 2, с. 1347, 1352, 1356; Соймонов А. Д. П. В. Киреевский и его собрание народных песен. Л., 1971, с. 289.

[75] Н. Дорн связывал со временем аксаковского «Московского сборника» (1852) «окончательное умственное и моральное затемнение Киреевского, выразившееся в его мистическом увлечении монастырской жизнью Козельской Оптиной пустыни... в столь же мистическом поклонении монаху, старцу Макарию... в его чисто болезненной боязни при мысли об уничтожении крепостного права, — вопрос, в котором он обнаруживает себя значительно более реакционно настроенным, нежели царское правительство, в его столь же реакционных мнениях по вопросу об отношении церкви к государству, высказанных им по поводу книги Винэ» (Дорн Н. Киреевский. Опыт характеристики учения и личности. Париж, 1938, с. 149). Письмо И. Аксакова процитировано по кн.: Барсуков Н. П. Указ. соч., кн. 12, с. 114. Против статьи И. Киреевского выступил и Ф. В. Чижов: письмо Ю. Самарину от 9.VII 1855. — ГБЛ, ф. Самариных, 207, 31.

[76] Riasanovsky N. V. Op. cit., p. 204.

[77] Müller E. Russischer Intellekt in europäischer Krise. I. V. Kireevskij; Köln, 1966, S. 467, 475—476, 484; см. также нашу рецензию: Вопросы истории, 1971, № 4.

[78] Цит. по: Колюпанов Н. П. Указ. соч., т. 2, с. 80—82.

[79] Литературное наследство, т. 79, с. 69.

[80] Подробнее см.: Цимбаев Н. И. Записка К. С. Аксакова «О внутреннем состоянии России» и ее место в идеологии славянофильства, с. 58—59.

[1] Аксаков И. С. Письма, т. 3. М., 1892, с. 263.

[2] Письма И. Аксакова Кошелеву от 30.VII, 19.IX и 3.X 1854. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 20.

[3] Кошелев А. И. Записки. Berlin, 1884, с. 81—82; Аксаков И. С. Письма, т. 3, с. 180. Славянофилы видели свою заслугу в том, что задолго до Крымской войны предвидели неизбежный крах николаевского режима. Ю. Самарин писал О. С. Аксаковой (1.X 1855): «Все, что теперь совершается и еще предстоит нам вынести, именно *нам* не должно бы казаться неожиданным. Разве мы не сознавали и не чуяли грядущего крушения во время безбожного величания 1848 года? Не ясно ли было, что только из развалин нашего государственного величия может выйти обновленною русская земля?» (ГБЛ, ф. Самариных, 140, 2).

О воздействии военных неудач на русское общество подробнее см.: Фадеев А. В. Оборона Севастополя и русское общество. — Доклады и сообщения Института истории АН СССР, вып. 5. М., 1955; Ковалева Н. Н. Славянофилы и западники в период Крымской войны. — Исторические записки, вып. 80. М., 1968.

[4] Письмо к Н. С. Кохановской. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 53.

[5] Нольде Б. Э. Юрий Самарин и его время. Paris, 1926, с. 27. О событиях 14 декабря 1825 г. Нольде упомянул не случайно. Ю. Самарин постоянно обращался к памяти декабристов, видел в них предшественников «людей сороковых годов» в общественном служении России и тем решительнее отвергал их революционный образ действия. Победителей декабристов он презирал. В октябре 1861 г. он писал И. Аксакову: «Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой площади, облетел лучший цвет целого поколения. Остались Орловы, Клейнмихели и Закревские. В развитии нашей общественности последовал насильственный перерыв» (ГБЛ, ф. Самариных, 140, 1).

[6] Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 5. Спб., 1891, с. 483. О влиянии идей Погодина на юного Самарина подробно см.: Stupperich R. Jurij Samarin und die Anfänge der Bauernbefreiung in Russland. Wiesbaden, 1969, S. 30—32.

[7] Биограф Ю. Самарина Д. Ф. Самарин относит начало «внутреннего перелома», приведшего Ю. Самарина в славянофильский кружок, к 1843 г. (Самарин Д. Ф. Данные для биографии Ю. Ф. Самарина за 1840—1845 гг. — В кн.: Самарин Ю. Ф. Соч. В 12-ти т., т. 5, с. LII). Воспоминания А. И. Кошелева о Хомякове. — В кн.: Хомяков А. С. Соч., т. 8. М., 1900, с. 129. Воспоминания были написаны в 1873 г. Возможно, Кошелев несколько осовременил взгляды Хомякова, приблизив их к своим более поздним политическим идеалам. Тем самым он дал возможность проследить направление эволюции славянофильского либерализма.

[8] ГБЛ, ф. Самариных, 223, 3, л. 1—15 об. (авторская нумерация). Непосредственным поводом к написанию статьи была инструкция о преподавании истории воспитанницам женских учебных заведений. Политическая теория Самарина складывалась в прямой полемике с официальной идеологией.

[9] Кошелев А. И. Записки, прилож., с. 33—54. На склоне лет Кошелев следующим образом объяснял смысл своего предложения о созыве выборных от всей русской земли в годы Крымской войны: «...это одно может превратить государственную войну в народную» (там же, с. 83).

[10] Взгляд И. Киреевского на церковно-государственные отношения сложен и трудно поддается исследованию из-за недостатка данных. Н. Рязановский назвал И. Киреевского «предателем одного из наиболее дорогих убеждений славянофилов — ...независимости церкви от государства» (Riasanovsky N. Russia and the West in the teaching of the Slavophiles. Cambridge (Mass.), 1952, p. 45). Здесь ошибка. И. Киреевский, как кажется, был сторонником «воцерковления» России, подчинения государства церкви. Так, во всяком случае, можно понимать его слова, нами процитированные. Он писал также: «Для верующего отношение к богу и его святой церкви есть самое существенное на земле, отношение же к государству есть уже второстепенное и случайное. Оче-

видно, что все законы истины должны нарушиться, когда существенное будет подчиняться случайному, или будет признаваться на одинаких правах с ним, а не будет господствовать над ним» (II, 271). Утверждение И. Киреевского, что «даже теперь никто не имеет права смотреть на Россию иначе, как на государство православное» (II, 276—277), вызвало комментарий А. Глизона: «Это неприкрытое заявление трудно совместить со всей совокупностью взглядов И. Киреевского на древнюю и современную Россию, выраженных в его статьях славянофильского периода». Глизон связывает это заявление И. Киреевского с его религиозностью в последние годы жизни, «совершенно зловещей и безрадостной» (Gleason A. European and Moscovite: Ivan Kireevsky and the origins of slavophilism. Cambridge (Mass.), 1972, p. 268, 293). Американский исследователь упустил из виду, что признание России государством «неправославным» означало бы для И. Киреевского, как и для других славянофилов, отказ от основной идеи историко-философской концепции славянофильства.

Отметим, что религиозно-философские искания И. Киреевского не были уходом от действительности. В годы Крымской войны он внимательно следил за современными общественно-политическими событиями. 8 апреля 1854 г. он писал И. Аксакову: «Время такое необыкновенное, какое бывает только в тысячелетние переломы эпох; все времена смешались: в настоящем и прошедшее не уходит, и будущее прежде прихода ощутительно. А между тем все неожиданно и удивительно» (ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 4, ед. хр. 267). «Политической декларацией» (М. И. Гильельсон) И. Киреевского стало его обращение к П. А. Вяземскому, ставшему в середине 1855 г. товарищем министра народного просвещения. В письме от 6 декабря 1855 г. И. Киреевский подвел итоги политики Николая I в области просвещения и культуры: «Нет, покойный император никогда не любил словесность и никогда не покровительствовал ей. Быть литератором и подозрительным человеком в его глазах было однозначительно... Особенно журнальная деятельность — этот необходимый проводник между ученостью немногих и общею образованностью — была совершенно задушена не только тем, что журналы запрещались ни за что, но еще больше тем, что они отданы были в монополию трем-четырем спекулянтам. Мнению русскому, живительному, необходимому для правильного здорового развития всего русского просвещения, не только негде было высказаться, но даже негде было образоваться. Один Булгарин с братиею пользовались постоянным покровительством правительства во все продолжение царствования... Для него вся Россия была превращёна в одну огромную и молчаливую аудиторию, которую он поучал в продолжение 30 лет почти без совместников, поучал вере в бога, преданности царю, доброй нравственности и патриотизму. Русских — Булгарин! В самом деле, какое процветание просвещения! Какое кипение умственной жизни!» (Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979, с. 379—380).

[11] Работа «Равенство всех вер» написана П. Киреевским в последние годы жизни. Сохранились черновой автограф и список рукой В. А. Елагина с пометкой: «Заметки (посмертные) П. В. Киреевского» (ГБЛ, ф. Елагиных, 11, 18). Работа процитирована и прокомментирована М. О. Гершензоном в его книге «Образы прошлого» (М., 1912, с. 125—126). Современный биограф П. Киреевского А. Д. Соймонов отказывается специально рассматривать его общественно-политические взгляды. Одновременно он настойчиво указывает на «отрицательное воздействие славянофильских идей на деятельность Киреевского». Итоговый вывод А. Д. Соймонова, на наш взгляд, неудовлетворителен: «...в его воззрениях, в особенности в последний период жизни, нашли отражение и слабые стороны общественного движения эпохи. Следствием этого была его приверженность к славянофильству. Славянофильство сковывало исследовательскую деятельность Киреевского, уводило его от реальной действительности в область несбыточных социальных утопий» (Соймонов А. Д. П. В. Киреевский и его собрание народных песен. Л., 1971, с. 280, 359).

[12] Аксакова В. С. Дневник. Спб., 1913, с. 61; Аксаков И. С. Письма, т. 3, с. 105.

[13] Аксаков И. С. Письма, т. 3, с. 281, 291. В последующие годы влияние славянофильства на русскую общественность не возросло. Только желанием поддержать смертельно больного К. Аксакова можно объяснить слова Ю. Самарина (из письма от 15.X 1860): «Мысль московского кружка проник-

ла гораздо дальше и гораздо глубже, чем я воображал... Между чиновниками, священниками, студентами, в каждом, самом мелком и темном кружке, непременно есть один или два славянофила. Все это очень часто бывает смешно и даже уродливо, но это ничего не значит... Того всеобщего почтения, с которым отзываются об нас, не умел заслужить ни один университет, ни один литературный круг. В последние годы сочинения Сергея Тимофеевича необыкновенно высоко подняли мнение об нас. На днях мне попалась в руки программа нового журнала, издаваемого Достоевским. Она как будто написана в две руки. Первую половину писал ты, положительно ты, даже ты, не посоветовавшись ни с кем из благоразумных и умеренных; вторую половину писал Леонтьев или Корш. Все это предприятие дрянь, торговая спекуляция; но тем оно и важно. Значит, славянофильский товар теперь уже требуется публикою... Да, любезный друг, я почти уверен, что многие твои несбыточные мечтания скоро оправдаются и, может быть, я к тебе приду с повинною головою и посрамленною мудростью. Пора наша только наступает, сколько дела впереди!» (ГБЛ, ф. Самариных, 140, 2).

[14] ГБЛ, ф. Самариных, 140, 2 (письмо б. д., март 1855 г.). О своем плане Кошелев писал Погодину 9 июля 1885 г. (Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 14. Спб., 1900, с. 49).

[15] Подробнее об истории создания «Записки», о степени ее «программности» и «типичности» см.: Цимбаев Н. И. Записка К. С. Аксакова «О внутреннем состоянии России» и ее место в идеологии славянофильства. — Вестн. Моск. ун-та, сер. История, 1972, № 2, с. 47—60. Здесь же приведены высказанные в литературе мнения.

[16] ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 7, ед. хр. 27. Экземпляр «Записки» с пометами Александра II. — ЦГАОР, ф. 109. Секретный архив, оп. 7, ед. хр. 73.

[17] Письмо от 19.I 1860. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 3, ед. хр. 8. С мнением К. Аксакова о несвоевременности созыва земского собора был согласен Ю. Самарин. Его суждение категорично: «С каждым днем я убеждаюсь более и более, что возможность *земского ополчения* есть мечта. Оно невозможно, как невозможна земская дума — по отвычке» (Письмо С. Т. Аксакову от 3.XI 1855. — ГБЛ, ф. Самариных, 140, 2). В 1855 г. в славянофильском кружке только Кошелев настаивал на немедленном созыве выборных от сословий.

[18] Цит. по: Ранние славянофилы. М., 1910, с. 69—102.

[19] Письмо от 21.V 1860. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 3, ед. хр. 8.

[20] Аксаков К. С. Соч., т. 1, с. 9. Черновой автограф «Записки». — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 7, ед. хр. 28, л. 31.

[21] Подробнее см.: Цимбаев Н. И. Газета «Молва» 1857 года (из истории славянофильской периодики). — Вестн. Моск. ун-та, сер. История, 1984, № 6, с. 14—24.

[22] Почти в то же время будущий соратник Ю. Самарина по подготовке крестьянской реформы кн. В. Черкасский выражал сожаление, что в правительственных кругах не утвердилась еще «самая мысль и сознание о том, что когда-нибудь да нужно России сделать что-нибудь для крестьян и что будущность России обусловливается скорым или, по крайней мере, верным разрешением этого вопроса» (Письмо Кошелеву от 3.X 1855. — В кн.: Трубецкая О. Материалы для биографии кн. В. А. Черкасского, т. 1, кн. 1. М., 1901, с. 57).

[23] См.: Дудзинская Е. А. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983, гл. 5—6. Разбор славянофильских проектов отмены крепостного права, анализ деятельности славянофилов в губернских комитетах и в Редакционных комиссиях составляют основное содержание книги.

[24] Дудзинская Е. А. Указ. соч., с. 93; см. также: Дудзинская Е. А. Буржуазные тенденции в теории и практике славянофилов. — Вопросы истории, 1972, № 1.

[25] Письмо Кошелева Черкасскому, октябрь 1859 г. (Трубецкая О. Указ. соч., т. 1, кн. 2. М., 1904, с. 95). О том же Кошелев писал Ю. Самарину (1.II 1860): «Давно чувствовал я всю странность, всю тяжесть наших взаимных отношений по крестьянскому делу: в сущности мы хотим одного и того же и одушевлены одними и теми же чувствами, а на деле выходит, что мы в разных станах и действуем друг против друга» (там же, с. 140).

В вопросе о связи крестьянской реформы с появлением в России пролетариата бóльшую проницательность, чем остальные славянофилы, проявил Черкасский. В записке «О лучших средствах к постепенному исходу из крепостного состояния» (конец 1856 г.) он доказывал, что «пролетариат, можно сказать с твердою уверенностию, не только не вреден и не опасен, но даже совершенно для России необходим», и высказывался за «допущение в отечестве нашем стесненного в благоразумные размеры пролетариата». Аргументация Черкасского глубоко продумана: «...без значительной массы зрелого, деятельного свободного населения, способного передвигаться туда, куда зовет его голос развивающейся промышленности, мануфактурной и земледельческой, не будет никогда в России фабрик, способных состязаться с Европою и удовлетворять отечественным нуждам в случае разрыва с Западом; не разовьются никогда вполне и все громадные средства нашего степного земледелия, безотлагательно требующего себе ныне помощи многих и многих новых рук» (Трубецкая О. Указ. соч., т. 1, кн. 1, прилож., с. 22—24). «Записка» Кошелева цит. по кн.: Кошелев А. И. Записки, прилож., с. 78.

[26] Письмо И. Аксакова к Е. И. Елагиной от 9.XII 1857.—ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 18.

[27] Письмо от 26.V 1860 (Трубецкая О. Указ. соч., т. 1, кн. 2, с. 190—191). О том, что только отмена крепостного права может предотвратить в России крестьянский «бунт», Кошелев писал в «Записке» 1858 г. (Кошелев А. И. Записки, прилож., с. 77—79).

[28] Нападкам на Редакционные комиссии Кошелев посвятил брошюру «Депутаты и Редакционные комиссии по крестьянскому делу», изданную анонимно в 1860 г. в Лейпциге. Не зная автора брошюры, И. Аксаков сообщал Кошелеву: «Эта брошюра написана в таком благонамеренном духе, с таким уважением к государю, и вообще такого умеренного тона, что чтение ее было бы полезно в России» (Письмо от 31.I 1860. — ЦГАЛИ, ф. Аксаковых, оп. 1, ед. хр. 157). Подробнее о столкновении Черкасского и Ю. Самарина с остальными славянофилами см.: Дудзинская Е. А. Славянофилы в общественной борьбе, с. 218—228. Резкий отзыв Черкасского приведен О. Трубецкой, там же — возражения Кошелева (Трубецкая О. Указ. соч., т. 1, кн. 1, с. 97—99. См. также: Кошелев А. И. Записки, с. 119—120). Здесь Кошелев объясняет происшедшее столкновение «раздраженным самолюбием» Черкасского.

[29] Письмо Ю. Самарина от 7.V 1861. — ГБЛ, ф. Самариных, 140, 1; письма И. Аксакова от 6.III и 24.VI 1861. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 48. В последнем письме Аксаков отказывается возражать на обвинения Самарина: «Что касается до самого письма, то на него отвечать нечего. Это parti pris, недопускающее беседы». Понятно, что аксаковские нападки на «Положение 19 февраля» не были принципиальны, носили редакционный характер. Самарин признавал неудачную редакцию «Положения 19 февраля». Об этом он писал Кошелеву 29.VII 1861: «Мы писали для двух малолетних ребят — для безграмотного народа и для полуграмотного Государственного совета. Нам предстояла задача написать так, чтобы понял народ и чтобы не коробило Государственного совета. Можно ли было эту задачу исполнить?» (Трубецкая О. Указ. соч., т. 1, кн. 2, с. 258). Первая фраза у Трубецкой опущена, ср.: ГБЛ, ф. Самариных, 33,2.

[30] Письмо Е. А. Черкасской от 18.XI 1857 (Трубецкая О. Указ. соч., т. 1, кн. 1, с. 86—87). Для славянофилов было характерно скептическое отношение к Александру II, в первые годы его царствования они подозревали его в стремлении сохранить старую, николаевскую систему. 2.IV 1855 И. Аксаков разочарованно писал Кошелеву: «Какое томительное время! Ужели придется возвращаться нам на прежнее усиженное местечко, пригретое 30-летним нашим сидением!» (ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 20). В августе 1855 г. В. С. Аксакова записала в дневнике: «Новое царствование обмануло все надежды... прежняя система восторжествовала, а с ней вместе и все злодеи России, сознательные и бессознательные, все подлецы, окружавшие трон, остались на своих местах... Государь — такое лицо, об котором никто не говорит уже» (Аксакова В. С. Дневник, с. 115). Когда Александр II показал свое сочувствие идеям эмансипации и одновременно твердое желание оградить интересы дворян-

ства, отношение к нему изменилось. Знаменателен отзыв Кошелева (из письма к Самарину от 19.IX 1858): «Каков царь! Каковы его речи напечатанные и какова ненапечатанная и произнесенная в Москве! Просто Наполеон III. Хват, да и только! Нет, батюшка, бунтовать теперь строго запрещено. До поры до времени должно отправлять барщину с полным усердием и рвением» (ГБЛ, ф. Самариных, 32, 4). У Трубецкой эти слова опущены.

[31] Колюпанов Н. П. Биография А. И. Кошелева, т. 1, кн. 2. М., 1889, с. 172.

[32] Записка Черкасского «О лучших средствах к постепенному исходу из крепостного состояния» — Трубецкая О. Указ. соч., т. 1, кн. 1, прилож., с. 7—67. Статья «О сочинениях Монталамбера и Токвиля» — Русская беседа, 1857, кн. 2. Критика. Перепечатана в кн.: Князь В. А. Черкасский. Его статьи, его речи и воспоминания о нем. М., 1879, с. 134—208. Об эффекте статьи Черкасского в дворянских кругах Хомяков сообщал Кошелеву: «...главный герой Черкасский. От него все в восторге, называют единственным публицистом нашим, а в Английском клубе прибавляют, что он публицист-философ» (VIII, 155). Черкасский возражал на упреки в аристократизме, но скорбел, что «нашей исторической жизни издавна и постоянно было чуждо аристократическое начало в лучшем и благороднейшем своем значении» (Трубецкая О. Указ. соч., т. 1, кн. 1, с. 197—198, примеч.).

[33] Книга А. Токвиля была издана в Париже в 1856 г. Заметка Ю. Самарина написана, по-видимому, в 1857 г. под прямым впечатлением статьи Черкасского. (Письмо К. Аксакова от 16.XI 1859. — Трубецкая О. Указ. соч., т. 1, кн. 2, с. 122—123).

[34] См.: Гармиза В. В. Подготовка земской реформы 1864 года. М., 1957, с. 52—53. Славянофильские проекты земского самоуправления изложены на с. 82—129.

[35] Трубецкая О. Указ. соч., т. 1, кн. 2, с. 141—142.

[36] Письмо Ю. Самарина А. О. Смирновой от 13.III 1859. — Трубецкая О. Указ. соч., т. 1, кн. 1, с. 314. Если Кошелев полагал, что именно бюрократия воздвигла «стену» между царем и «землей», то Самарин судил иначе. Исходя из теории «народного» самодержавия, он писал в 1856 г.: «Дворянство разлучило простой народ с царем. Ставши поперек между ними, оно заслоняет народ от царя и не допускает до него народных жалоб и надежд. Оно же скрывает от народа светлый образ царя, и оттого слово последнего или не доходит до простых людей, или доходит искаженным. Но народ любит царя и рвется к нему; и царь со своей высоты с любовью смотрит на народ, издавна замышляя его избавление. Когда-нибудь они откликнутся и через голову дворян протянут руки друг другу» (II, 33).

[37] Русская беседа, 1857, кн. 2. Критика, с. 145—146. Статья Н. И. Крылова печаталась в 1-й и 2-й книгах «Русской беседы». Письмо Кошелева к И. Аксакову. — Голос минувшего, 1918, № 7—9, с. 178. Появление статьи Крылова в «Русской беседе» было вызвано исключительно тактическими соображениями Кошелева. Его действительные взгляды были отличны от официальной теории. В том же 1857 г. он отказал в сотрудничестве в журнале С. П. Шевыреву, видному представителю идеологии «официальной народности». Кошелев писал ему: «Мы во всем многом согласны, но у нас есть некоторые особенные мнения, которые для тебя менее важны, чем для нас; а потому извини, если при оценке твоих произведений мы иногда, может быть, не будем в состоянии принять труд и прекрасный, но противоречащий нашим убеждениям. Ты понимаешь, что я разумею — политические убеждения» (Цит. по кн.: Кошелев В. А. Общественно-литературная борьба в России 40-х годов XIX века. Вологда, 1982, с. 16).

[38] Гагарин И. С. О примирении русской церкви с римскою. Париж, 1858, с. 82—83. Позднее, в 1866 г. Ю. Самарин назвал книжку Гагарина «заведомо фальшивым доносом» (VI, 242).

[39] День, 1861, 15 октября (Аксаков И. С. Соч., т. 2, с. 3—6); День, 1862, 1 января (Аксаков И. С. Соч., т. 7, с. 425—426).

[40] Письмо Ю. Самарина под заглавием «По поводу толков о конституции» было опубликовано И. Аксаковым в газете «Русь» 30 мая 1881 г. Аксаковская датировка — «в самом начале 1862 г. или в самом конце 1861 г.» — неверна. Неверно и обозначение письма как статьи. Точная дата письма — 30.X

1861 (подробнее см.: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978, с. 174).

[41] Русь, 1881, 30 мая, с. 13—14; Сладкевич Н. Г. Очерки истории общественной мысли России в конце 50 — начале 60-х годов XIX века. Л., 1962, с. 132.

[42] День, 1861, 9 декабря (Аксаков И. С. Соч., т. 5, с. 206); День, 1861, 2 декабря (там же, с. 195—203).

[43] Письмо Самарина И. Аксакову от 7.V 1861. — ГБЛ, ф. Самариных, 140, 1; письма И. Аксакова: Д. Оболенскому от 20.III 1861. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 30; Д. Ф. Самарину от 12.VII 1861. — ГБЛ, ф. Самариных, 181, 14.

[44] Кошелев А. И. Какой исход для России из нынешнего ее положения? Лейпциг, 1862, с. 27—28; Он же. Конституция, самодержавие и Земская дума. Лейпциг, 1862, с. 50—52. Своеобразие славянофильского подхода к революционному движению выразил И. Аксаков. В письме к А. Д. Блудовой от 26.V 1862 он разъяснял: «Крикливее и заносчивее становится проповедь петербургской журналистики, смелее и громче вторят им густым басом министерства вн[утренних] дел и нар[одного] просвещения. Я говорю: «вторят», потому, что, несмотря на разницу тона, они все тянут общий хор с Чернышевскими и друг на друга работают. Газета моя ненавистна *им всем*... Они *все свои* друг другу — все петровцы» (ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 8). Аксаков считал, что лучшим средством борьбы с идеями «Молодой России» было бы опубликование прокламации в подцензурной печати (см. его письма Ю. Самарину от 21/22. VI и 12/13.VII 1862. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 48).

[45] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 32.

[46] См.: Трубецкая О. Указ. соч., т. 1, кн. 2, с. 353. С Черкасским был согласен Ю. Самарин. По прочтении второй брошюры Кошелева Черкасский отозвался: «Она... произвела на меня тяжелое впечатление по своей крайней пустоте и неловкости (даже диалектической) приемов» (там же, с. 415).

[47] День, 1862, 6 января (Аксаков И. С. Соч., т. 5, с. 214—220); Сладкевич Н. Г. Указ. соч., с. 128; Нольде Б. Э. Юрий Самарин и его время. Paris, 1926, с. 173.

[48] Письмо от 13.XI 1862. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 48. Подробнее об аксаковском проекте «самоупразднения» дворянства см.: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни.., с. 97—106.

[49] ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 1, ед. хр. 83, л. 33—33 об. Отрицательное отношение славянофилов к кошелевскому проекту Земской думы изменилось под влиянием событий в Польше. Еще в ноябре 1862 г. Черкасский сообщал Самарину, что единственно хорошей стороной созыва думы было бы «укрощение и ускромнение польского элемента». В 1863 г., в разгар польского восстания, он писал: «...самодержавие бессильно разрешить польский вопрос... Литва и Киев могут быть надежно спаяны с Россией лишь при помощи общерусского имперского народного представительства». Князь полагал: «При настоящем настроении умов и развитии гражданственности, всюду проникающем и проникшем даже и к нам, прежние исключительно абсолютические приемы правления становятся просто невозможными, и является совершенно необходимым, даже просто в интересах самих правительств, принять другую систему, другие формы, искать новых сил и сочетаний, на которые можно было бы опереться потверже. Для России такою опорою, и притом опорою самою надежною на первый случай, мне кажется элемент демократический; в моих глазах — правительству остается лишь бестрепетно на него опереться, даровав стране свободные учреждения; и власть его в сущности умалится мало, а сила, действительная сила (а не та мнимая, которая окончательно сражена под стенами Севастополя и сама себе отпела панихиду в Положении 19 февраля) удесятерится» (Трубецкая О. Указ. соч., т. 1, кн. 2, с. 419, 433—435). Понятно, что от дворянского конституционализма Черкасский далек.

[50] Текст дворянского адреса и конституционная речь В. П. Орлова-Давыдова были опубликованы 14 января 1865 г. в газете «Весть» (№ 4). Речь Д. Ф. Самарина в кн.: Самарин Д. Ф. Собрание статей, речей и докладов, т. 2. М., 1908, с. 139—143. Описание московских событий в письме Аксакова к Кошелеву от 17.I 1865. — ГБЛ, ф. Черкасского/II, 4, 11; письмо Ю. Самарина

к кн. Черкасской от 2.II 1865. — ГБЛ, ф. Самариных, 145, 12(1). Славянофилы видели неглубокий характер дворянской фронды. В письме к Черкасской от 7.IV 1865 Ю. Самарин снисходительно отзывался: «Дворянские шалости, кажется, прошли бесследно; осталось только какое-то смутное сознание содеянных глупостей и неопределенное чувство страха, как бы в самом деле народ в свою очередь не вздумал поднять голос» (ГБЛ, ф. Самариных, 145, 12(1)).

[51] Письмо от 2.I 1862. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 16, ед. хр. 15.

[52] Аксаков К. С. Соч., т. 1, с. 4, 295—296; Нольде Б. Э. Указ. соч., с. 175; письма Ю. Самарина: Черкасскому от 27.XI — 3.XII 1862. — Трубецкая О. Указ. соч., т. 1, кн. 2, с. 423; И. Аксакову от 13.V 1862. — ГБЛ, ф. Самариных, 140, 1.

[53] Письмо Ю. Самарина от 13.V 1862. — ГБЛ, ф. Самариных, 140, 1; письмо И. Аксакова Ю. Самарину от 22.III 1862. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 48.

[54] День, 1862, 3, 10, 17, 24 марта (Аксаков И. С. Соч., т. 2, с. 26—59).

[55] Пятая, и последняя из напечатанных, статья об «обществе» появилась после трудной борьбы с цензурой (День, 1862, 17 апреля. — Аксаков И. С. Соч., т. 5, с. 229—238). Статья о «самодержавной инициативе» не была пропущена цензурой. Автограф хранится в ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 1, ед. хр. 55.

[56] Сладкевич Н. Г. Указ. соч., с. 127.

[57] День, 1863, 5 января (Аксаков И. С. Соч., т. 6, с. 194—204); День, 1864, 31 октября (Аксаков И. С. Соч., т. 2, с. 228—336).

[58] День, 1865, 16 января (Аксаков И. С. Соч., т. 2, с. 253—263). Подробнее о теории «общества» и ее развитии см.: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни.., с. 170—210.

[59] Письмо Аксакову от 24.XII 1864. — ГБЛ, ф. Самариных, 140, 1. О недовольстве Самарина славянофильскими идеалами государственного строя Аксаков сообщал А. Ф. Тютчевой в письме от 8.XI 1865 (ЦГАЛИ, ф. Аксаковых, оп. 1, ед. хр. 236).

[60] День, 1865, 18 декабря (Аксаков И. С. Соч., т. 2, с. 318—327). Два года спустя в письме к Кошелеву, который все неурядицы объяснял неславянофильским характером крестьянской реформы, обвинял в том Черкасского и Самарина и желал созыва Земского собора, Аксаков подтвердил неудовлетворительность политических идеалов славянофильства: «В нашем современном невеселом положении не крестьянская реформа виновата. Сначала в освобождении крестьян видели панацею от всех бед, а теперь увидели, что этим одним не расплатишься с старыми грехами, а нагрешили мы в последние 150 лет страшно много. Современное зло вовсе не от Положения 19 февраля 1861 г. и не могло бы быть отвращено Положением, если бы даже писали его не Черкасский, Милютин и Самарин. Оно несравненно глубже и шире. Мало этого: самая задача искать средства для выхода из нашего положения мне кажется ложною. Тут нет такого средства, которого стоило бы только открыть секрет и дело в шляпе! Созовите хоть Земский собор — все еще ничего не будет» (Письмо от 14.VIII 1867. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 48).

[61] «Окраины России» посвящены проблеме укрепления имперской России. Ф. М. Достоевский отметил в записной книжке: «Окраины России». Высший смысл этой книги совпадает с древним пониманием народа о своем значении. 3-й Рим—Москва, а 4-го не будет» (Литературное наследство, т. 83. М., 1971, с. 461). Если использовать терминологию ценимой славянофилами английской истории, то Самарина можно назвать «либерал-империалистом». В архиве III Отделения хранится «Дело о Самарине, издавшем за границей книгу «Окраины России» (ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, д. 2091). В деле (л. 10) расписка Самарина от 16.XI 1868: «Высочайшая воля... мне объявлена». Письмо к Александру II Самарин писал, не советуясь с друзьями. Для И. Аксакова появление письма было неожиданностью. В письме к А. Ф. Аксаковой из Петербурга от 7.I 1869 он спрашивал: «Здесь *весь город* начинает говорить о каком-то самаринском письме... Не знаешь ли ты чего об этом? Рассуждают громко, вслух» (ЦГАЛИ, ф. Аксаковых, оп. 1, ед. хр. 235). В архиве семьи Самариных находятся автографы трех редакций письма (ГБЛ, ф. Самариных, 88, 11). Рукопись, читанная Александром II, датирована 21 декабря 1868 г. («Дело о Самарине...», л. 34). Готовя к изданию в собрании сочинений брата «Окраины Рос-

сии», Д. Ф. Самарин через К. П. Победоносцева просил у Александра III разрешения напечатать письмо к Александру II. Разрешение было дано (ГБЛ, ф. Самариных, 198, 21).

[62] Статья «Самодержавие не есть религиозная истина...» хранится в ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 1, ед. хр. 76. О датировке статьи см.: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни.., с. 211.

[63] Сладкевич Н. Г. Указ. соч., с. 127.

[64] Об эволюции общественно-политических взглядов Кошелева интересную мысль высказал Н. П. Колюпанов: «...в его позднейшей деятельности — литературной и общественной — славянофильское учение получило определенную, практически-законченную формулу, ясную для всех, но во многом несходную с теми воззрениями, которые высказывали считавшие себя самозванно, непосредственными преемниками старого славянофильства» (Колюпанов Н. П. Указ. соч., т. 1, кн. 2, с. 173). «Самозванцами» Колюпанов считал представителей славянофильства-национализма. Объективным свидетельством обращения Кошелева к вопросам, которые составляли сердцевину земско-либерального движения, стал сборник его статей «Голос из земства» (М., 1869). В предисловии, обращаясь к «собратьям по земству», Кошелев высказал надежду: «Авось, со временем, возникнет журнал, в котором мы будем иметь возможность, не становясь под знамя какой-либо мнимой партии, беседовать о том, как действительно идут наши земские дела и как их лучше устроить, для блага нашего отечества» (без пагинации).

Заключение

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 175.

[2] Речь об Ю. Самарине. — ИРЛИ, ф. 3, оп. 1, ед. хр. 63; письмо Самарина И. Аксакову от 23.IV 1861. — ГБЛ, ф. Самариных, 140, 1.

[3] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 19, с. 170, 171.

[4] Самарин Ю., Дмитриев Ф. Революционный консерватизм. Берлин, 1875, с. 8; Колюпанов Н. П. Биография А. И. Кошелева. т. 1, кн. 2. М., 1889, с. 156.

[5] Погодин М. П. Историко-критические отрывки, ч. 1. М., 1846, с. 32, 335—363.

[6] Письмо И. Аксакова Кошелеву. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 2, ед. хр. 20; письмо Ю. Самарина И. Аксакову (б. д., июль 1858 г.). — ГБЛ, ф. Самариных, 140, 1.

[7] Молва, 1857, № 6, с. 74.

[8] Письмо И. Аксакова А. Блудовой от 15.I 1862. — ГПБ, ф. 78, ед. хр. 22. Для И. Аксакова Б. Н. Чичерин был олицетворением пореформенного западничества.

[9] Маколей Т. История Англии от восшествия на престол Иакова II, ч. 3. Спб., 1863, с. 489, 495.

[10] Веселовский А. Западные влияния в новой русской литературе. М., 1916, с. 204. Первое отдельное издание книги вышло в 1883 г. Отзыв И. Аксакова о книге — в письме О. Миллеру от 23.II 1883. — ГБЛ, ф. Достоевского/II, 1, 23.

[11] Письмо Ю. Самарина Е. Черкасской от 21.VI 1864. — ГБЛ, ф. Самариных, 145, 12(1).

[12] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 26.

[13] См.: Беляев И. Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. М., 1906. Первоначальный план книги, написанный Самариным. — ГБЛ, ф. Самариных, 74, 6.

[14] Кошелев А. И. Наше положение. Берлин, 1875, с. 150.

[15] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 219—220.

[16] Слова П. Киреевского приведены в воспоминаниях Гилярова-Платонова (Гиляров-Платонов Н. П. Из пережитого, ч. 1. М., 1886, с. V).

Указатель имен

Оглавление